

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издаётся под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

С.Т. Золян (Ереван). О стиле лингвистической теории: Р.О. Якобсон и В.В. Виноградов о поэтической функции языка	3
А.Е. Кузнецов (Москва). Отпадение -s# в архаической латыни и метрическая структура ранних латинских текстов	9
Е.Л. Григорьян (Ростов-на-Дону). Каузальные значения и синтаксические структуры....	23
М.А. Шелякин (Тарту). О происхождении и употреблении безличной формы русского глагола	35
Г. Никифорец-Такигава (Токио). Язык русской диаспоры в Японии	50
Р. Ратмайр (Вена). «Новая русская вежливость» – мода делового этикета или коренное pragmaticальное изменение?	63
К.Т. Гадилия (Москва). Категория определенности и неопределенности в контексте предикатно-аргументной структуры предложения в некоторых западноиранских языках ..	82
Г.В. Федюнова (Сыктывкар). О рефлексах прауральских дейктических частиц *e «этот, тот» ~ *o ~ *i «тот» в пермских языках	91
Ю.В. Норманская (Москва). Развитие вокализма в мордовском языке и реконструкция прамордовского ударения	98
Н.В. Кабинина (Екатеринбург). Топонимические реликты нижнего Подвина (Лодьма, Оногра, Соломбала)	111

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В.Г. Кузнецов (Москва). Луи Ельмслев: раннее научное творчество	118
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Ф.И. Дудчук (Москва). Полевые исследования двух тюркских языков: границы описания и объяснения	126
--	-----

Рецензии

Т.Б. Агранат (Москва). <i>A. Holvoet. Mood and modality in Baltic</i>	139
В.А. Круглякова, О.Ю. Шеманцева (Москва). <i>A. Stefanowitsch, St.Th. Gries (eds.). Corpus-based approaches to metaphor and metonymy</i>	141
В.М. Мокисенко (Санкт-Петербург). Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12; Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР (республики Мордовия). Т. 1–8; Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11	147
М.М. Маковский (Москва). <i>Г.И. Берестнев. Слово, язык и за их пределами</i>	154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караполов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,

Редакция журнала «Вопросы языкоznания»

Тел. (495) 637-25-16

© Российская академия наук, 2009 г.

© Редколлегия журнала "Вопросы языкоznания" (составитель), 2009 г.

© 2009 г. С.Т. ЗОЛЯН

О СТИЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: Р.О. ЯКОБСОН И В.В. ВИНОГРАДОВ О ПОЭТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Под стилем лингвистической теории мы понимаем особенности рассмотрения языковых объектов и исследовательского инструментария. Различие в стилях даже при значительной концептуальной близости может привести к несовместимости теорий. Рассмотрение позиций различий между концепциями поэтического языка (речи) Романа Якобсона и Виктора Виноградова демонстрирует, что, несмотря на многочисленные точки соприкосновения и сходство исходных концептуальных позиций, разница стилей – синтетического у Виноградова, аналитического у Якобсона, – с неизбежностью приводит к столкновению подходов. Системный (структурный) подход для Якобсона – это путь абстрагирования и выделения неких «чистых» абстрактных сущностей. Напротив, Виноградов, постоянно говоря о «структурах», понимает под ними все более укрупняемые «единоцелостные» образования – вплоть до «литературного направления взятого во всей полноте его признаков».

Говоря о стиле лингвистической теории, мы имеем в виду не характер языкового оформления и не возможность различными способами выразить некоторое общее содержание, а особенности концептуального подхода к изучаемому объекту. Так можно говорить о стилях даже в математике – например, различие между такими направлениями, как конструктивизм и интуитивизм, рассматриваются как стилистические.

С таких позиций рассмотрим различия между концепциями поэтического языка (речи) таких выдающихся лингвистов, как Роман Якобсон и Виктор Виноградов. Полемика между ними восходит уже к самому началу их научной деятельности и продолжается вплоть до последних публикаций В.В. Виноградова. Казалось бы, близость как между их концепциями, так и основной сферой интересов дает куда больше оснований для сближения, чем противопоставления. Оба они одни из первых в России развиваются идеи Соссюра¹, оба исходят из необходимости системного описания языка и, в качестве наиболее показательной сферы, обращаются к поэтической речи. Организационно оба примыкают к методологически близким лингво-поэтическим кружкам – Роман Якобсон к московскому, Виктор Виноградов – к петербургскому. Наконец, несмотря на все критические замечания Виноградова (1922 г.) в адрес формалистов и других «сторонников футуристической эстетики, стремящейся, как к пределу, к заумной речи» (цит. по [Виноградов 1976: 463–464]), и официоз, и наиболее проницательные из современников (круг Бахтина) считали его наиболее серьезным и потому куда более «опасным» из лингвоформалистов². И вме-

¹ Заметим, что уже к концу двадцатых это стало далеко не безопасным и могло вызвать по сути политическое обвинение: «...Этот методологический грех усугубляется еще и тем, что лингвистический базис, на который опирается В.В. Виноградов, является насквозь пронизанным инфлюксами индо-европеистического, ныне глубоко реакционного, мышления в его наиболее формалистической разновидности (Соссюр и его школа)» [Волошинов 1930: 207].

² Почему и Бахтин–Волошинов сочли возможным ограничить свой анализ формально-лингвистического метода в поэтике исключительно взглядами В.В. Виноградова. Ср.: «Ряд вопросов, связанный с установлением сферы компетенции лингвистического метода в поэтике, мы должны сузить до критического рассмотрения общеметодологической позиции лишь одного автора – правда, являющегося наиболее характерным представителем формально-лингвистического метода в поэтике» [Волошинов 1930: 204].

сте с тем, несмотря на многочисленные точки соприкосновения, крайне сложно выделить некоторую теорию, некий общий подход, что без труда – при всех существующих разногласиях между ними – можно сделать при сопоставлении работ, скажем, Якобсона и Тынянова, Якобсона и Шкловского, даже Тынянова и Винокура (упоминаем только тех, кого можно причислить к сознательным соссюрианцам).

Нам кажется, что эта постоянная полемичность объясняется разницей стилей мышления – синтетического у Виноградова, аналитического у Якобсона. И поэтому сходство как исходных концептуальных позиций, так и сферы изучения с неизбежностью приводит к столкновению подходов. Так, оба основываются на идеях «Курса общей лингвистики», во главу угла ставя соссюровское положение о системности языка и его дихотомии языка и речи. Но в результате приложения этих теорий ими выделяются диаметрально противоположные лингвистические объекты (единицы языка). У Р. Якобсона это фонема (в дальнейшем он доводит свой анализ до еще меньшей единицы – различительного признака). Системный (структурный) подход для Якобсона – это путь абстрагирования и выделения неких «чистых» абстрактных сущностей, которые впоследствии именно так и будут называться – «меризмами». Напротив, Виноградов постоянно говорит о «структурах», но под ними он понимает вовсе не «пучок чистых отношений», а все более укрупняемые «единоцелостные» образования – будь то «речевой жанр», типы «сказа», «язык писателя» и даже «литературное направление, взятое во всей полноте его признаков». Вполне логично, что от описания языка произведения («Пиковая дама»), языка писателя (Аввакум, Ахматова, Пушкин), направления (романтический натурализм), речевых жанров (ораторская проза, сказовые и диалогические формы), стилей и т.п. Виноградов приходит к описанию языка в целом – именно как объекта монографического описания: его «Русский язык» – это естественное завершение описаний «единоцелостных структур». В самом деле, поскольку всякий раз Виноградов акцентирует необходимость описания объекта во включающем его контексте, то логическим пределом для любого частного описания должен быть язык в целом. Напротив, для Р. Якобсона характерно абстрагирование от контекста, почему его героем в конечном итоге оказывается минимальный различительный признак – нечто, самостоятельно не выражимое ни в какой субстанции и не имеющее никакой реальности, кроме как в метаязыке. Различие между ними можно проследить вплоть до вкусовых. Якобсон основывается на анализе поэзии Хлебникова с его теориями не только самовитого слова, но и самовитых звуков поэта, от фонетического уровня начинающего восхождение к морфологическому – что было вполне в духе сформулированной позднее Якобсоном и Трубецким фонологической теории. Виноградов же из современных поэтов выбирает Ахматову и ее «символику», причем семантика символа раскрывается Виноградовым через его сочетаемые, а не парадигматические (тематические и словообразовательные) связи.

По всей видимости, В. Виноградов осознавал эту разницу в подходах. Спустя почти полвека он приводит обширную цитату из «Новейшей русской поэзии» Р. Якобсона [Якобсон 1921], который иронизирует над методом, ставшим для Виноградова к этому времени (1959 г.) определяющим: «Предметом науки о литературе является не *литература*, а *литературность*, то есть то, что делает литературным произведение. Между тем до сих пор историки литературы уподоблялись полиции, которая, имея целью арестовать определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех и все, что находилось в квартире, а также случайно проходивших по улице мимо. Так и историкам литературы все шло на потребу – быт, психология, поэтика, философия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат доморошенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти статьи отходят к соответствующим наукам – истории философии, истории культуры, психологии и т.д., и что последние, естественно, могут использовать и литературные памятники как дефектные, второсортные документы. Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать "прием" своим единственным "героем"» – эта якобсоновская цитата полностью воспроизведена в [Виноградов 1959: 16–17].

В самом деле, метод Виноградова заключался именно в том, чтобы «на всякий случай хватать все и вся» – то есть максимально учитывать контекст, в котором находится опи-

сываемое явление, возможно, в ущерб описанию самого этого явления. Безусловно, Якобсон в 1921 году не мог знать о позднейших работах Виноградова, он имел в виду не конкретных исследователей, а исследовательский подход. Но Виноградов без труда мог узнать в этой пародии собственный стиль оперирования с (языковым) материалом.

Сами по себе характеристики описания (анализ – синтез, учет контекста – абстрагирование от контекста, замкнутость – открытость) не могут считаться ни верными, ни ошибочными. Правильность (адекватность) описания определяется тем, насколько верно применяются эти принципы. Однако, несмотря на декларируемую теорией конгруэнтность всех правильных описаний, они могут оказаться не сопоставимыми. Так, модели синтеза – анализа, описывая один и тот же объект, могут присвоить ему различные характеристики. Именно поэтому в лингвистике адекватным может считаться лишь множество описаний объекта. Полная сводимость может иметь место только при описании однозначно определяемых понятий и структур. Если же объектом описания оказывается такой объект, как поэтическая речь, то он сам определяется описывающей его теорией и вне ее просто не мыслим. Способ описания формирует объект, и стилистическое отличие между в содержательном отношении близкими друг другу концепциями оказывается непреодолимым – по крайней мере, для их создателей.

Подобная судьба была уготована концепциям поэтического языка/речи Якобсона и Виноградова. Ставшую в 60-е годы доминирующей концепцию Якобсона Виноградов оценивает отрицательно, он сводит ее к повторению идей, с которыми он полемизировал еще в 20-е годы: «В настоящее время едва ли может кого-либо удовлетворить такое определение поэтической функции языка, содержащееся в... работе проф. Р.О. Якобсона "Лингвистика и поэтика" и восходящее к теории так называемого русского формализма 20-х годов текущего столетия: "Установка на сообщение, как таковое, сосредоточение на сообщении ради него самого – это и есть поэтическая функция языка"» [Виноградов 1963: 130]. Этому Виноградов противопоставляет свое понимание поэтической функции – как надстраиваемой над коммуникативной новой знаковой системы – «Поэтическая функция языка опирается на коммуникативную, исходит из нее, но воздвигает над ней подчиненный эстетическим, а также социально-историческим закономерностям искусства новый мир речевых смыслов и соотношений» [Виноградов 1963: 155]. Виноградов подчеркивает приоритет эстетических характеристик, но при этом стремится описать «эстетическое» как (по крайней мере, в том числе и как) внутриязыковую категорию, как «максимальное и целесообразное использование всех качеств языка», то есть скорее как полную актуализацию потенций языковой системы. Но ведь именно Якобсон, и именно в работе «Новейшая русская поэзия», с которой постоянно полемизирует Виноградов, и продолжением которой он справедливо считал и позднейшие труды Якобсона, предлагает: «Поэзия, которая есть не что иное, как высказывание с установкой на выражение, управляемое имманентными законами; функция коммуникативная, присущая как языку практическому, так и языку эмоциональному, здесь сводится к минимуму... Поэзия есть оформление самоценного, "самовитого", как говорил Хлебников, слова. Поэзия есть язык в его эстетической функции» [Якобсон 1921: 11].

Казалось, было бы естественным продолжить это определение Якобсона словами Виноградова: «Поэтическая речь – категория эстетическая и историческая. Во всех своих исторических трансформациях, определяемых разными социальными условиями, разными эпохами, она сохраняет одну и ту же основу или сущность, состоящую в максимальном и целесообразном использовании всех качеств языка и речи на всех структурных уровнях в эстетическом аспекте. Это фонические, метрические, ритмические, мелодические, фономорфологические, синтакстические, лексико-семантические, фразеологические, композиционно-динамические, образные и другие свойства и элементы эстетически организованной и направленной речи. Их применение должно быть гармонически согласовано с "планом содержания" и, воплощая его, составлять с ним внутреннее единство. В сущности, поэтическое – это идеал словесно-художественного совершенства, определяющий эстетическую оценку произведений современного литературного искусства» [Виноградов 1963: 207].

Если не обращать внимание на стиль изложения, Виноградов высказывает достаточно близкие к концепции Якобсона (напомним: «Поэзия есть язык в его эстетической

функции») мысли, в основе которых единое понимание поэзии как «максимальной и целесообразной» актуализации языковой системы. Отрицая позднейшую версию концепции Якобсона, как ранее отрицал и исходную, Виноградов, в качестве позитивного ответа, воспроизводит основной тезис Якобсона в его ранней редакции.

Между тем сам Якобсон в дальнейшем отказывается от термина «эстетическая функция», – поскольку он создает лишь иллюзию объяснения – ибо требуется определить, а в чем заключается и как проявляется «эстетическая функция» в языке. Это, как верно отмечал и В.В. Виноградов, и, в аналогичной связи и Ю.М. Лотман (см. ниже), неизбежно предполагает приоритетное рассмотрение внелингвистических факторов. Для Виноградова, в отличие от Якобсона, это не представляло проблемы – он вовсе не чувствовал себя скованным необходимостью придерживаться при объяснении лингвистических явлений рамками собственно лингвистических теорий и фактов, более того – использовать лежащий вне сферы лингвистики понятийный аппарат было для него привычным явлением. И это при том, что Виноградов не только прекрасно помнил вышеприведенную цитату из работы Якобсона 1921 года – более того, именно ее он пространно воспроизвел в своем труде [Виноградов 1959: 12–13]. Но – и это наиболее показательно – воспроизвел без наиболее близкого Виноградову заключающего предложения – о том что «поэзия есть язык в эстетической функции». В самом деле: воспроизведи ее полностью – и с чем же тогда бы полемизировать?

Эта полемика навевает ассоциации с Борхесовским сюжетом о ересиархах. И Якобсон, и Виноградов сохранили верность своим ранним формулировкам, и в начале 60-х напомнили о них. Но – в несколько измененном виде. И это изменение позволило увидеть то общее, что не было столь заметно ранее. Парадоксально, но, полемизируя и со статьей 1921 г., и с последними публикациями Якобсона, Виноградов повторяет то, что уже было сказано у Якобсона. Но, конечно, за одними и теми же словами «об эстетической функции», стоят не просто разные точки зрения, а различия куда более значительные: стили мышления. Ведь, и это явствует даже из приведенной цитаты, «эстетическое» Якобсон и Виноградов понимали по-разному.

Еще раз обратимся к уже приведенной оценке Виноградовым в то время только что вышедшей статьи Якобсона «Лингвистика и поэтика»: «В настоящее время едва ли может кого-либо удовлетворить такое определение поэтической функции языка, содержащееся в... работе проф. Р.О. Якобсона "Лингвистика и поэтика" ...» [Виноградов 1963: 130]. И зададимся вопросом: а как следует понимать дейктическое выражение «в настоящее время»? Думаем, что, говоря «в настоящее время», Виноградов, конечно же, имеет в виду не столько конец 50-х – начало 60-х, – именно тогда теория языковых функций Якобсона и его определение поэтической функции только-только начинает победное шествие по учебникам и хрестоматиям языкоznания. По крайней мере, только через 15–20 лет выяснится, что она «удовлетворяет не всех». Но, конечно же, ссылка «в настоящее время» обращена не столько к будущему, сколько к прошедшему – нам кажется, что правильной перифразой выражения «в настоящее время», видимо, будет «в отличие от 20-х годов». Ставшую в начале 60-х своего рода лингвистическим «бестселлером» статью Якобсона Виноградов явно оценил как воспроизведение его концепции 20-х годов. Поэтому появление новой статьи Якобсона оказывается для Виноградова поводом прервать молчание и начать дискуссию с того момента, когда эта дискуссия была прервана. И, полемизируя со статьей, опубликованной в 1960 г., он тем не менее обращается к статье 20-х и не замечает (или не хочет замечать) весьма значительных различий.

Это не только, согласно устоявшейся точке зрения, перерастание формализма в структурализм. Это и, используя выражение Бахтина, изменение «социально-идеологического» контекста. В 20–30-е годы в своей полемике с формальной школой и, в особенности, с формалистом Якобсоном, Виноградов опирался на те направления, которые в той или иной мере возникли как реакция на младограмматизм: не только на еще не ставшее структурализмом соссюрианство, но и на исходящие из совершенно иных посылок неофилологию, крочеанство, неогумбольдианство – то есть то, что принято объединять как эстетическое направление и что сегодня частично возрождается как когнитивная или же дискурс-лингвистика. В 60-е он сохраняет верность тем же «эстетиче-

ским» идеям, но при их воспроизведении цитирует уже не «лингвистических идеалистов», а «проверенных» советских «антиструктураллистов» и «антисемиотиков», в основном литературоведов, весьма далеких от адекватного понимания лингвистических процессов. Разумеется, собственные воззрения Виноградова – вовсе не плод его учебы у современников, а отцензуренное воспроизведение его же работ 20–30 годов³. И, по иронии тогдашних правил игры, он вынужден ссылаться на работы, которые весьма далекие от совершенства «симулякры» его взглядов 20–30 годов.

Между тем, именно в стане структурно-семиотическом В.В. Виноградов мог найти близкие ему идеи, хотя оформленные скорее в «Якобсоновском» стиле. Так, примерно в те же годы формалистскую теорию поэтического языка как неудовлетворительную оценивает и Ю.М. Лотман, но при этом опираясь на структурализм: «Одно из основных положений формальной школы состоит в том, что эстетическая функция реализуется тогда, когда текст замкнут на себя, функционирование определено установкой на выражение и, следовательно, если в нехудожественном тексте вперед выступает вопрос "что", то эстетическая функция реализуется при установке на "как". Поэтому план выражения становится некоторой имманентной сферой, получающей самостоятельную культурную ценность. Новейшие семиотические исследования подводят к прямо противоположным выводам. Эстетически функционирующий текст выступает как текст повышенной, а не пониженной, по отношению к нехудожественным текстам, семантической нагрузки. Он значит больше, а не меньше, чем обычная речь... Текст предстает перед ним дважды (как минимум) зашифрованным. ... Прикладывая к художественному произведению целую иерархию дополнительных кодов: общеэпохальных, жанровых, стилевых, функционирующих в пределах всего национального коллектива или узкой группы, мы получаем в одном и том же тексте самые разнообразные наборы значимых элементов и, следовательно, сложную иерархию дополнительных по отношению к нехудожественному тексту пластов значений. Таким образом, формальная школа сделала, бесспорно, верное наблюдение о том, что в художественно функционирующих текстах внимание оказывается часто приковано к тем элементам, которые в иных случаях воспринимаются автоматически и сознанием не фиксируются. Однако объяснение ему было сделано ошибочное. Художественное функционирование порождает не текст, "очищенный" от значений, а напротив, текст, максимально перегруженный значениями» [Лотман 1992: 203–204].

Как видим, Ю.М. Лотман выдвигает положения, которые, безусловно, были весьма близки В.В. Виноградову и даже могут показаться лингвистически более строгой структуралистской «перифразой» его идей. Но близость между концепциями может быть не замечена, если способы их артикуляции относятся к стилистически различным парадигмам. Полемика в 20-х гг. между В.В. Виноградовым, Р.О. Якобсоном и (незаслуженно

³ Примечательно, что постоянные ссылки Виноградова на идеологические и социально-исторические факторы не помешали его давнему оппоненту М.М. Бахтину проницательно увидеть воспроизведение того же неприемлемого для школы Бахтина лингвистического метода. Как отмечают авторы примечаний к написанным в 1959–1961 гг. заметкам М.М. Бахтина «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» (С.С. Аверинцев, С.Г. Бочаров), «одним из стимулов для настоящих заметок, несомненно, послужила книга В.В. Виноградова "О языке художественной литературы" (М., 1959), реакции на положения этой книги рассеяны в заметках (критика понятия "образ автора", выдвинутого в книге Виноградова, тезиса о приближении средств изображения к предмету изображения как признаке реализма); замечание о привнесении "контрабандным путем" в ходе лингвистического анализа литературного произведения того, что "из чисто лингвистического анализа не вытекает", также относится к Виноградову и перекликается с критикой его лингвистической поэтики в статье (Волошинов 1930)» [Бахтин 1979: 402]. Сам Бахтин отмечает: «Недопустимы такие трансформации (имеются в виду трансформации языков, диалектов, стилей в "мировоззрения". – С.З.), когда, с одной стороны, декларируется внеидеологичность языка как лингвистической системы (его внеличностность), а с другой, – контрабандой вводится социально-идеологическая характеристика языков и стилей (отчасти у Виноградова)» [Бахтин 1979: 298].

упомянутым лишь попутно) М.М. Бахтиным не привела к диалогу, в ходе которого могли быть найдены точки соприкосновения и обеспечено развитие концепции. Конечно же, трудно представить условия, более худшие для организации диалога – между эмигрантом Якобсоном, ссылыми Виноградовым и Бахтиным, но и через 30 лет, когда та же проблематика вновь становится актуальной, и Виноградов (относительно Якобсона), и Бахтин (относительно Виноградова) не заметили (или не захотели выразить) существенное изменение и расширение лингвистической проблематики и методологии. Они предпочли повторить, несколько модифицировав, свои прежние возражения, нежели прислушаться друг к другу. Как это нередко бывает, «свои своих не познаша». И высказанная нами мысль о содержательной близости концепций Виноградова и Якобсона (пусть даже при акцентировании принципиального отличия их концептуального стиля), вероятно, удостоилась бы со стороны Виноградова отповеди. Примерно такой: «В этой связи хотелось бы рассеять одно невольное заблуждение, в которое впал В.П. Григорьев в статье "О задачах лингвистической поэтики", стремясь сблизить точку зрения проф. Р. Якобсона с моей... По мнению В.П. Григорьева, модель и гипотеза проф. Р. Якобсона этой точке зрения не противоречит. Между тем, это не так. В формуле проф. Р. Якобсона нет и намека на язык словесного искусства, как форму творческого познания мира. В связи с этим поэзия опустошается от общественного содержания и выводится за пределы общей истории искусства как истории социологически дифференцированной смены художественных структур» [Виноградов 1971: 27–28].

Как видим, и здесь Виноградов стремится максимально расширить контекст рассмотрения – вплоть до «общей истории искусства». Между тем, как пытался показать В.П. Григорьев [Григорьев 1966], расширение должно происходить, но не за счет расширения внелингвистического контекста, а путем расширенного понимания языка и его функций. Именно этот «объединяющий» подход В.П. Григорьева, многочисленные встречи с ним и обсуждения, его замечания и уточнения, помогли нам предложить следующую реинтерпретацию : «Поэтический язык может рассматриваться как внутреннее расширение естественного языка... Поэтическая функция не противопоставляется другим, а рассматривается как их модальное расширение и усложнение» [Золян 1991: 283]; «...поэтическая функция – не столько направленность на обслуживание некоторого звена коммуникативной цепи, сколько последовательная и всеобъемлющая трансформация языка, осуществляемая в различных направлениях» [Золян 1996: 647]. Эти формулировки мы имели честь и счастье обсудить с Виктором Петровичем Григорьевым и получить его принципиальное одобрение: как приемлемый синтез имеющихся подходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бахтин 1979 – *М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества*. М., 1979.
- Виноградов 1922 – *В.В. Виноградов*. Рец. на: *Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. Набросок первый*. 1921 г. Прага // *Библиографические листы русского библиологического общества*. Пг., 1922 (цит. по [Виноградов 1976: 463–464]).
- Виноградов 1959 – *В.В. Виноградов. О языке художественной литературы*. М., 1959.
- Виноградов 1963 – *В.В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М., 1963.
- Виноградов 1971 – *В.В. Виноградов. О теории художественной речи*. М., 1971.
- Виноградов 1976 – *В.В. Виноградов. Избранные труды. Поэтика русской литературы*. М., 1976.
- Волошинов 1930 – *В. Волошинов. О границах поэтики и лингвистики* // Сб. статей: В борьбе за марксизм в литературной науке. Л., 1930.
- Григорьев 1966 – *В.П. Григорьев. О задачах лингвистической поэтики* // ИАН СЛЯ. 1966. Т. 25.
- Золян 1991 – *С.Т. Золян. Семантика и структура поэтического текста*. Ереван, 1991.
- Золян 1996 – *С.Т. Золян. Языковые функции: возможные расширения модели Р. Якобсона* // Сб. статей: Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., 1996.
- Лотман 1992 – *Ю.М. Лотман. О содержании и структуре понятия «художественная литература* // Ю.М. Лотман. Избранные статьи в трех томах. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992.
- Якобсон 1921 – *Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия. Набросок первый*. Прага, 1921.

© 2009 г. А.Е. КУЗНЕЦОВ

ОТПАДЕНИЕ -S# В АРХАИЧЕСКОЙ ЛАТЫНИ И МЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАННИХ ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВ

Автор подробно исследует фонетические условия вариантов форм в текстах Плавта и предлагает схему, согласно которой отпадение -s зависело от просодического контекста. В качестве верификации использовано сопоставление с эпиграфическими данными.

Отпадение конечного -s# в латинском языке документировано множеством эпиграфических памятников и литературных текстов. Стратификация этого обширного и разнородного материала представляет большие трудности, и sigma labile остается одним из недостаточно хорошо изученных явлений. В настоящей статье рассматриваются метрические данные, способные прояснить хронологические границы и фонологическую природу отпадения конечного -s# в архаической латыни¹. Среди прочего я привожу новые аргументы в пользу того, что за графической и метрической нестабильностью -s# в III–I веках² стояло действительное фонетическое отпадение -s# (§ 8)³, поэтому далее на месте усеченного -s# будет использован символ Ø, а символ {Ø} будет обозначать графический ноль, то есть отсутствие буквы S на месте морфологического -s#.

В идеальном случае Ø в чередовании -s# ~ Ø вел бы себя как позиционная реализация -s#, но ни литературные тексты, ни надписи не поддерживают такую простую интерпретацию недвусмысленным образом.

Основные факты

1. До начала III в. латинские надписи сохраняют -s# в окончаниях -(i)os#. Римский мастер, сделавший ок. 300 г. бронзовый ларец (*Cista Ficoroni*, CIL² 561), подписался *novios PLAVTios*. В течение III в. нормой становятся усеченные написания. Например, титулы эпитафий Луция Корнелия Сципиона Барбата (консул 298 г.) и его сына Луция (консул 259 г.): *CORNELIO = Cornelius* (CIL I² 6, 8).

Положение вновь меняется в конце III в., когда в надписях появляются окончания –(i)vs. В наиболее ранней сатурновой эпитафии Сципиона Барбата-сына (CIL I² 9) представлены формы *FILIOS*, но *TEMPESTATEVVS*. В несколько более поздней эпитафии Барбата-отца (CIL I² 7) читается только -vs. Эпитафии были выполнены спустя некоторое время после титулов и датируются рубежом III/II вв. Примерно к этому времени относится надпись Марка Клавдия Марцелла (CIL I² 608, после 211 г.): *m. CLAVDIVS*. В декрете Эми-

¹ В этой статье цитируется текст *Плавта* по изд: [Egmont 1932], текст сверен с [Lindsay 1904], *cantica* по изд. [Questa 1995], учитывается также [Leo 1905] (изд. Лео 1895–1896 гг. вложено в базу данных Packard Humanities Institute = PHI 5); текст *Теренция*: [Marouzeau 1942], [Kauer-Lindsay 1926] (текст PHI 5 в редакции Скутча 1958); надписи: *Corpus Inscriptionum Latinorum*, vol I (CIL I²), сверены с [Egmont 1973]. – Далее в литературных цитатах мы будем обозначать отпадение -s# верхним индексом: *bonu^s* = *bonuØ#*.

² Все упоминаемые в этой статье даты – до нашей эры.

³ Этую интерпретацию принимали в разное время [Havet 1891; Proskauer 1910; Hamp 1959; Wallace 1984; Leumann 1977: 227 (§ 229b)]; альтернативное понимание излагается далее в § 3.

лия Павла (CIL I² 614, 189 г.) и сенатском постановлении против Вакханалий (CIL I² 581, 186 г.) последовательно выдерживается написание -vs и нет примеров {ø}⁴.

Усеченные формы -us# → -v{ø} представлены единичными и относительно поздними памятниками [Proskauer 1910: 28, 54, 162], как надпись на сосуде из некрополя на Эсквилине: RVSTIAE RVSTIV IOVSIT SAPERE (CIL I² 478).

Таким образом, мы имеем или полные формы -us#/os#, или усеченные -ø#, но не -iø#.

С утратой -s# происходил переход -is# → -e#. Это явление почти не засвидетельствовано в надписях Рима, но памятники из Лация дают такие примеры, как: M. FOVRIO C. F. TRIBVNOS (milita)RE = M. Furius M. filius tribunus militaris (Тускул, CIL I² 48, 49).

В поэзии вариант ø встречается еще в середине I в. у Цицерона, Лукреция и Катулла [Havet 1891: 324–329]. У поэтов, допускавших sigma labile, твердо соблюдаются правила, по которым конечное -s# всегда сохранялось перед гласными и факультативно отпадало перед согласными. Таким образом, сочетания -us#C, -is#C разной морфологической природы могли быть metri causa интерпретированы двояко: тяжелые (двуморные слоги) отражают полное произношение, а легкие (одноморные слоги) – усеченное⁵.

Надписи демонстрируют в этом отношении колебания. За графическим s, как и за {ø}, могут следовать и гласные, и согласные: M. MINDIOS I. FL. P. CONDENTIOS VA. FL. (CIL I² 37, Рим); C. MANLIO ACI. (CIL I² 40, из Неми); цитированная выше надпись CIL I² 48, 49 из Тускула.

Крайне редко и только в диалектных надписях засвидетельствован ø после долгих гласных.

Ни поэзия, ни надписи не позволяют установить зависимость вариантов -s ~ ø от последующих согласных.

2. На первый взгляд поэзия находится в точном согласии с эпиграфическими данными. Однако хронологическое несоответствие создает серьезную проблему. Неусеченные окончания -(i)vs становятся нормой в надписях именно в то время, когда факультативное (то есть metri causa) чередование -s ~ ø в этих же окончаниях используется как самый обычный прием версификации во всех поэтических жанрах. Современные Плавту надписи доказывают, что к началу II в. переход -os# → -us# уже завершился. Мы можем предположить, что графическое -vs отражает такое состояние, когда /u/-образный звук в конечном слоге воспринимался уже как реализация фонемы /U/, а не аллофон фонемы /O/. Этот процесс не затронул словоформ, в которых конечное -os# следовало за /w/, например, servos, – что не имеет существенного значения для данного вопроса. Если для языка Плавта устанавливается произношение -us#, соответствующая усеченная форма должна быть -iø#, что плохо согласуется с современными Плавту надписями, в которых встречается только -vs, но не -v{ø}.

⁴ В титуле постановления против Вакханалий имена консулов написаны полностью: MARCIUS, POSTVMIVS. Имена секретарей (scribae) написаны сокращенно: CLAVDI, VALERI, MINVCI, но не *CLAVDIO или *CLAVDIV. В аналогичном титуле CIL I² 586 (середина II в.) имена престора и секретарей написаны одинаково: CORNELIVS, MANLIVS, IVLIVS, POSTVMIVS.

⁵ Усеченный и полный варианты недвусмысленно различаются в дактилическом гекзаметре. В драматических размерах положение иное: до половины слогов размещаются в метрически неопределенных позициях, например, taucus factus raene... (Epi. 200, трохей), где в обоих словах -us# и -iø# метрически равнозначны. Линдсей полагал, что слабое -s#, которое он обычно отмечал апострофом, было нормой. В тексте Теренция в издании Кауера-Линдсея (1926) апостроф поставлен во всех метрически неопределенных случаях [Laidlaw 1938: 56]. Учет слабого -s# в метрически неопределенных позициях резко сокращает число спондеев в ямбических и трохеических размерах. В этой связи Линдсей замечает о трохесическом септенарию: «Как правило, стихи Плавта не слишком далеки от греческого типа, хотя издастли портят их, не удаляя -s# после кратких гласных» [Lindsay 1922: 283]; эта точка зрения принята в [Laidlaw 1938: 57].

Общие концепции

3. Проблему *sigma labile* ввел в поле зрения исторической грамматики латинского языка Луи Аве [Havet 1891]⁶, который показал, в старой латинской поэзии это явление было не поэтическим произволом, а отражением языковой реальности. Написания, сохраняющие -s#, Аве считал ‘искусственной орфографией’, опираясь на которую поэты могли восстанавливать -s# в метрически удобных позициях. В середине I в. искусственно восстановленное -s# стало нормой. Это объяснение не учитывает эпиграфических данных, но Аве считал надписи априорно недостоверными с фонетической точки зрения. Несмотря на то, что многие частные суждения Аве были отвергнуты, в целом его теория остается общепринятой. Так, в одном из новейших пособий по истории латинского языка утверждается, что «со II в. -s# последовательно принимается во внимание в орфографии, а с I в. также и в стихосложении» [Meiser 1998: 96].

Наиболее точная фонетическая интерпретация теории Аве была дана Фердинандом Зоммером: «... -s# после кратких гласных в исходе многосложных слов ослаблялось до h-образного звука..., который был достаточно сильным, чтобы препятствовать элизии, и недостаточно сильным, чтобы создавать долготу по положению вместе с последующим согласным...» [Sommer 1948: 303]. Зоммер, как ранее Аве, указывал на *visarga* как на аналогию слабому латинскому -s#⁷. Распространение полных написаний -(i)vs около 200 г. свидетельствует об «орфографической фиксации» слабого -s# [Sommer 1948: 304]⁸. Обозначив слабый аллофон фонемы /S/ условным символом σ, мы получим следующие соответствия орфографического ~ фонетического S согласно Зоммеру:

древнее произношение	-os#
древняя орфография	-o{∅}/-os
произношение II в.	-iσ#
орфография II в.	-vs/-o{∅}/-v{∅}
классическое произношение	-us#
классическая орфография	-vs

Замещение σ → s Зоммер объяснял факультативным усилением /σ/ на внутрифразовом стыке слов перед /k/, /t/, /p/, /k^u/, /s/ (то есть теми согласными, которые сочетаются с /s/ в начале и внутри слова). На сильной межсловной границе сохранялся слабый вариант: -iσ# | k-, на слабой границе фонетическая реализация группы согласных становилась такой же, как внутри слова: -iσ#_t- → -ust. Это должно объяснить, почему в поэзии

⁶ Как и во многих других случаях, первооткрывателем был Бентли: «Neque illud inter licentias numeres, cum comicī S finale in syllaba brevi, sequente tamen consonante, поппим quam abiciunt» [Bentley 1726: xiv].

⁷ Аве [Havet 1891: 306] полагал, что слабое (редуцированное) -s# появилось ‘перед паузой’, что было принято Зоммером. Уоллас [Wallace 1984: 222] нашел у Плавта всего 20 метрически определенных ∅ вариантов на границе предложения (sentence boundary) против примерно 1000 на стыке слов. Эта статистика не учитывает того, что словоразделов на границе предложения существенно меньше, чем словоразделов внутри предложения, неясны и принятые Уолласом критерии предложения. Все же разрыв достаточно велик, чтобы предположить (вопреки Аве и Зоммеру), что ‘перед паузой’ нормальной реализацией -s# был полный вариант. Линдсей [Lindsay 1894: 103] также объяснял *sigma labile* ‘слабым произношением -s#’, но он никак не развил эту идею, полагая, что метрическая вариативность *sigma labile* объясняется только метрическими причинами [Lindsay 1922: 126].

⁸ Суммарное объяснение в [Leumann 1977: 227] в основном следует Зоммеру, но с некоторыми различиями: слабое -s# признается отпадением, полные -os#/ -us# сохранялись перед паузой, а усеченная форма -o∅# была сандхи-вариантом, -s# было восстановлено во II в. под влиянием орфографии и греческого.

все же допускается долгота по положению после -us# -is#. К середине I в. сильный аллофон /s/ был обобщен для всех позиций. Противоречит этому объяснению то, что уже у Плавта сильное /s/ свободно встречается перед согласными, которые не сочетаются с /s/ внутри слова: *huc eris misit meus* (Amp. 403, исход трохеического септенария). Таким образом, приходится допустить, что уже в начале II в. произвольно варьировались сильные и слабые сочетания: -is# t- (-is# легкий слог) и -us#t- (-us# тяжелый слог). Почему слабый аллофон σ был все же удален из поэтического языка, но спустя почти 150 лет?

4. Важная в теоретическом отношении модификация теории Зоммера была предложена Яном Сафаревичем [Safarewicz 1969]. В статье, посвященной выявлению признаков, позволяющих противопоставить фонологические системы *литературного* и *народного* языка, Сафаревич указал на полное вытеснение слабого σ сильным /s/ как на инновацию, проведенную только в литературной системе. [Safarewicz 1969: 228]. Фонема /S/ в исходе сохранялась в самых поздних состояниях латинского языка, но литературный язык имел только сильный аллофон, а народные диалекты – и сильный, и слабый. Протороманские реконструкции морфологического -s# репрезентируют латинское фонематическое /s/⁹. Беспорядочное варьирование графического -s# и графического {Ø} в надписях империи отражают распространение слабого σ в народной латыни.

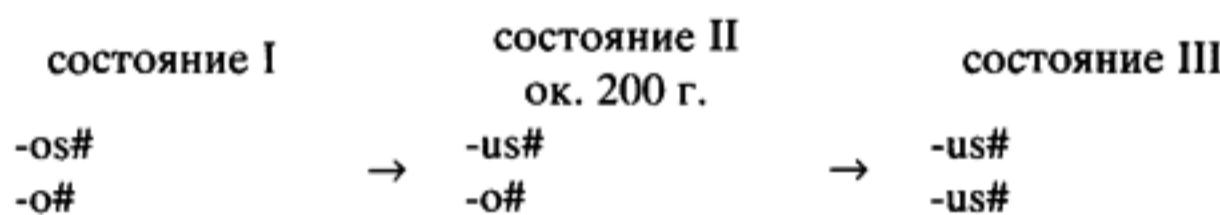
Очевидно, что теория Зоммера и Сафаревича не предлагает внутренних фонологических мотиваций для (1) появления полных написаний -vs в конце III в., (2) исчезновения слабого аллофона /σ/ в литературном языке I в.

5. Разведение противоречащих фактов по разным диалектам дает простое объяснение, к которому склонялся И.М. Тронский: «Редукция -s#... представляет явление, характерное для диалектной «сельской» латыни ... Римский говор, по-видимому, был мало затронут этой редукцией, и литературный язык ее устранил» [Тронский 2001: 114]. Однако интерес представляют именно фонологические характеристики ‘редукции’ в системе латинского языка.

В действительности объяснение Тронского представляет собой компромисс между теориями, восходящими к Аве, и альтернативной теорией К. Проскауэр.

6. Диссертация Каролы Проскауэр [Proskauer 1910] остается единственным систематическим рассмотрением эпиграфического материала, относящегося к проблеме отпадения -s#. Выводы этого исследования противоположны теории Аве: написание -vs, появившееся в конце III в., свидетельствует о прекращении отпадения -s# в диалекте Рима.

Проскауэр предложила исключительно точную и удивительно корректную для своего времени фонологическую схему, которую мы суммируем следующим образом:



По теории Проскауэр на первой и второй стадии одновременно существовали усеченные и полные варианты. Восстановление -s#, точнее, устранение усеченных вариантов, мотивировано переходом -os# → -us#.

Третья стадия (классическая) началась задолго до середины I в. Усеченные формы, которые встречаются в поэзии, Проскауэр определила как искусственные архаизмы, которые сохранялись *metri causa*, пока неотерики окончательно от них не отказались [Proskauer 1910: 31–38].

Проскауэр полагала, что отпадение -s# на первой стадии определялось фонетическими условиями и было мотивировано влиянием открытого краткого /o/ на последующее /s/.

⁹ Например, трехпадежная система Sing.: *lōpus – *lōpo – *lōpo Plur.: *lōpi/*lōpos – *lōpi/*lōpoto – *lōpos [Lloyd 1987: 153].

Отпадение -s# после других гласных Проскауер объясняла аналогией.

В действительности для -es# и -is# может быть установлена такая же пропорция полных и усеченных форм, как и для -os# [Hump 1959: 169]:

состояние I	→	состояние II	→	состояние III
		ок. 200 г.		
-es#	-is#	-is#	-is#	-is#
-e#	-e#	-e#	-e#	-is#

Это означает, что фонетическое объяснение, предложенное Проскауер для -os#, не является необходимым. То, что отпадение -s# прекратилось в течение II в., можно объяснить морфонологическими причинами, а именно, устраниением грамматически избыточных чередований [Hump 1959].

7. Принципиально новую картину отпадения -s# дало исследование Уолласа [Wallace 1984]¹⁰, который показал, что это явление у Плавта было лексически связанным. По подсчетам Уолласа 276 словоформ находятся в позициях, где полные и усеченные формы метрически различимы (всего 1828 случаев, из них усеченных 1058, т.е. 58%, причем только 52 словоформы встречаются в метрически определенных позициях 5 или более раз).

Следующие словоформы занимают 10 верхних мест в списке, расположенному по убыванию частотности Ø (в скобках показано соотношение усеченных форм к числу учтенных):

deus (9 : 9), genus (7 : 7), suōs (5 : 5), quibus (44 : 45), nimis (94 : 97), prius (112 : 117), tribus (12 : 13), tuōs (48 : 53), bonus (9 : 10), meus (71 : 79) .

Почти все эти слова входят в список 10 наиболее частотных словоформ, на которые приходится окруженно 64% от всех случаев отпадения -s#:

magis (112 : 126), prius (112 : 117), nimis (94 : 97), satis (84 : 89), meus (71 : 79), minus (48 : 54), tuos (48 : 53), erus (37 : 52), quibus (44 : 45), opus (24 : 28).

Уоллас интерпретировал открытую им в языке Плавта лексическую диффузию как «свидетельство прогрессирующего фонетического изменения» [Wallace 1984: 224]. Однако теория Проскауер указывает на другое решение: отпадение -s# было ок. 200 г. умирающим морфонологическим процессом¹¹.

Мы должны предположить, что в языке Плавта сохранялся устойчивый набор словоформ, имевших варианты -us# (-os#)/-Ø#: servos/*servoØ#, bonus#/*bonoØ#, quibus#/*qui-voØ# и т.д., и другой набор, с вариантами -is#/-eØ#: satis#/*sateØ#, nimis#, *nimeØ# и т.д. Как показывают подсчеты Уолласа число лексем, составлявших ядро этих чередований, едва ли доходило до 20. Вокруг небольшого, но очень плотного ядра (немного лексем и много случаев чередования), формировалось большое, но очень разряженное облако (много, около 200, лексем и очень мало чередований).

Чередование было факультативным, поэтому лексическая связанность была очень важна для техники версификации (и, соответственно, декламации). Благодаря лексическим ограничениям, резко сокращалась опасность метрически ошибочной интерпретации конечных -us# -is#: усечение -s#, когда размер требовал полной формы, или наоборот. Метрика должна была благоприятствовать любым факторам, ограничивающим просодическую амбивалентность, поэтому нельзя безоговорочно переносить лексиче-

¹⁰ Уоллас ошибочно включил в свою статистику односложные is, quis, хотя ослабление -s# в monosyllaba признается недопустимым [Lindsay 1922: 126; Soubiran 1995: 4]. Для таких слов, как meus, cuius, eius, также учтенных Уолласом, возможно односложное произношение, что серьезно меняет метрические условия для sigma labile. Относительно magis см. далее § 10.

¹¹ В этом случае следовало бы говорить не о диффузии (то есть в строгом смысле о расширении лексического облака, затронутого фонетическим процессом), а о лексическом коллапсе (ср. варьирование булочная ~ булошная в современном московском говоре).

ские ограничения, установленные для драматической поэзии, за пределы поэтического языка¹².

Ослабление или отпадение?

8. Слабый аллофон $s\# \rightarrow \emptyset$ является необходимым элементом в теории Зоммера.

Напротив, для теории Проскауер необходимо отпадение $-s\# \rightarrow \emptyset$, поскольку введение слабого аллофона просто устраниет чередования, на которых эта теория основана.

Обе теории одинаково успешно объясняют чередование графического s и $\{\emptyset\}$:

	Проскауер		Зоммер	
написание	-os	-o{∅}	-os	-o{∅}
произношение	/os/	/o/	/os/	/os/

Таким образом, показания надписей не могут прояснить этот вопрос.

Существует единственный метрический контекст, в котором σ и \emptyset дают различный просодический эффект.

Рассмотрим произвольные сочетания *servos stat* и *servos sit*, для которого устанавливаются следующие варианты просодических транскрипций:

/serwos # stat/ <β β # Σ> /serwos # sit/ <β β # Σ>	/serwo # stat/ <β α # Σ> ↔ <β β # Σ> /serwo # sit/ <β α # Σ>	/serwoσ # stat/ /serwoσ # sit/ <β α # Σ>
---	---	--

Если слабое σ было достаточно сильным, чтобы препятствовать элизии, то конечный слог в /serwoσ/ был закрытым. Перед группой согласных (включая *muta cum liquida*) только открытый краткий слог может быть легким, что и дает нам критический контекст. Кроме того, слабое σ перед группой согласных, должно было бы, согласно Зоммеру, усиливаться, например, в группе $-s\#pl-$ (сочетание, возможное в начале слова). Следовательно, слог, закрытый σ , никогда не был бы легким перед группой согласных, что, однако, наблюдается, например, в следующем стихе:

Вас. 191 quī scīre possum nullū^s plūs quemn^{am} ad modum (я м б и ч е с к и й с е н а р и й)

Второй метр <-sum nullus plūs> имеет обязательный (по правилу Мейера) ямб перед диерезой, следовательно nullū∅ plūs <β α # Σ>, а не nullūσ plūs <β β # Σ>.

Аналогичный случай для -i∅

Ап. 875 ain tandem, cīvi^s Glucerium ēst ita praedicant (я м б и ч е с к и й с е н а р и й)

-vi∅# glucer – есть метрически необходимый трибрахий.

Запрет на $-us\# \rightarrow -u\emptyset\#$

9. Этот запрет является необходимой и наиболее парадоксальной частью теории Проскауер. Фонетическую необоснованность запрета можно считать серьезным дово-

¹² См. Дополнение III.

дом против самой теории. Если же запрет действительно существовал, то в языке Плавта должно наблюдаваться следующее метрически доказуемое различие:

основы на -o-	основы на -i-
āctus# V āctoø# C ~ āctus# C	āctus# V āctus# C

Перед согласными окончание -us# основ на -i- не должно отбрасывать -s#.

При этом учитывать необходимо только 'спондеические слова' (āctus), но не 'ямбические' (tānus), чтобы исключить влияние ямбического сокращения.

Следующая таблица демонстрирует распределение 97 окончаний -us# по метрическим контекстам для 14 лексем, из которых самой употребительной оказывается ūsus, благодаря выражениям ūsus est, ūsus venit.

Σ: слог не может быть метрически определен;

α: метрически определенный легкий слог;

β: метрически определенный тяжелый слог;

Σ#: исход стиха;

-ust#: проделизия (-us_st → -ust)

Усеченные формы отражены в столбце α#C.

		Σ#	Σ#C	α#V	α#C	β#C	-ust#
Plaut.	arcus					1	
Plaut.	ūsus		12	8	[1]	2	17
Terent.	ūsus		8	2	2		1
Plaut.	senātus		1				
Plaut.	ornātus		5	3			
Terent.	ornātus						1
Plaut.	magistrātus					1	
Terent.	magistrātus				1?	1?	
Plaut.	vīctus		3				
Plaut.	flūctus			2			
Plaut.	frūctus	1	1	2			
Terent.	frūctus			1			
Terent.	vestītus		3				
Plaut.	cultus		1				
Terent.	vultus		2			1	
Plaut.	vultus		1				
Plaut.	sumptus			1		2	
Plaut.	quaestus		4	3		1	
Terent.	quaestus		1	1			
Plaut.	sexus		1				
		1	43	23	3 (4?)	8 (9?)	19

Плавт не дает ни одного случая α#C (единственный пример Sti. 57 признается всеми издателями интерполяцией¹³). Все три примера α#C содержат ūsu∅# в одном выражении quid (quod) factō ūsus sit):

- | | |
|---------|--|
| Ad. 429 | īspicere iubeō et moneō quid factō ūsu ^s sit (ямбический сенарий) |
| He. 878 | temere quicquam Partenō praetereat quod factō ūsu ^s sit (трохеический септенарий) |
| Sti. 57 | igitur quaerāmus nōbīs quid factō ūsu ^s sit (ямбический сенарий) |

Единственное употребление слова *magistrātus* у Теренция сомнительно.

- | | |
|--------|--|
| Eu. 22 | magistrātus cum ibi adasset occerta est agī (ямбический сенарий) |
|--------|--|

Стих допускает несколько метрических интерпретаций, которые поддерживают как *magistrātu^s*, так и *magistrātus*, при этом неусеченная форма метрически неотличима от *magistrātūs*, и некоторые рукописи дают согласование во множественном числе MAGISTRATVS... ADESENT¹⁴.

Прочтение Eu. 22 для нашего вопроса не является решающим, поскольку «Анналы» Энния (текст, независимый от норм драматического стихосложения) предоставляют два примера:

- | | |
|----------------------|--|
| Lib. II, 123 S 129 V | hic occasu ^s datus est at Hortensius inclutu ^s saltu |
| Lib. V, 159 S 166 V | inicit inititatu ^s tenet occasu ^s iuvat res |

Таким образом, для языка Плавта подтверждается запрет на усечение -us# → u# в основах на -i-. Этот запрет преодолевается у Энния и Теренция, но очень ограниченно. Кроме самой малочисленности примеров, *occasu^s* и *usu^s* позволяют предполагать не только лексическую, но даже идиоматическую связанность ∅ вариантов.

Как Плавт мог соблюдать с такой строгостью различие между -us# в основах на -i- и -us# в основах на -o-? Ответ на это вопрос дает открытая Уолласом лексическая диффузия: поэты должны были заботиться о весьма ограниченном наборе слов.

Первые шесть книг «Анналов» были, по всей видимости, изданы вскоре после 187 г., «Андрия» была поставлена в 166 г., а традиционная дата кончины Плавта – 184. Следовательно, речь не идет о значительном разрыве во времени, разделявшем норму Плавта и норму Энния и Теренция. Инновацию, которая устанавливается для поэтического языка после Плавта, следует понимать как упрощение системы, а именно удаление вариантов на -o# и замещение их вариантами на -i#.

основы на -o-	основы на -i-
āctus# V	āctus# V
āctu∅# C ~ āctus# C	

В середине I в., когда усеченные варианты с -i∅# еще существовали в поэзии, Цицерон (Orat. 48, 161) ясно описывает это явление как простое отпадение -s#, которое не затрагивало вокализм окончания: ...eogum verborum quorum eaedem erant postremae duae litterae quae sunt in optimus, postremam litteram detrahebant, nisi vocalis insequebatur – в словах,

¹³ Sti. 48–57 отсутствуют в Амброзианском палимпсесте.

¹⁴ adessem A (Bembinus) : adessent D (Victorianus); кодексы представляют разные ветви рукописной традиции, некоторый перевес на стороне древнейшего A, но Линдсей и Кауэр отметили чтение D как возможное (*recte?*).

в которых последние две буквы такие же, как в optimus, они (старые авторы) отбрасывали последнюю букву, если только далее не следовала гласная.

MAGIS ~ MAGE

10. Судьба чередования -is#/e# не документирована достаточно полно, можно только предполагать, что и оно было устранено в эпоху Плавта или немного позднее. Древние дублеты pote ~ potis, mage ~ magis, *sate → sat ~ satis осложняют картину. Метрически magiø#C и mage#C неразличимы, а magis#V и mag#V различаются тем, что только последнее элиминируется. Напомним, что в стихах sigma labile перед гласными обязательно сохранялось. В нашем тексте Плавта mage пишется только перед гласными, и это написание, видимо, не встречается в тексте Теренция¹⁵. Чтения рукописей в этих случаях можно признать древними в той степени, в какой они метрически правильны, поскольку уже позднеантичные переписчики не могли учитывать метрику для исправления текста. Таким образом, после Плавта mage как будто исчезло и было вытеснено усеченной формой magiø# (из magis), но magiø# оказалось неспособным занимать позицию перед гласными. У Лукреция mage встречается только перед согласными, то есть неотличимо от magiø# (IV 81, 318, 756; V 1203). После Лукреция mage встречается у поэтов, которые не допускали отпадения -s#: Вергилия (Aen. X 481) и Проперция (I 11, 9; III 14, 2; IV 8, 16).

Из этого следует, что морфологические варианты типа mage ~ magis никогда не были поглощены чередованием ø ~ s#.

Это относится и к окончаниям страдательного залога -te# ~ ris#¹⁶. Окончание -te# элиминируется (Amp. 973: loquer^c et) и, следовательно, метрически отличается от -ris#. По всей видимости, эти варианты никогда не ассоциировались с sigma labile. В литературном классическом языке окончание -te# сохранилось и после отказа от отпадения -s#.

Ямическое сокращение в основах на -i-

11. Большинство случаев отпадения -s# основ на -o- находится на ямические словоформы, при этом просодический эффект бывает такой же, как при ямическом сокращении: если bonus#C образует пиррихий <α α>, то с точки зрения структуры стиха безразлично, как объяснять эту просодию, отпадением -s# или ямическим сокращением (особый случай см. Дополнение II).

Согласие обоих процессов соблюдается и в отношении окончания -us# основ на -i-: для словоформы manus#C, оказываются блокированными и ямическое сокращение, и отпадение -s#, поэтому -us#C практически никогда не занимает положение метрически определенного легкого слога.

Для manus (10 употреблений у Плавта и Теренция), manu (83), anus (19) можно найти не более 5 надежных примеров: manu li-berali (Poe. 1102: начало ямического триметра), manu can-dida (Pse. 1262: анапест, монодия), nisi si te me – a manu (Tru. 927: дактиль, начало трохеического септенария), manus ve-tat (Tru. 901: начало трохеического септенария), em tibi anus lepida (Cur. 120: <β α α β α α α> монодия).

Aul. 548 tam hoc scit mē habēre quam egomet anus fēcit palam (ямический сценарий)

-met apuø# зарегистрировано Алис Брено как трибрахий [Brenot 1923: 7], но предпочтительным анализом будет: -te qu^{am} egomet – anus – (прокелевматик и ямб), поскольку ямб обязателен перед диэрезой по правилу Мейера (однако два двусложных слова после диэрезы fecit palam разрешают не соблюдать это правило).

¹⁵ mage напечатано повсеместно в тексте Кауера-Линдсея на месте magis = magiø#C. Судя по тексту и критическому аппарату Марузо во всех этих местах в рукописях стоит MAGIS.

¹⁶ Аве ошибочно полагал, что -te# появилось в результате отпадения -s# [Havet 1891: 307].

Более сложно положение *diu*, которое имеет иотированную форму /djū/, и пиррихическое *diu* всегда может быть заменено этой односложной формой без нарушения метра [Lindsay 1922: 62]¹⁷.

Природа отпадения -s#

12. Ранние драматические поэты избегают метрически необходимого краткого -i# в исходе слова, при этом некоторое, хотя и очень незначительное, число таких случаев все же наблюдается. Запрет на отпадение -us# → -iø# объясняется не особой устойчивостью -s# в этой позиции, но недопустимостью краткого -i# в исходе слова.

Очевидно, что в уже в поэтическом языке Плавта запрет на -i# не был фонологическим законом. У Плавта это старое ограничение переместилось в область метрики, и оно проявляет себя как система метрических приемов, которые позволяли избегать результатов некогда недопустимого фонетического процесса.

Это наблюдение позволяет существенно уточнить наше понимание неустойчивости -s# в архаической латыни.

Прежде всего, это явление не было чисто фонетическим.

В течение всего III в. латинский язык переживал глубокие изменения, связанные с изменением акцентной системы и переходом от ‘начальной интенсивности’ к классической акцентуации. Радикально изменилась просодия конечных слогов, что на фонетическом уровне привело к разнообразным ‘сокращениям’. Отпадение -s# относится к этим явлениям.

Одним из последствий просодической революции стало появление кратких -i#, o#, -u# в исходе слова. В классическом языке все вхождения этих фонем в конечной позиции объясняются как результат ямбического сокращения в открытых слогах (*modo* ~ *modō*, *tibi* ~ *tibī*). В доклассическом языке краткие -i#, o#, -u# появлялись также в результате отпадения -s#.

Можно предположить, что продвижение ранее запрещенных фонем в абсолютный исход слова происходило с разной скоростью.

Надписи, как и поэтические тексты, отражают то состояние, когда конечные -i# и o# уже свободно допускались, а конечное -u# еще было под запретом.

Это означает, что распределение -Vs#V/-Vø#C следует понимать как отражение действительных условий процесса, а не следствие выработанной в поэзии искусственной нормализации.

Далее, отпадение -s# можно связать с более поздним фонологическим сокращением долгих гласных перед конечными согласными, кроме -s#.

Отношение между этими двумя процессами было зеркальное, но они не были синхронными. Сперва -s# оказалось несовместимым с краткими гласными, затем долгие гласные оказались несовместимы со всеми согласными, кроме -s#¹⁸:

отпадение -s#	сокращение долгих
-Vs#C → Vø#C	-V:s# сохраняется
-Vt#C сохраняется	-V:t# → -Vt#

В языке Плавта сокращение еще не завершилось, а отпадение -s# было, по всей видимости, архаизмом даже в статусе морфонологического чередования.

Диахрония

13. Теория Проскауэр дает принципиально правильную интерпретацию *sigma labile*, и мы теперь можем сделать некоторые уточнения в установленную Проскауэр историческую перспективу.

¹⁷ Односложное *diu* /djū/ может быть элиминировано (Mos. 293).

¹⁸ Оба процесса сближают и то, что они или не распространялись на односложные словоформы (*sigma labile*), или распространялись ограниченно (сокращение долгих гласных).

(1) Первоначальное состояние описывается следующим образом:

-us#V -os#V -es#V -is#v

-us#C -o#C -e#C -e#C

(2) Критическое напряжение системы возникло после перехода -os# → -us#; -es# → -is#;

-us#V -us#V -is#V -is#V

-us#C -o#C -e#C -e#C

Начало этой стадии можно отнести приблизительно к середине III в. Именно это состояние можно назвать эталоном для языка Плавта, но сам Плавт находился уже в других условиях.

Мы уже могли заметить, что причиной последующего развития была перегруженность системы (2) чередованиями, которые не были поддержаны ни семантически, ни фонетической позицией. Латинский язык не согласился с обобщением усеченных форм (именительный падеж *lupo). Упрощение системы пошло другим путем.

Первым шагом стало перемещение чередований системы II в морфонологическую плоскость. Эта стадия засвидетельствована в текстах Плавта.

(3) Дальнейшее упрощение связано со снятием запрета на конечное -i#

-us#V (-os)-us#V (-es)-is#C -is#C

-i#C -i#C -i#V -i#V

Это система Энния и Теренция.

(4) Наконец, усеченные формы были полностью элиминированы:

-us#V -is#C

-us#C -is#V

Уже у Плавта встречается конечное -i#, но метрическая тактика Плавта строится так, что все окончания, где -i# могло появиться, размещаются в метрически амбивалентных позициях.

14. Мы можем сделать вывод, что язык Плавта был ориентирован на систему (2), но испытывал давление со стороны системы (3). Следовательно, на рубеже III-II вв. обыденный городской язык Рима находился уже в состоянии (3), но поэтический язык (по условиям эпохи это был сценический язык) сохранил более старую норму.

Поколение римских поэтов, следовавшее за Плавтом, привело поэтический язык в соответствие с (3) состоянием. Не следует ли предположить, что эта перемена была вызвана соответствующим сдвигом в обыденном языке, который уже к середине II в. перешел в состояние (4)?

Если эта реконструкция правильна, то мы получаем очень важное подтверждение тому, что поэтический язык Рима уже в III в. образовал обособленную фонетическую систему. В отличие от языка империи, эта обособленность не была абсолютной. Конечное -s# испытывало одинаковые превращения в обыденном и литературном языке Республики, но литературный язык следовал за разговорным, отставая на одну ступень.

Возможно, это отношение можно проследить и далее. В середине I в. литературный язык окончательно перешел к (4) состоянию, то есть отказался от sigma labile. Едва ли эта реформа была проведена вне зависимости от нового отпадения -s#, которое стало распространяться в просторечие и хорошо засвидетельствовано эпиграфическими памятниками в течение всего императорского периода. Таким образом, контраст между разговорным и литературным языком по признаку sigma labile был восстановлен.

Добавление I

Переход -om# → -o#; -om# → -um# → u# происходит синхронно с отпадением -s#. Следовательно, в III-II вв. должен наблюдаваться аналогичный набор написаний -om, o#, um, u# с приблизительно такой же частотностью вариантов и такой же диахронической динамикой, как для окончания -os → us# и его Ø вариантов, то есть -o# должно быть более редким, чем -o#.

Насколько мне известно, этот вопрос никогда не ставился.

Предварительный просмотр надписей не опровергает этой гипотезы.

ROMANOM = Romanum (Romanorum) CIL I² 1 (до 264 г.);

DVNORO OPVMO FUISSE VIRO | LVCIOM = bonorum optimum fuisse virum Lucium CIL I² 9;

INGENIVM ... MAIORVM ... PROGNATVM рядом с QUIVS CIL I² 10 (элогий Сципиона, после 170 г.?);
C. PLACENTIOS HER. F. MARTE SACROM ||
C. PLACENTIVS HER. F. MARTE DONV DEDE || CIL I² 47 (надпись на двух сторонах бронзовой пластины, Тибур).

Добавление II

Признавая в *sigma labile* явление, прежде всего, фразовой фонетики, мы должны с самым пристальным вниманием отнести к сочетаниям затронутых этим чередованием окончаний с клитиками.

Уже Аве [Havet 1891: 322] заметил, что при энклитике *_que* «сильный» стык *-s que* встречается чаще, чем «слабый стык» *-ø que*¹⁹. Ясно, что усредненные данные здесь не могут иметь значения. Интерес представляют не отдельные клитики, а то, что можно было бы назвать *клитическим контекстом*, то есть участие отдельных единиц в цепочках клитик и других, вовлеченных в клитические группы «мелких слов», – а также взаимодействие клитического контекста и метрического. Далее мы излагаем несколько предварительных наблюдений.

В сочетании *bon`us que* невозможно ямбическое сокращение, поскольку энклитика переносит ударение на последний слог опорного слова, а сокращение ударного слога не допускалось [Кузнецов 2006: 118]. Однако мы находим пиррихии *nimi^s que* (Mil. 1003), *minu^s que* (Aul. 19), которые можно объяснить только отпадением *-s#*. Другую структуру имеет ямбическая клаузула *sati-u^s sit* (He. 730), где ямбическое сокращение также невозможно еще и потому, что пиррихий *-ti-uø* разделен между метрическими позициями. Метрически необходим *ø* в ямбических клаузулах *Amphitruoni^s sum* (Amp. 411), *tempi^s fert* (Ad. 839).

Общим для всех этих случаев является клитическое ударение, переместившееся на окончание *-us#*. Действует ли ударение на окончании как фактор, благоприятствующий утрате *-s#*?

«Элидиранная» энклитика *_qu'* не смешала ударение [Кузнецов 2006: 118]. В согласии с нашим предположением в большинстве случаев *_qu'* при безударном окончании сочетается именно с неусеченным *-s#*. Отпадение *-s#* перед *_qu'* встречается у Плавта и Теренция 5 раз против 13 сочетаний *-us_qu'* и 6 метрически амбивалентных случаев. Однако, как указывалось выше, значение имеет клитический контекст.

Большинство стихов с сильным *-us_qu'* содержат одиночную клитику, что предполагает безударное окончание:

Men. 553 *tempusqu' abīte ab hīs locis lēnōniīs* (ямбический сценарий)

Неэлидированных *-us que* очень мало (всего 9), при этом удалось найти всего один пример отпадения *-s#* перед *_que*:

Cis. 617 *priu^s grāvida facta est priu^sque pēperit filiam* (ямбический сценарий)

Наибольший интерес представляют примеры, в которых за *-us que* следует другая энклитика

Mil. 736 *qui deōrum cōnsilia culpet stultus īscītusque sit* (трокеический септенарий)

Mil. 783 *cui facētiārum cor pectusque sit plēnum et dolī* (трокеический септенарий)

Tru. 785 *etiamnum quid sit negōtī falsus incertusque sum* (трокеический септенарий)

Если сохранение *-s#* указывает на вероятную безударность окончания *-us_* в клитической группе, то мы должны допустить, что и в этих примерах окончание было безударным. Следовательно, можно предположить сдвиг клитического ударения в сторону по-

¹⁹ Это наблюдение было подтверждено Уолласом для всех клитик [Wallace 1984: 220]. Уоллас нашел только 47 метрически определенных случаев отпадения *-s#* перед клитиками. Это означает, что Уоллас оперировал только традиционным набором энклитик (*_que*, *_ve*, *_ne*) и фактически его данные относятся только к *_que*. Таким образом, мы не располагаем даже приблизительными количественными данными по этому вопросу.

следней клитики *pectus_qu`e_sit*. Это подтверждается опадением -s# в том случае, когда за _que следует вторая клитика, но она элидирована:

Aul. 19 *cūrāge minu^sque m^e impertīg^e honōribus* (ямбический сенарий)

Таким образом, несмотря на ограниченность материала, мы можем предположить схему перемещения клитического ударения, направление которого как будто зависит от четности слогов энклитической группы. Ради простоты описания будем исходить из того, что «нормальное» ударение ставится на конечном слоге слова, опорного для первой энклитики.

(a) Перемещение ударения на окончание: *min`u^ø _que* (энклитика: 1 слог).

(b) Ударение сдвинуто вправо: *pect`us_que_sit* → *pectus_qu`e_sit* (энклитическая группа: 2 слога).

Сюда же относится двусложная энклитическая группа *dabimus_qu' eti^{am}*,
Per. 847 *malum vōbīs dabo at tibi nos dedimus dabimusqu' eti^{am} ei nātīs pervellit* (анапесты)

Логическим продолжением этого ряда будут примеры с элидированной энклитикой, входящей в трехсложную группу: *minu^ø _qu'_id_mihi*.

В этом случае можно думать о возвращении клитического ударения к «нормальной» позиции на окончании опорного слова:

(d) *minus_qu'_id_mihi* → *min`u^ø qu'_id_mihi*: (энклитическая группа: 3 слога).

Vac. 1103 *plūs perdiderim, minus aegrē habeam minu^squ' id mihi damnō dūcam* (анапесты)

Epi. 428 *minus hominem doctum minu^squ' ad hanc rem callidum* (ямбический сенарий)

Tri. 234 *ut utramque rem simul exputem iūdex sim reu^squ' ad eam rem* (ямбический септениарий)

Конечно, далеко не все примеры вписываются в эту схему.

Четыре стиха (Cas. 51, 289; Mil. 617; Ph. 480) дают одиночную энклитику с полным -us_que:

Cas. 51 *paterque filiusque clam alter alterum* (ямбический сенарий)

Добавление III

Следующие словоформы участвуют в ямбических клаузулах типа *salvo^ø_sum*²⁰:

abūsus (Ph. 413); *admīrātus* (Ht. 826); *auctus* (He. 334); *ausus* (Eu. 1045); *commentus* (Amp. 979); *cōfessus* (Mos. 555); *dēfessus* (He. 443); *desertus* (Ad. 873); *dictūrus* (Ht. 15); *expertus* (Cur. 680); *expertus* (He. 489); *factūrus* (Asi. 376); *factūrus* (Mil. 1183); *factūrus* (Per. 144); *frausus* (Asi. 286); *frētus* (An. 619); *incertus* (He. 450); *incertus* (Ph. 660); *inīquos* (He. 485); *ius-sus* (Ph. 683); *lūdificātus* (Mos. 1124); *nullus* (An. 599); *nullus* (He. 653); *ruptūrus* (Cap. 14, prolog.); *salvos* (Mos. 566); *salvos* (Rud. 103); *sepultus* (Ph. 943); *vīsus* (Aul. 811); *vīsus* (Mer. 232); *vīsus* (Mer. 245).

Только в самом низу списка частотных слов Уолласа обнаруживаются *nullus* (3 ø и 3 полных варианта) и *salvos* (3 и 2). Очевидно, что тип *salvo^ø_sum* не привязан к строго определенным лексемам. С другой стороны, 30 стихов, имеющих метрически и морфологически единообразное завершение позволяют определить этот тип как метрический шаблон. Это объясняет появление *usu^ø_sit*: метрический шаблон оказался сильнее старого запрета на sigma labile в основах на -i-.

Можно предположить, что в метрически определенные контексты могли войти любые просодически удобные слова без каких-либо лексических ограничений. Наоборот, 10–20 словоформ, на которые у Плавта приходится до 70% метрически необходимых ø вариантов не были строго привязаны к метрическому контексту. Лексически связанные ø варианты склонны располагаться во внутренней зоне стиха, метрически наиболее сложной и разнообразной, но точная проверка этой гипотезы потребовала бы пересмотра всех данных Уолласа.

С точки зрения экономии стиха важно было нейтрализовать языковую амбивалентность. Актеры, читавшие текст Плавта, едва ли занимались метрическим анализом, а заранее нельзя было знать, когда следует отбрасывать -s#, а когда сохранять. Поэтому

²⁰ Для Теренция: [Laidlaw 1938: 58].

появление метрически необходимых Ø вариантов регулировалось специальными шаблонами, лексическими или метрическими. С другой стороны, не заметно, чтобы каким-либо образом регулировались метрически необходимые полные варианты. Из этого следует, что именно Ø варианты были маркированными.

СОКРАЩЕНИЯ

Ad. Terentius	<i>Adelphoe.</i>	Ht. Terentius	<i>Heauton Timorumenos.</i>
Amp. Plautus	<i>Amphitruo.</i>	Men. Plautus	<i>Menaechmi.</i>
An. Terentius	<i>Andria.</i>	Mer. Plautus	<i>Mercator.</i>
Asi. Plautus	<i>Asinaria.</i>	Mil. Plautus	<i>Miles Gloriosus.</i>
Aul. Plautus	<i>Aulularia.</i>	Mos. Plautus	<i>Mostellaria.</i>
Bac. Plautus	<i>Bacchides.</i>	Per. Plautus	<i>Persa.</i>
Cap. Plautus	<i>Captivi.</i>	Ph. Terentius	<i>Phormio.</i>
Cas. Plautus	<i>Casina.</i>	Poe. Plautus	<i>Poenulus.</i>
Cis. Plautus	<i>Cistellaria.</i>	Pse. Plautus	<i>Pseudolus.</i>
Cur. Plautus	<i>Curculio.</i>	Rud. Plautus	<i>Rudens.</i>
Epi. Plautus	<i>Epidicus.</i>	Sti. Plautus	<i>Stichus.</i>
Eu. Terentius	<i>Eunuchus</i>	Tri. Plautus	<i>Trinummus.</i>
He. Terentius	<i>Hecyra.</i>	Tru. Plautus	<i>Truculentus.</i>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кузнецов 2006 – *A.E. Кузнецов. Латинская метрика.* Тула, 2006.
- Тронский 2001 – *И.М. Тронский. Историческая грамматика латинского языка. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции)* / Изд. подгот. А.В. Грошева, Н.Н. Казанский, М.Л. Кисилиер, Е.Р. Крючкова, Н.Н. Надель, А.И. Солопов; Под общ. ред. Н.Н. Казанского. 2-е доп. изд. М., 2001. [1-е изд. 1960].
- Bentley 1726 – *R. Bentley. De Metris Terentianis Σχεδίασμα* // *Terentius. Comoediae, Phaedri Fabulae Aesopeae, Publili Syri, et aliorum Veterum Sententiae, Ex Recensione et cum Notis Richardi Bentleii. Cantabrigiae, 1726.*
- Brenot 1923 – *A. Brenot. Les mots et groupes iambiques réduits dans le théâtre latin: Plaute. Térence. Fragments de tragédies et de comédies.* Paris, 1923.
- Ernout 1932 – *A. Ernout. Plaute / Texte établi et traduit par A. Ernout.* T. 1–7. Paris, 1932.
- Ernout 1973 – *A. Ernout. Recueil de textes latins archaïques. Nouvelle édition.* Paris, 1973.
- Hamp 1959 – *E.P. Hamp. Final -s in Latin* // *CPh.* V. 54. 1959.
- Havet 1891 – *L. Havet. L's latin caduc* // *Études romanes dédiées à Gaston Paris.* Paris, 1891.
- Kauer-Lindsay 1926 – *R. Kauer, W.M. Lindsay. Comoediae. Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt R. Kauer, ... W.M. Lindsay.* Oxonii, 1926.
- Laidlaw 1938 – *W.A. Laidlaw. The prosody of Terence. A relational study.* London, 1938.
- Leo 1905 – *Fr. Leo. Plautus. Comoediae. Recensuit et emendavit Fr. Leo.* Berolini, 1905–1906.
- Leumann 1977 – *M. Leumann. Lateinische Laut- und Formenlehre.* München, 1977. (M. Leumann, J.B. Hofmann, A. Szantyr. Lateinische Grammatik. Bd. 1).
- Lindsay 1894 – *W.M. Lindsay. The Latin language: an historical account of Latin sounds, stems and flexions.* Oxford, 1894.
- Lindsay 1904 – *W.M. Lindsay. Plautus. Comoediae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay.* V. 2. Oxonii, 1904–1905.
- Lindsay 1922 – *W.M. Lindsay. Early Latin verse.* Oxford, 1922.
- Lloyd 1987 – *P.M. Lloyd. From Latin to Spanish.* Philadelphia, 1987.
- Marouzeau 1942 – *J. Marouzeau. Térence. Tome 1 – [3] / Texte établi et traduit par J. Marouzeau.* Paris, 1942–1949.
- Proskauer 1910 – *C. Proskauer. Das auslautende -s auf den lat. Inschriften.* Strassburg, 1910.
- Questa 1995 – *C. Questa. Cantica. Edidit, apparatu metrico instruxit Caesar Questa.* Urbino, 1995.
- Safarewicz 1969 – *J. Safarewicz. The Date of commencement of Latin called vulgar* // *Linguistic studies. The Hague; Paris, 1974.*
- Soubiran 1995 – *J. Soubiran. Prosodie et métrique du Miles gloriosus de Plaute: introduction et commentaire par Jean Soubiran.* Louvain, 1995.
- Wallace 1984 – *R. Wallace. The Deletion of s in Plautus* // *AJPh.* V. 105. 1984.

© 2009 г. Е.Л. ГРИГОРЬЯН

КАУЗАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Автор показывает, что в одной и той же языковой ситуации возможны альтернативы в «профилировании» каузальных отношений.

В данной статье будут рассматриваться в первую очередь те каузальные значения, которые определяют синтаксические связи в пределах простого предложения, точнее, если пользоваться английским термином, *clause*.

Мы исходим из того, что (1) каузальные значения организуют структуру простого предложения (*clause*); (2) они неоднородны с точки зрения семантики, с чем связаны различия их грамматических проявлений; (3) каузальные значения не задаются однозначно описываемой реальностью, а конструируются на языковом уровне в зависимости от ее интерпретации; таким образом, каузальные отношения могут быть определены только применительно к конкретному высказыванию¹. Для многих денотативных ситуаций (т.е. ситуаций, задаваемых конкретными предложениями) существуют различные возможности в осмыслиении тех или иных элементов и связей как каузальных, причем в конкретном высказывании, т.е. в пределах описания одной ситуации, могут присутствовать несколько актантов с каузальными значениями, которые неоднородны семантически и различны по своим формальным проявлениям.

Далее мы рассмотрим роль каузальных значений с точки зрения их связи с синтаксическими правилами и закономерностями с целью выявить и исследовать синтаксически релевантные аспекты их семантики.

То, что мы объединяем под термином *каузальность* или *каузальные значения*, не представляет чего-то однородного и четко структурированного. На разных уровнях языка (а возможно, и для разных явлений одного уровня) имеют свое проявление и могут быть выделены различные смысловые оппозиции, несводимые к единой логической схеме.

Достаточно взглянуть на совокупность лексических единиц и грамматических показателей, связываемых с семантикой каузальности – существительных, глаголов (типа *порождать*), наречий, частиц, вводных слов – чтобы стало очевидно, что они не представляют собой единой и последовательной системы; ср. [НОСС 2003], где рассматриваются лексические значения слов *причина* и под., работы, где рассматриваются причинные предлоги в латинском [Степанов 1995], русском и французском языках [Иорданская, Мельчук 2007; РГ 1980: 526] в связи с типами придаточных предложений и, соответственно, союзами и т.д. Хотя каждое из упомянутых описаний и каждая из предлагаемых классификаций, безусловно, адекватны и хорошо обоснованы, их практически невозможно свести вместе, пользуясь одним общим набором признаков. Тем более с

¹ По сути то же соображение, но в ином контексте и в других формулировках, высказывается и обосновывается в [Степанов 1995; см. также: Арутюнова 1988: 155, 157].

ними трудно связать семантические признаки, действующие в грамматике и определяющие синтаксические правила.

Поэтому, в частности, для многих грамматически значимых семантических категорий, исследуемых далее, невозможно дать четкое содержательное название, пользуясь лексическими единицами языка. Используемые далее наименования следует воспринимать как ярлыки, а не как содержательные характеристики.

Хотя понятие причины (и причинно-следственного отношения) интуитивно понятно, приложимость его к некоторым из рассматриваемых случаев неочевидна, особенно что касается каузального элемента в значении агентивности (что повторяется в большинстве дефиниций). Те определения причины, причинности и т.д., которые дают словари – как лингвистические, так и философские – в основном тавтологичны, т.е. используют слова типа «порождать» и т.п. Представляется, что существующие лингвистические классификации каузальных значений могут пролить больше света на содержание этой категории. Следует также иметь в виду, что русское слово «причина» не всегда в полной мере подходит к рассматриваемым в этой связи примерам; английское слово *cause* больше соответствует исследуемым явлениям. Таким образом, в данной статье каузальность понимается широко и покрывает большой диапазон значений.

Исследование опирается на материал русского, английского и французского языков. Так как на данном этапе исследования в отношении рассматриваемых в данной статье аспектов эти языки не обнаруживают явных различий, примеры даются далее недифференцированно; выбираются наиболее показательные из них и не дублируются в каждом случае параллельно на всех трех языках.

1. В литературе по падежной грамматике и особенно по каузативам часто выстраиваются так называемые каузальные цепочки и ситуация представляется как результат последовательного воздействия друг на друга ряда факторов. Например, [Nilsen 1973] дает цепочку *John caused his finger to cause the trigger to cause the gun to cause the bullet to cause the man to be dead*, что должно обозначать ‘Джон застрелил человека’. Представлена последовательность причин *Джон → его палец → спусковой крючок → ружье → пуля → ...*. Еще более длинная цепочка приводится в [Talmy 1976: 103] для аналитического каузатива.

Следует заметить, что, хотя в цепочках обычно представлены предметные имена, они, как правило, могут быть развернуты в описания событий. Ср. [Арутюнова 1974]: «Имя лица или предмета может скрывать за собой любое из возможных качеств, действий или происшествий. Например, *Я задержался из-за книг* = *я задержался из-за того, что относил книги в библиотеку / брал книги у приятеля / отдавал книги в переплет / расставлял книги по полкам и др.*». Таким образом, предметное имя в подобной функции указывает на пропозицию. «Недостающая информация обычно выводится из предтекста или ситуации. Иногда семантический предикат либо имплицируется именем, либо содержится в определении существительного» (с. 123). Заметим, что именно вследствие этого предметные имена в значении причин не всегда допустимы без экспликации, ср.:

/1/ Кузьму будил стук дверей и шуршанье мёрзлой соломы, которую таскал из развалиней Кошель (Бунин).

Вариант *Кузьму будили двери и солома невозможен, тогда как предложение *Меня разбудил телефон* совершенно обычно, прозрачно и не требует никаких пояснений, т.к. задает стандартную ситуацию (подлежащее как один из способов выражения каузальных значений будет рассмотрено далее).

Строго говоря, каузальные отношения связывают не предметы, а ситуации: «Минимальные семантические структуры обусловленности биситуативны» [ТФГ 1996: 141];

см. также [Хазагеров 1998: 24]². Кстати, в литературе также встречаются цепочечные каузальные схемы, состоящие не из имен, а из предикативных единиц [Talmy 1996]. Такой подход более точен, хотя и несколько громоздок и более удален от реальных синтаксических структур.

Далее в данной статье будут рассматриваться в первую очередь актанты и сирконстанты с каузальным значением. Именно они, как будет показано далее, во многом определяют синтаксические конструкции и правила.

Хотя в принципе можно строить цепочки любой длины, возводя ситуацию к сколь угодно удаленным первопричинам, а также путем дробления ситуаций на более элементарные³, в реальных текстах и высказываниях эти возможности не реализуются. В пределах одного предложения (*clause*) редко упоминается более двух звеньев цепи⁴. Кроме того, элементы цепочки явно неравноправны, некоторые из них практически никогда не эксплицируются, для многих возможности выражения ограничены; также не совпадают возможности их морфологического оформления. Так, возможно «он был убит *пулей*», но «из ружья», при этом палец и спусковой крючок вообще не могут фигурировать в описании данного события. Это связано со способом участия каждого из participants в создании ситуации и в первую очередь с существенностью «вклада»; также существенно наличие контакта. А. Вежбицкая [Wierzbicka 1980] в этой связи отмечает разницу между русскими примерами «Иван убил змею ружьем» и «Иван убил змею из ружья»: в первом случае подразумевается, что Иван использовал ружье как палку, а не стрелял из него, т.е. предполагается прямой контакт между средством и объектом. Во многом подобный пример приводит [DeLancey 1984]: *die from liquor* относится только к ситуации, когда человек умирает в результате собственного пьянства, тогда как *die because of liquor* может относиться и к другим случаям, например, если человек стал жертвой пьяного водителя. Можно сконструировать подобный русский пример: *умереть от водки* и *умереть (погибнуть) из-за водки*: последний пример может описывать более широкий круг ситуаций, например, если некто погиб в результате собственного водочного бизнеса; ср. также [Иорданская, Мельчук 2007: 511]. Маркирование подобных различий, по-видимому, является универсалией (DeLancey анализирует в основном материал атабасских языков).

Как упоминалось выше, за различными способами маркировки каузальных значений просматриваются содержательные различия. Опираясь на глагольные категории, падежные системы и/или диатезные преобразования в различных языках, лингвисты раз-

² На самом деле в научной и философской мысли существовали и существуют различные понимания концепта «причина»; Ю.С. Степанов [Степанов 1995: 64] приводит список таких интерпретаций в хронологическом порядке их появления: (1) Вещь есть причина вещи; (2) Вещь есть причина события; (3) Свойство есть причина события; (4) Свойство есть причина свойства; (5) Состояние есть причина состояния; (6) Событие есть причина события; (7) Факт есть причина события. Надо отметить, что на уровне языка проявляются, по-видимому, все из перечисленных вариантов. В фокусе нашего внимания будет вариант (2).

³ [Croft 1991] отмечает такой аспект представления ситуации, как *granularity*, т.е. выбор определенного масштаба. Приводится пример *Джон заболел*: при данном уровне представления ситуация понимается как элементарная, однако при другом уровне дробления она может быть приведена к последовательности *Вирус поразил горло Джона, которая воспалилась, что привело к ларингиту*. Таким образом, элементарный уровень репрезентации в принципе недостижим, т.к. любое представление может быть преобразовано в серию более элементарных, и так до бесконечности. Анализируя каузальные отношения, мы, естественно, должны оставаться в пределах заданного уровня представления.

⁴ Возможно, это связано с особенностями человеческого восприятия: многие авторы ссылаются на невозможность одновременно держать в поле внимания и соотносить каким-либо образом слишком большое количество объектов; иногда указывается предельная цифра 5 или 6. [Беличенко 2002], ссылаясь на [Schulze 1999], отмечает, что типичное количество упомянутых участников «сцены» не более трех-четырех; заметим, что лишь некоторые из них имеют каузальную семантику.

граничивают отдельные разновидности каузальных значений и, соответственно, видов каузации. Так, [DeLancey 1984] различает как релевантные для синтаксиса и морфологии direct cause, т.е. прямую, непосредственную причину в противоположность contributing, enabling, mediating causes (приблизительно: добавочная, влияющая, способствующая; создающая возможность; опосредующая, промежуточная причина). [Talmy 1985], рассматривая нюансы каузальных значений и отношений и оценивая их роль в языке (в основном в английском), различает каузацию результирующего состояния (события), каузацию каузирующего события, инструментальную каузацию (т.е. воздействие на средство), ненамеренную каузацию (author causation) и самопроизвольность (self-causation). Кроме того, разграничивается собственно каузация (causing) и пермиссивность (letting): в первом случае имеет место воздействие (positive impingement), во втором – отсутствие воздействия (negative impingement). Каузация может быть длительной, продолжающейся (extended causation) или представлять собой первотолчок (onset causation). Кроме того, в [Talmy 1996] говорится об особом статусе непосредственной причины (penultimate subevent), т.е. предпоследнего звена цепи (последним звеном считается результирующее событие, т.е. результат). Б.Л. Уорф [Whorf 1956: 266], анализируя глагольные категории языка кер д'ален, указывает на различия трех видов каузации и, соответственно, трех каузальных значений: во-первых, внутренняя причина (так, сливы становятся сладкими благодаря созреванию), внешняя причина (так, кофе становится сладким вследствие добавления сахара) и внешняя причина следующей степени (оладьи становятся сладкими благодаря сиропу, который в свою очередь делается сладким благодаря добавлению сахара).

Разграничение прямых и косвенных (опосредованных) причин контактного и дистанционного характера каузации, а также внешней и внутренней каузации имеют принципиальное значение для синтаксиса и, по-видимому, являются универсальными; см. также [Dixon 2000].

Таким образом, каузальные значения, которые могут быть представлены в предложении, неоднородны и могут быть классифицированы с учетом разных параметров; семантические различия определяют различия морфологических способов выражения и синтаксических свойств⁵.

2. Неоднородность каузальных значений наглядно проявляется в возможностях выбора подлежащего. Как известно, в конструкциях действительного залога подлежащим становится один из элементов, связанных с каузальным значением: агенс, средство (instrument), инициатор, собственно причина (cause) источник, сила (force). Сами эти падежные значения дифференцируются, во-первых, по положению в каузальной цепи (для средства указывается промежуточное положение между агентом и объектом), во-вторых, с учетом семантики актанта (одушевленность-неодушевленность, конкретность-абстрактность) и некоторых характеристик типа намерения и активности для агента (активность также для силы). Подлежащие иной ролевой семантики требуют либо изменения залога, как при подлежащем пациенте/объекте (*Стекло разбилось*), либо замены глагольной лексемы, т.е. использования лексических конверсивов, если в качестве подлежащего выступает адресат (бенефициант и т.д.) и некоторые другие (*Ваня по-*

⁵ В приведенном кратком обзоре классификаций каузальных значений объединено то, что авторы формулируют в разных терминах и с разными акцентами и не всегда применительно к совпадающему материалу и определяют как каузальность, типы каузации, виды причин и т.д. Круг авторов мог бы быть расширен, но мы ограничились отдельными узловыми моментами, касающимися синтаксических явлений. Мы не касаемся других классификаций (возможно, более глубоких и основательных), связанных с лексической семантикой, например, слова *причина* и других [НОСС 2003], с семантикой причинных предлогов [Степанов 1995; Иорданская, Мельчук 2007], типами придаточных предложений [РГ 1980: 526]; в последней работе каузальность трактуется предельно широко, как любая зависимость.

слал Маше посылку – Маша получила посылку от Вани). Таким образом, характерно построение предложения в соответствии с направлением каузальных связей: исходным пунктом (*starting point*) для построения высказывания и, следовательно, для представления всей ситуации является каузальный элемент, который на синтаксическом уровне оформляется как подлежащее. Этот принцип вполне объясним, т.к. очевиден его иконический характер: событие описывается от исходной точки в направлении развертывания, которое [Croft 1991] описывает как направление передачи силового импульса, *transmission of force*; все роли, соответственно, делятся на антецедентные, к которым относятся роли с каузальным значением, и субсеквентные – роли реципиента, результата и др. Насколько об этом можно судить, большинство глаголов в языках мира представляют ситуации именно в этом ракурсе⁶; глаголы, представляющие ситуацию в обратном порядке (Крофт называет их *reverse order verbs*) типа *suffer* или *undergo* (подвергаться) относительно малочисленны; ср. в этом плане количественное исследование глаголов передачи [Willems 1979], где приводится соотношение 122 против 8. Надо заметить, что каузальная последовательность соответствует типичной временной последовательности, ср. расхожее объяснение широкой распространённости порядка слов SVO его иконическим характером. Отклонения от воспроизведения каузальной последовательности часто связываются со смещением фокуса внимания или иной, менее распространённой коммуникативной структурой.

Связь подлежащего с каузальностью, однако не с любыми из каузальных значений, подтверждается также отрицательным языковым материалом. Так, для ситуации, представленной в предложении *Хозяйка нагрела воду*, может быть построена цепочка типа *хозяйка → дрова → печь → огонь → кастрюля → вода*.

Ситуация может также быть описана как *огонь нагрел воду*, [?]*печь нагрела воду*, но невозможно **дрова нагрели воду*, **кастрюля нагрела воду*, если не иметь в виду, в последнем случае, электрическую кастрюлю или такую ситуацию, когда вода нагревается от горячей кастрюли. Точно так же возможно *прачка/стиральная машина/порошок хорошо стирает* (*отстирал белье*), но едва ли возможно ^{??}*вода отстирала белье*.

Нельзя утверждать, что каузальное значение в подобных случаях полностью отсутствует: вполне возможно *в этой воде белье хорошо отстиривается*, *в этой кастрюле вода быстро нагревается*, *из-за (сырых) дров вода медленно нагревается*.

Из этого можно заключить, что не все каузальные значения равнозначны. В приведенных примерах можно говорить о слабом каузальном значении: соответствующие participants являются лишь опосредующими звенями в каузальной цепи, не достаточно существенными для достижения результата – по крайней мере, в сравнении с другими, представленными в данной ситуации. То же можно сформулировать в терминах «вклада» (*relative contribution*), как это иногда объясняется в работах, посвященных агентивности или подлежащим [Van Oosten 1977; Lakoff 1977] и др., и обусловленности свойствами предмета [Григорьян 1986]: действительно, в приведенных примерах свойства мыла или порошка могут быть определяющими для стирки независимо от ткани, стирающего и т.д., в то время как таз и вода не являются такими определяющими факторами, действующими самостоятельно и достаточными для достижения результата. Иначе говоря, для возможности выражения каузального элемента формой подлежащего зависимость должна быть достаточно сильной. В этом плане представляется уместным предлагаемое в работе [Ляпон 1988: 110] разграничение предопределяющего (порождающего) фактора и побочного (сопутствующего) фактора. Хотя ограничения такого рода, по-видимому, универсальны, они действуют в разной степени жестко в различных языках. Некоторые лингвисты (например, Ч. Филлмор), ссылаясь на Куню и Роденбурга,

⁶ Такое положение типично, но, возможно, не универсально: ср. сведения по салишским языкам в [Thompson 1985].

указывают, что японский и немецкий языки не допускают в качестве подлежащих «enabling or occasioning causes», в отличие от английского языка (приводятся примеры типа *50 dollars will buy you a second-hand car* или *The accident killed the woman*). Кроме того, для выбора подлежащего существенно различие прямых (непосредственных) и косвенных и опосредованных причин. Иначе говоря, причина, оформленная как подлежащее, не может быть слишком отдаленной, т.е. отстоящей в пространстве и во времени от результирующей ситуации, или действовать через длинную последовательность опосредующих факторов. Это, по всей видимости, также универсальная тенденция; см. [Dixon 2000].

3. В языках достаточно явно выражено различие внешних и внутренних причин, внешней и внутренней каузации. Внутренняя каузация часто рассматривается как один из отличительных признаков агентивности [Зализняк 1992; Кустова 1992], но охватывает более широкий круг явлений.

В [Levin, Rappaport 1995] различаются externally caused и internally caused eventualities (с. 91), т.е. события, каузированные извне и изнутри. Так, глаголы типа *blush* и *tremble* обозначают внутренне каузированные события; некоторые пары глаголов различаются как обозначения внутренней/внешней каузации, например, *shudder* vs. *shake*. Отличие проявляется, в частности, в том, что *shudder* может относиться только к людям, животным и, расширительно, к земле и механизмам – как это формулируют авторы, к тому, что имеет «самоуправляемое тело» («self-controlled body»), – тогда как, например, к листьям, мебели и чашкам применимо только *shake* (с. 100). Закономерно, что только *shake* может употребляться в каузативном значении, т.к. глаголы, обозначающие внутренне каузированные состояния и процессы, несовместимы, по мнению авторов, с указанием внешней причины (с. 101). Однако наше исследование показывает, что соотношение внешней и внутренней каузации не столь однозначны и очень часто один и тот же глагол может использоваться для обозначения как действия, вызванного внутренним импульсом, так и результата воздействия внешних сил, ср. примеры /2/ и /3/:

/2/ ...и Поплавский полетел вниз по лестнице, держа в руке паспорт. Долетев до поворота, он выбил на следующей площадке ногой стекло в окне и сел на ступеньку (М. Булгаков).

В нейтральном контексте *он сел на ступеньку, выбил окно* воспринималось бы как описание действия (в первом случае намеренного), а не результат внешнего воздействия, как в данном примере; ту же двойственность проявляет и глагол *лететь*.

/3/ В жаркий летний полдень возвращался я однажды с охоты на телеге... Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами (Тургенев).

Ср. *собаки подпрыгивали* (в нейтральном контексте).

/4/ Алферовская бородка блестела, вздувался кадык, редкие волосы на темени шевелились от ночного ветерка (Набоков).

Ср. *волосы шевелились* (без указания причины и вне контекста).

Последний вариант скорее воспринимался бы как «самостоятельно», «по внутреннему импульсу» (например, от ужаса), т.е., в отличие от примера /4/, движение волос представлялось бы не как результат внешнего механического воздействия, а как вызванное внутренними процессами и реакциями.

Разумеется, для многих глаголов какое-то из прочтений является основным, предпочтительным и, скорее всего, первичным, однако существенно, что оно может быть переосмыслено.

Противопоставление внешней/внутренней каузации применимо и к неодушевленным участникам; внутренняя каузация подразумевает в этом случае изменение, вызванное внутренними процессами, внутренним развитием или собственным движением.

/5/ *Мне один солдат в Сучане сказывал: ихнее судно, когда они шли, на рыбину и а - ехало и днище себе проломило* (Чехов).

Хотя движение может быть вызвано внешним толчком или даже быть управляемым, как движение судна в данном примере, оно изображено как автономный процесс, протекающий автоматически. Ср. также описание природных процессов в английских примерах:

/6/ *The avalanche slid slowly and covered up his head* (Steinbeck).

Предложения о растениях, где событие связано с их ростом, особенно наглядно демонстрируют значение «использования собственной внутренней энергии»:

/7/ *A white Banksia rose, which for years had been a stubby little bush, came suddenly to life and climbed up the front of the house. It covered the porch, hung festoons over the closed windows and dropped long steamers from the eaves* (Steinbeck).

Интересна возможность альтернативного описания одних и тех же денотативных ситуаций как вызванных внешним воздействием или как самопроизвольных, использующих внутреннюю энергию соответствующего участника.

/8/ *Постепенно прибывая от истоков, речки то и дело взламывали свой лед в устьях и кидали его в Лену, загромождая свободное течение и затрудняя ее собственную борьбу с морозом* (Короленко).

Ср. *лед загромождал свободное течение*, где та же ситуация представлена не как результат действия (движения) реки или иной внешней силы, а как результат собственного, как бы самостоятельного движения льда. Ср. также следующие примеры:

/9/ *Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил за воротник* (Л. Толстой).

/9а/ *метель засыпала полозья снегом;*

/9б/ *снегом засыпало полозья.*

Примечательно, что все три предложения могут описывать идентичные денотативные ситуации, причем в примерах /а/, /б/ снег рассматривается подобно средству, а в качестве источника энергии (каузатора, квазиагентивного элемента) выступает стихия, тогда как в примере /9/ снег воспринимается как самостоятельная действующая сила или стихия. Фактически это разница в интерпретации. Ср. также английский пример:

/10/ *An American car went by with reckless speed and covered us with dust* (Greene).

Ср. ...*and dust covered us* (в динамическом прочтении).

Характерно, что при отсутствии указания на внешнюю причину ситуация обычно воспринимается как самопроизвольная (self-caused): *река затопила поля, яблоко упало и покатилось, огонь погас, здание рухнуло* и т.д. [Cantrall 1973]. Хотя очевидно, что в реальности названные ситуации могут быть вызваны внешними силами, в языке они описываются как совершенно самостоятельные, т.е. объекты представлены как саморазвивающиеся или самодвижущиеся. Это демонстрирует и при-

мер /9/, и контрпримеры /8/ и /10/. Эта же особенность нередко отмечается (в других терминах) для русских возвратных глаголов, однако можно видеть, что данная закономерность существенно шире. Неупоминание внешней причины в типичном случае имплицирует каузальный и даже квазиагентивный элемент в значении неодушевленного подлежащего⁷, что также свидетельствует о закономерной связи подлежащего и каузальности. Каузированные движения и изменения состояний могут быть уподоблены самопроизвольным, в том числе вызванным внутренним импульсом. Представление об автономности, самопроизвольности процесса сохраняется и в тех случаях, когда предмет, называемый подлежащим, не воспринимается как использующий собственную внутреннюю энергию и действие не воспринимается как вызванное внутренним импульсом; для таких случаев характерно значение «не результат воздействия извне». Таким образом, ситуации могут быть осмыслены как возникающие или существующие отдельно от породивших их причин. Ср.

/11/ *Слышино, как небольшие льдины стучат о баржу* (Чехов).

Совершенно ясно, что в реальности движение и стук льдин является следствием внешних воздействий – течения и ветра, однако ситуация представлена как отдельная и самостоятельная. Аналогичный пример:

/12/ *В покосившемся доме продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня* (Л. Андреев).

Хотя любая ситуация, по крайней мере динамическая, вплетена в систему причинно-следственных связей, она может изображаться в отвлечении от них, как самодостаточная. Результат действий людей, животных, других внешних сил может восприниматься как самостоятельная, отдельная и независимая от них ситуация. Показательны следующие примеры:

/13/ *Зиланов замолчал, перевернул лист, его перо подрожало и тронулось* (Набоков).

Употребляемые в данном примере глаголы представляют движение как вызванное внутренним импульсом и предполагают восприятие пера как квазиагентивного элемента. Характерно, что данные глаголы не имеют соответствующего каузатива и диатезическое преобразование с выражением агента невозможно. Таковы же некоторые глаголы в последующих примерах: *вскочить, потухнуть, выехать, skid*.

/14/ *Сальное одеяло зашевелилось, из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее* (Чехов).

/15/ *Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтением и шорохом за дверью; ручка, едва блестевшая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять* (Набоков).

/16/ *В тихих коридорах потухли матовые белые лампочки, и вместо них согласно распорядку зажглись слабые голубые ночники* (М. Булгаков).

Ср. возможное для описания этой же ситуации *были потушены... были зажжены...*, где то же самое изменение было бы показано как результат действий людей.

⁷ Ср. аналогичное наблюдение на более ограниченном материале и в других терминах [Гавrilova 1975: 147].

- /17/ Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затаившего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись (М. Булгаков).
- /18/ The newspaper he was sitting on rustled (R. Chandler).
- /19/ We pushed in the plate hastily, and it skidded across the floor into the corner, the two leopards chasing madly after it (G. Durrell).

Таким образом, возникающая ситуация изображается в отвлечении от внешних сил и воздействий, так, как будто она не вызвана ими, а возникла самостоятельно, т.е. как будто источником энергии является сам неодушевленный участник, названный подлежащим. Каузированные ситуации часто уподобляются самостоятельным событиям, вызванным внутренними импульсами, а движение неодушевленного предмета может быть уподоблено движению живого существа или природной стихии.

3.1. Подлежащее в подобных примерах может сочетаться с упоминанием в том же предложении или в ближайшем контексте других элементов, также осмысливших как каузальные.

- /20/ – Пожалуйте ванну брать, – пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованная уборная (М. Булгаков).

Ср. женщина раздвинула стену.

- /21/ The walls are hung from ceiling to floor with painted curtains which stir at times in the draughts (G.B. Shaw).

?? draughts stir the curtains

- /22/ Towards the evening a violent storm of rain came on, and the wind was so high that all the windows and doors in the old house shook and rattled (O. Wilde).

Ср. ?? The wind shook the windows and doors

- /23/ ... and the pomegranates split and cracked with heat, and showed their bleeding red hearts... (O. Wilde).

?? heat split and cracked the pomegranates

- /24/ Dans la rue Garancière, une foule sans cesse accrue se pressait, regardant le malheureux en poussant la clameur d'effroi quand il trébuchait sur les ardoises qui se brisaient sous ses pieds (A. France).

Сопоставляемые структуры, во-первых, заметно отличаются по коммуникативной значимости соответствующих элементов: причина, оформленная как подлежащее, во всех случаях коммуникативно выделена, каузальное значение акцентируется, тогда как в примерах /20/–/24/ она представляется периферийной для содержания и внимание фокусируется на подвижном или изменяющем элементе, т.е. на самом изменении или его результате, а не на его внешней причине, которая иногда подается как условие или сопутствующее обстоятельство; Е.В. Падучева предлагает для таких случаев термин «фоновый каузатор» [Падучева 2001: 62]⁸. Таким образом, один из каузальных элементов выбирается как исходная точка для показа всей ситуации; выбор главной причины и оформление ее как подлежащего зависит от приписываемой ей значимости. Во-вторых, не менее важно, что в ряде примеров события, даже при упоминании внешней причины,

⁸ В цитируемой работе проблема рассматривается в контексте значения глагола – каузативного в противоположность декаузативному – и отмечается различие асертивного и фонового компонентов значения (с. 59).

могут быть уподоблены самопроизвольным, как в примерах /20/ и /23/, которые допускают дополнительную интерпретацию /20/ – автоматизм, /23/ – результат внутреннего развития. Разумеется, в таких структурах подлежащее в большей или меньшей степени теряет квазиагентивное значение.

Наконец, как уже упоминалось, во многих случаях результат внешнего воздействия уподобляется результату внутреннего развития или собственного движения, хотя в реальности движение может быть следствием внешнего толчка, а изменение внутреннего состояния может быть стимулировано извне, как в примере /23/.

3.2. Такое объяснение косвенно подтверждается выражениями типа *сам*, *сам собой*, которые не всегда предполагают внутренний импульс и также совместимы с указанием внешней причины.

/25/ «*Кто же отопрет мне дверь?*» – сказал я, ударив в нее ногой.

Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью (Лермонтов).

/26/ *С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания* (Салтыков-Щедрин).

/27/ *Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и пела она на октаву выше курьера* (М. Булгаков).
(В последнем примере речь идет о действии магии.)

/28/ *Но коварный Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой* (М. Булгаков).

/29/ *Но пришли гости-барышни, и спор прекратился сам собой* (Чехов).

/30/ «*How can I stop it [the boat]? ...If you leave off rowing, it'll stop of itself*» (Cartoll).

Таким образом, указание на внешнюю причину совместимо с представлением о самопроизвольности. Смысл указания на самостоятельность в том, что «дверь никто не открыл» (пример /25/), что никто специально не тушил пожар (пример /26/, где имеет место дистанционная каузация автономного процесса), что лодку не надо останавливать /30/, т.е. что-то произошло (или произойдет) автоматически, без участия агента или даже помимо его воли /27/. Особенno показателен в этом плане французский пример:

/31/ *Quoi! c'était un homme qui avait crée cela! Il n'y avait pas songé. Il lui semblait presque que cela s'était fait tout seul, que c'était l'œuvre de la nature...* (Rolland).

Видимо, самопроизвольность не предполагает обязательного отсутствия внешних причин. Возможно, эти причины во многих случаях не осознаются как таковые или вообще остаются незамеченными в силу обычности, естественности подобного развития ситуации, которое, соответственно, не воспринимается как результат вмешательства каких-то дополнительных факторов⁹. Иначе говоря, то, что соответствует естественному положению дел или ходу событий, не воспринимается как вызванное какой-либо причиной; ср. аналогичное наблюдение [Levin, Rappaport 1995: 97]. Значение «естественности», т.е. ‘в силу естественного хода событий’, ‘без усилий со стороны агента’ иногда указывается как релевант-

⁹ Подобный пример приводит З. Вендлер [Вендлер 1986]: никому не придет в голову считать причиной пожара наличие кислорода в атмосфере, хотя без него пожар не мог бы возникнуть.

ное при описании различных типов каузативов [Dixon 2000: 66, 71–72]; ср. толкование *сам собой* как «с минимальной затратой усилий» [Падучева 2001].

Эти примеры можно также интерпретировать в терминах «вклада» (relative contribution) различных участников в создание ситуации, т.е. как отражение различной значимости («веса») отдельных факторов каузации. Не менее важно, что они свидетельствуют о неоднородности каузальных отношений.

4. Таким образом, в одной ситуации могут быть представлены причины разного порядка и даже независимые друг от друга; очевидно, что упомянутая выше цепочечная схема, в которой предшествующий элемент воздействует на последующий, не является единственной возможной. В принципе любая ситуация является результатом сочетания разных факторов, в том числе не связанных между собой и действующих независимо друг от друга. Языковая репрезентация вычленяет и оформляет лишь некоторые из них как каузальные.

Иначе говоря, в представлении сходных ситуаций могут быть выделены одни или другие источники каузации и ее направления, т.е. в некоторых случаях возможны альтернативы в «профилировании» (как бы выборе нити) каузальных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова 1974 – Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. М., 1974.
- Арутюнова 1988 – Н.Д. Арутюнова. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Беличенко 2002 – Е.А. Беличенко. Когнитивная типология: один из путей поиска универсальной модели описания // Проблемы когнитивной семантики. СПб., 2002.
- Вендлер 1986 – З. Вендлер. Причинные отношения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. М., 1986.
- Гавrilova 1975 – В.И. Гаврилова. Особенности семантики, синтаксиса и морфологии глаголов присоединения // Семиотика и информатика. Вып. 6. М., 1975.
- Григорьян 1986 – Е.Л. Григорьян. Семантические и прагматические аспекты диатезы: Автoreф. ... дис. канд. филол. наук. М., 1986.
- Зализняк 1992 – Анна А. Зализняк. Контролируемость ситуации в языке и в жизни // Логический анализ языка. Модели действий. М., 1992.
- Иорданская, Мельчук 2007 – Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук. Смысл и сочтаемость в словаре. М., 2007.
- Кустова 1992 – Г.И. Кустова. Некоторые проблемы анализа действий в терминах контроля // Логический анализ языка. Модели действий. М., 1992.
- Ляпон 1988 – М.В. Ляпон. Прагматика каузальности // Русистика сегодня. Язык: система и функционирование. М., 1988.
- НОСС 2003 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 3. М., 2003.
- Падучева 2001 – Е.В. Падучева. Каузативный глагол и декаузатив // Русск. яз. в научн. освещении. 2001. № 1.
- РГ 1980 – Русская грамматика. Т. 2. М., 1980.
- Степанов 1995 – Ю.С. Степанов. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- ТФГ 1996 – Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.
- Хазагеров 1998 – Т.Г. Хазагеров. Каузативность: Статус и эволюция средств выражения в русском языке // Филологич. вестник Ростовского гос. ун-та. 1998. № 1.
- Cantrall 1974 – W.R. Cantrall. Viewpoint, reflexives and the nature of noun phrases. The Hague; Paris, 1974.
- Croft 1991 – W. Croft. Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organization of information. Chicago; London, 1991.
- DeLancey 1984 – S. DeLancey. Notes on agentivity and causation // Studies in language. 1984. V. 8. № 2.
- Dixon 2000 – R.M.W. Dixon. A typology of causative form, syntax and meaning // Changing valency: Case studies in transitivity. Cambridge, 2000.

- Lakoff 1977 – *G. Lakoff*. Linguistic gestalts // Chicago linguistic society. Papers from regional meeting 13. Chicago, 1977.
- Levin, Rappaport 1995 – *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. Unaccusativity: At the syntax-lexical semantics interface. Cambridge (Mass.); London, 1995.
- Nilsen 1973 – *D.L.F. Nilsen*. The instrumental case in English. The Hague; Paris, 1973.
- Schulze 1999 – *W. Schulze*. The architecture of a «Grammar of scenes and scenarios». Munich, 1999.
- Talmy 1976 – *L. Talmy*. Semantic causative types // Syntax and semantics. V. 4. 1976.
- Talmy 1985 – *L. Talmy*. Force dynamics in language and thought // Chicago linguistic society. Papers from regional meeting 21. Chicago, 1985.
- Talmy 1996 – *L. Talmy*. The windowing of attention in language // Grammatical constructions, their form and meaning. Oxford, 1996.
- Thompson 1985 – *Lawrence C. Thompson*. Control in Salish grammar // Relational typology. Berlin; New York; Amsterdam, 1985.
- Van Oosten 1977 – *J. Van Oosten*. Subjects and agenthood in English // Chicago linguistic society. Papers from regional meeting 13. Chicago, 1977.
- Wierzbicka 1980 – *A Wierzbicka*. The case for surface case. Ann Arbor, 1980.
- Willems 1978 – *D. Willems*. La recherche d'une grammaire de cas // Valence, semantic case and grammatical relations. V. 1. Amsterdam, 1978.
- Whorf 1959 – *B.L. Whorf*. Language, mind and reality // *B.L. Whorf*. Language, thought and reality. New York; London, 1959.

© 2009 г. М.А. ШЕЛЯКИН

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И УПОТРЕБЛЕНИИ БЕЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ РУССКОГО ГЛАГОЛА

В статье по-новому рассматривается вопрос о происхождении и функциональной сущности безличной формы русского глагола, в связи с чем оспаривается традиционное мнение о безличном значении данной формы во всех случаях ее употребления. Рассматриваются два типа ее функционирования в современном русском языке: семантическое, когда она указывает на неизвестность субъекта предложения, и формально-сintаксическое, когда она вызывается формальными особенностями согласования соответствующих предикатов с субъектами предложения. Второй тип употребления преобладает над первым.

1

Несмотря на длительное и активное изучение безличной формы русского глагола, вопрос о ее происхождении до сих пор остается открытым, как и вопрос о ее функциональной сущности, так как не всякое употребление безличной формы можно безоговорочно считать семантически безличным. Например, почему предложения типа *Его убило молнией, током* являются безличными, если указан производитель действия? Как справедливо замечает В.А. Кириллова, «На самом деле – если взять предложения вроде *Солнцем выжгло траву, Его убило электричеством, Бурей вывернуло дерево* и т.д., то спрашивается, какая же другая (да к тому же непознанная) сила участвует в действии и производит его, кроме солнца, электричества, бури и т. д.» [Кириллова 1970: 94]; почему предложения типа *Сказано – сделано* считаются безличными, если в них употребляются сказуемые, выраженные глаголами со значением действий «людских» производителей?

В настоящей статье автор высказывает свои соображения по поводу безличных форм русских глаголов и предлагает нетрадиционный подход к объяснению их происхождения и употребления, не претендую, конечно, на истину в последней инстанции. На наш взгляд, вся проблема безличных словоформ заключается в том, что они не все и не всегда интерпретируются с точки зрения общей теории безличности, а выделяются только по их грамматической форме.

Под безличной формой глагола в русском языке принято понимать форму 3-го лица единственного числа в настоящем/будущем времени и форму среднего рода единственного числа в прошедшем времени, а также сослагательного наклонения: типа *морозит/будет морозить, морозило, морозило бы*. Ее грамматическое своеобразие заключается в том, что она является всегда неизменяемой (постоянной), не имея форм множественного числа, мужского/женского рода в прошедшем времени. Она выпадает из парадигмы личных форм глагола и представляет собой омонимичную форму 3-го лица единственного числа, которая:

а) либо синтаксически предполагает выражение определенного субъекта действия (*он, она, дом, солнце*), не участвующего в коммуникации, в отличие от субъектов 1-го и 2-го лица, и обладает формой множественного числа, а также всеми родовыми формами в прошедшем времени;

б) либо синтаксически не предполагает выражения субъекта предложения. Но это не означает, что предикат в этом случае вообще лишен своего субъекта, так как языковое сознание не допускает действий или состояний без носителей. Поэтому более точным

представляется следующее определение безличных конструкций, предложенное В.В. Виноградовым: «Итак, безличные конструкции, в основе которых лежит употребление безличной формы глагола, служат средством преднамеренного изображения действия с неизвестным или неопределенным субъектом» [Виноградов 1947: 465]. Неизвестность или неопределенность субъекта не отрицает его наличия, а выражает его относительную неосознанность. Так что безличные глаголы имплицитно содержат субъектный компонент, обозначаемый 3-м лицом единственного числа и средним родом в прошедшем времени, но синтаксически не представленный говорящим как субъект предложения.

Поскольку безличная форма имеет формы лица, единственного числа и среднего рода, то можно считать, что она по происхождению связана с личной формой 3-го лица, а не наоборот. Но каким образом? Естественно напрашивается предположение о том, что эта связь осуществлялась через эллипсис субъекта при личных формах предиката. Такого мнения придерживался А.А. Потебня, полагавший, что безличные предложения развились из личных, состоящих из обозначения мифических субъектов¹. По этому поводу он писал: «Не ко всякому бессубъектному выражению... можно подобрать соответственное субъектное; тем не менее более чем вероятно, что последние предполагаются первыми, что по направлению от древности число бессубъектных увеличивается за счет субъектных. Устранение мифического субъекта или, по крайней мере, его определенности может происходить:

- а) Частью потому, что при веровании в силу слова известных враждебных человеку демонических существ не следует называть...
- б) Частью потому, что действующее лицо при таинственных действиях, как внутренних (болезненные ощущения), так и внешних (*там водят...*)... представляется до исследования неизвестным...
- в) Самая эта неизвестность есть нередко следствие критической мысли, заподозривающей или отрицающей существование мифической субстанции, превращения ее действия в явление» [Потебня 1968: 322–323].

Однако умалчивание имени мифического субъекта или неизвестность действующего источника объясняет невыраженность субъекта предложения, но не саму безличную форму предиката (почему она именно такая?). Под безличным значением обычно понимают отсутствие выражения субъекта предложения в форме именительного падежа, что свойственно безличным конструкциям в значениях «метеорологических» действий (*дождит, вьюжит, светает* и т. д.). Поэтому эту бессубъектность стали распространять и на предложения, в которых субъект выражается синтаксически независимыми косвенными падежами в значении состояния (*Мне грустно, жаль* и др.). К подобным предложениям не применим термин «безличные» или бессубъектные предложения, так как он вызывает недоумение: почему предложения типа *Мне грустно* относятся к безличным, если в них идет речь об определенных лицах состояния.

Объяснение безличной формы глагола пытались связать с функциональной особенностью среднего рода. Так, Ф.И. Буслаев, говоря о соответствии безличного глагола среднему роду, утверждал, что «в безличном глаголе предполагается какое-то отвлеченное, неведомое, неясно понимаемое подлежащее: а отвлеченное и неясно представляемое язык отмечает большую частью средним родом» [Буслаев 1869: 157]. С этим суждением можно было бы согласиться, если бы Ф.И. Буслаев разъяснил его. Действительно, средний род, как правило, оформляет существительные с непредметными зна-

¹ За исходную точку при объяснении бессубъектных выражений личных состояний и явлений внешней природы А.А. Потебня принимал «то воззрение, по которому в каждом существе и в каждом обособленном явлении заключена двойственность и множество субстанций, действиями коих объясняются явления», в том числе и мифическая субстанция, мифическое существо, которое «производит известное действие в природе или человеке, овладевает человеком, берет его, схватывает» [Потебня 1968: 319, 320].

чениями (ср. *движение, понятие, суждение, количество, побережье* и под.), но как понять соответствие отвлеченного и неясно представляемого среднему роду, а также форме 3-го лица настоящего/будущего времени?

Связь безличного значения со средним родом проводил и В.В. Виноградов. Обращая внимание на процесс семантического обезличивания и опустошения форм среднего рода, он писал, что «из содержательной категории средний род в отдельных типах слов и форм низводится на роль упаковочного средства. Это выражается 1) в том, что безличные формы глаголов в прошедшем времени совпадают с формой среднего рода; 2) в том, что безличные формы категории состояния... совпадают с соответствующими формами среднего рода; 3) в том, что при безличных словах могут стоять местоименные частицы среднего рода *это, оно (что)*; 4) в том, что один из наиболее продуктивных разрядов наречий в русском языке оканчивается на *-о, -е*, на морфемы, обозначающие в классах имен существительных и прилагательных форму среднего рода...» [Виноградов 1947: 85]. Приведенные В.В. Виноградовым совпадения только констатируют соотносительные связи безличной формы, но не объясняют ее происхождения, так как остается неясным, почему средний род выполняет функцию упаковки и как он определил форму 3-го лица единственного числа настоящего/будущего времени.

Точку зрения А.А. Потебни на происхождение безличной формы глагола не разделял А.А. Шахматов: «...безличная конструкция может расширяться за счет личной. Но отсюда до заключения, делаемого некоторыми лингвистами и философами, заключения о непервоначальности безличной конструкции, еще очень далеко. Возможно, конечно, теоретически допустить, что некоторые безличные предложения развились из недостаточных личных предложений, например, что безличные предложения, обозначающие явления природы, развились из личных предложений с подлежащими *бог, богиня, божество* и т.п.; но доказать такое положение для индоевропейских языков невозможно» [Шахматов 1941: 88]. В главе «Синтаксис частей речи» цитируемой работы А.А. Шахматов подчеркивает, что «происхождение их (безличных форм. – М.Ш.) путем эллипсиса не представляется доказанным, ...эллипсис не мог быть началом рассматриваемой грамматической категории. Главным доказательством в пользу эллиптического происхождения безличных форм 3-го лица является наличие в них суффикса 3-го лица единственного числа, этот морфологический элемент как будто свидетельствует о происхождении безличных форм 3-го лица единственного числа из личной формы единственного. Но такому предположению можно противопоставить другое объяснение, а именно вероятным представляется, что первоначально в индоевропейском праязыке безличные формы глагола являлись без морфологического элемента и представляли необсложненную суффиксом глагольную основу; но так же выражалось некогда и 3-е лицо личных глаголов, о чем можно заключить, во-первых, из таких славянских форм 3-го лица, как *несе, бере...*, во-вторых, из аналогии других языков, например, финских. Но с течением времени, и притом вероятно под влиянием наличности суффиксов в 1 и 2-м лице, личный суффикс получила и форма 3-го лица единств.: *bhere* получило при себе *bhereti*. Это *bhereti* частично или окончательно вытеснило *bhere*, что повело к замене древней формы безличного глагола» [Там же: 467]. Развивая мысль А.А. Шахматова, можно сделать заключение о том, что личный суффикс 3-го лица безличной формы семантически был пустым, так как она первоначально его не имела. Это объясняло бы отсутствие при безличных сказуемых подлежащих, но не природу личной и безличной формы (в частности, ее среднего рода в прошедшем времени).

Хотя предложенный А.А. Шахматовым подход к объяснению происхождения безличной формы оставляет неясным природу и функцию личной и безличной формы 3-го лица, он может быть исходным для установления происхождения личных и безличных форм глагола. В этом отношении заслуживает внимания точка зрения С.П. Обнорского на происхождение форм 3-го лица глаголов, полагавшего, что формы глаголов *ть* и *тъ* являются реликтами старых указательных местоимений, выступающих в роли подлежащих при глаголах, не имевших исконного окончания. При этом *тъ* по происхождению является формой именительного падежа единственного числа мужского ро-

да, *та* – формой именительного падежа единственного числа женского рода и *то* – формой именительного падежа среднего рода. Все эти формы подверглись редукции финальных гласных. Присоединяясь к глагольным формам, указательные местоимения и превратились в соответствующие окончания (см. [Обнорский 1953: 135]). Схематически это можно представить следующим образом:

Глагольная основа + *тъ* (муж. род) с редукцией окончания: ср. *он идет (<тъ)* – *он шел*
+ *та* (жен. род) с редукцией окончания: ср. *она идет (<та)* – *она шла*
+ *то* (ср. род) с редукцией окончания: *солнце заходит (<то)* – *солнце зашло*

В связи с этим С.П. Обнорский приводит «загадочные факты диалектного употребления форм 3-го лица единственного числа на *-то* и *-та*», на наш взгляд, свидетельствующих о первичных родовых формах 3-го лица единственного числа в настоящем времени: *идето, берето, носито; идета, ходита, учита, собираета* и др. [Там же: 136]. О том, что элемент *-т* в безличной форме восходит к указательному местоимению среднего рода, исторически подтверждается и параллельными местоимениями среднего рода в других языках, также участвовавшими в выражении безличных глаголов: нем. *es tagt* (*светает*), *es friert* (*морозит*), франц. *il pleut* (*дождит*), *il neige* (*идет снег*), англ. *it rained* (*дождит*), *it is eight o'clock* (*восемь часов*). А.А. Шахматов отмечает, что «в отдельных славянских языках имел место процесс, аналогичный немецкому и романскому, приведший к появлению местоименного подлежащего при глагольной форме. Как верно указано Потебней, нижнелужицкое *wopo jo wosym woibito* явилось под влиянием *es hat acht Uhr geschlagen*. Но в украинском *воно* в таких случаях явилось независимо от немецкого: *воно так и е; чи воно, діду, е там (на небі) люде?* Частое *оно* у Гоголя Потебня объясняет украинским влиянием. Не отрицая возможности такого влияния, отмечу, что такое *оно* встречается и в русском областном языке. Ср. *Идти закусить, так оно лучше будет; Больше ста человек оно будет*» [Там же: 90]. А.А. Шахматов далее приводит многочисленные примеры из русского литературного языка: *Вот оно что значит человек. А на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж* и др.

Отсюда становится понятной грамматическая связь формы 3-го лица единственного числа в настоящем времени с родовыми формами в прошедшем времени. Можно предположить, что элемент *-то* среднего рода первоначально обозначал неопределенность неодушевленного предмета (*что-то, нечто*) и затем подвергся семантическому опустощению в связи с редукцией родового окончания, что привело, с одной стороны, его к значению абсолютной неопределенности, т.е. неизвестности предмета, и, с другой стороны, к нейтрализации его родовых, числовых и личных функций. Таким образом, средний род с абсолютно неопределенным предметным значением и нейтрализованные субъектные формы стали средством выражения неизвестности субъекта действия (в этом отношении мнение А.А. Потебни и В.В. Виноградова о функции безличной формы представляется убедительным), поскольку неизвестность – это абсолютная степень неопределенности.

Поэтому можно полагать, что первичным и инвариантным значением безличной формы глагола было указание на неизвестность субъекта предложения (устраненное *что-то, нечто*).

Примечание. Под субъектом предложения в настоящей статье понимается предицируемый компонент предложения, который семантически может быть производителем, носителем, каузатором, объектом (пациентным), экспериенцером, причиной предиката и др. Он необязательно выражается только именительным падежом.

Неизвестность субъекта предложения может быть связана с его стихийным характером, необъяснимостью и непроизвольностью. Такую словоформу можно назвать семантически безличной – абсолютно неопределенно-субъектной или неизвестно-субъектной. Обратим внимание на то, что безличная форма глагола имеет в виду всегда действия неизвестных неличных субъектов и в этом отношении противопоставляется

определенно-личным, неопределенно-личным и обобщенно-личным словоформам глагола. Она употребляется в следующих ситуациях:

1. При неизвестности и поисках производителя воспринимаемых действий: *И представьте вы себе господа: только что я задул свечу, завозилось у меня под кроватью. Думаю: крыса? Нет, не крыса: скребет, возится, чешется... Наконец ушами захлопало* (оказалось, это была собака. – М.Ш.) (И. Тургенев).

2. При непроизвольном проявлении стихийных природных (физических, атмосферных) явлений, субъект которых неизвестен или представляется как неизвестный: *светает, брезжит, вечереет, прояснило, вызвездило, дождит, снежит, моросит, выюжит, затихло, каплет, темнеет, побелело, серело* и др. Полный список русских безличных глаголов *verba meteologologica*, состоящий из 55 лексем, см. в [Бирюлин 1994: 12–13]. С локализацией и без локализации в пространстве и времени:

Парит. Дождит. Моросит. Вьюжит. На дворе моросит. На улице парит. В лесу темнело. Утром похолодало. За окном гудело и выло. Вдали прогремело. Где горело? Осенью в пасмурный день всегда смеркается рано (В. Арсеньев).

В художественной литературе употребление данных предикатов встречается и со словесно выраженным субъектом в имнительном падеже, что свидетельствует о поисках их носителей:

День вечерел. Кругом все смерклось и стихло. Светает день. Темно: луна зашла в туманы, чуть брезжит звезд неверный свет (А. Пушкин). *Все смерклось, отошло и скрылось из глаз* (И. Бунин). *Дождь моросил и под.*

3. При непроизвольных и необъяснимых стихийных силах, вызывающих ущербные психофизические ощущения и состояния частей тела:

У меня заложило ухо, свело ноги, захватило дух, сдавило горло, ломит руки. Вместо *у + винительный падеж* встречается употребление дательного падежа: *Ему оторвало ногу, прищемило палец.* В таких предложениях винительный или дательный падеж выступает в совмещенном значении – объекта неосознанной стихийной силы и носителя состояния, чем отличается от винительного падежа при названном каузирующем субъекте: ср. *Он сдавил горло, сломал руку и под.*

4. При непроизвольном воздействии неизвестной стихийной силы на состояние лица: *Меня знобит (тошнит, рвет, лихорадит, ломает, трясет), его осенило.* Некоторые предложения этого типа имеют обязательные распространяющие члены: *Меня влекло на Волгу. Его тянуло к ней. Меня подмывало сказать ему об этом.* В таких предложениях винительный падеж выступает также в совмещенном значении – объекта неизвестной стихийной силы и носителя состояния, чем отличается от винительного падежа со значением объекта при названном каузирующем субъекте: ср. *Меня ломало – Я сломал руку. Солдата ранило на войне – Пуля ранила солдата.*

5. При непроизвольном ущербном воздействии неизвестной стихийной силы на неодушевленный объект: *Дорогу замело. Тротуар залило. Теплоход слегка покачивало. Машину чуть не перевернуло.* К таким предикатам относятся глаголы: *залить, замести, сжечь, ударить, проломить, унести, размыть, сорвать, продавить* и др.

Видимо, данные предложения явились первичной основой для включения творительного падежа при поисках косвенного субъекта: типа *Дорогу замело снегом. Тротуар залило водой. Корову убило молнией. Крышу сорвало ветром и под.* Р. Мразек считал, что в развитии этих конструкций произошел синтаксический сдвиг в значении творительного падежа «от значения орудия какой-то стихийной силы или ситуации к значению стихийного косвенного субъекта» [Мразек 1964]. Думается, что здесь не просматривалось значение орудия какой-то неизвестной стихийной силы (она нигде не указана, не восстанавливается, не осознается и не предполагается) и творительный падеж заимствован из творительного падежа страдательных конструкций: *Крыша была сорвана ветром. Тротуар залит водой.* В древнерусском языке вместо творительного падежа в этих случаях употреблялся и родительный падеж с предлогом *от*: *От грома и от молнии много людей и коней побило* (см. [Потебня 1968: 330]). Сохранение безличной формы предиката в предложениях с творительным или родительным падежом субъекта

скорее всего объясняется пониманием характера действия стихийного производителя и наличием параллельных личных предложений с именительным падежом в значении фокусированного субъекта: *Вода залила тротуар. Ветер сорвал крышу.*

Примечание. А.А. Потебня приводит многочисленные примеры из древнерусских памятников на употребление безличной формы при именительном падеже мужского и женского рода единственного числа: *Тогда побило морозом рожь и ярь, и съ того года стало на крестьянский род великий гладъ. Да той же зимы... згорѣло трапеза на Лисьи горѣ деревеная, ... въ ночи загорѣлось свѣча в церкви* [Потебня 1968: 346–347]. Такое употребление свидетельствует о том, что безличная форма глагола, видимо, была специальным показателем непроизвольного, стихийного характера субъекта предиката.

Сюда же относятся и предложения со значением восприятия запаха или движения воздушной среды (обозначенных творительным падежом) неизвестных стихийных источников: *В комнате пахло цветами. С моря веет свежестью. Из гаража тянуло бензином. Из окна потянуло холдом. От стены отдает сыростью. От тебя пахнет одеколоном.* Они синонимичны номинативным предложениям *Вода пахла бензином. Цветы хорошо пахли*, в которых именительным падежом обозначены предметные источники запаха.

6. При восприятии субъектом предложения, обозначенным дательным падежом (с переосмыслением адресатного значения), необъяснимого внутреннего состояния «непроизвольной предрасположенности/непредрасположенности» к совершению действия, выражаемого возвратным глаголом: *Мне сегодня не спится, хорошо работает. Мне не хочется. Ему не терпится увидеть ее. Ей незддоровится.* Соответствующие номинативные предложения выражают волевую активность субъекта: *Я не сплю. Сегодня я хорошо работаю. Я не хочу.* Субъект предложения может быть опущен, предполагаться ситуативно или быть обобщенным: *Не спится, няня: здесь так душно!* (А. Пушкин). *Сладко дремлет в кроватке* (А. Блок).

7. При истолковании связи непроизвольной ситуации с влиянием необъяснимой причины: *Ему (не) везет в игре, в любви. И как это тебя угораздило* (А. Чехов). *Надоумило меня сходить к нему. Ведь я тогда деньги-то пропил, ведь от скуки. Накатило, накатило на меня* (Л. Толстой).

Перечисленными выше 7 случаями, на наш взгляд, ограничивается семантически безличное употребление безличной формы предикатов.

2

Во многих русских предложениях употребление безличной формы предикатов вызывается не выражением безличного значения, а другими причинами.

1. В одних случаях ее употребление связано с формальными причинами, когда она выражает предикаты, не имеющие форм лица, числа и рода, в сочетании с подлежащими, обозначенными косвенными падежами, не допускающими согласования по этим формам, т. е. безличная форма вызывается отсутствием грамматического согласования предиката с подлежащим и необходимостью их сочетания, так как она имеет формы времени и наклонения. В связи с тем, что безличная форма грамматически нейтрализована по предметным формам лица, числа и рода, она синтаксически может соотноситься со всеми формами лиц, чисел и родов подлежащих, выражаемых косвенными падежами (о чём см. ниже). Следовательно, безличная форма стала в русском языке средством расширения типов предикатов и типов субъектно-предикатных составов предложений. Таковы следующие предложения:

1) Предложения с предикатами, выраженными отдельными предикативами или их сочетаниями с инфинитивом, и подлежащими в значении определенных носителей состояния, выраженных синтаксически независимыми косвенными падежами: *Мне было весело, холодно. Ей было лень говорить. Ему было пора, будет нельзя, можно было*

идти и под. На улице было, стало холодно. В лесу было сырое и под. Обычно считается, что подобные предложения являются безличными, поскольку выражают состояния, независимые от субъекта-подлежащего [Галкина-Федорук 1958: 280]. Но почему любой предикат должен быть непременно зависимым от субъекта, чтобы предложение было личным?

2) Предложения с подлежащим в форме дательного падежа со значением лица и с инфинитивным предикатом в восклицательных фразеологизированных предложениях в значении «эмоционально выраженного отрицания, недопустимости осуществления действия производителем из-за отсутствия условий его осуществления»: *Где ему (было, будет) равняться с ним! Где же мне с ним (было, будет) тягаться! Куда уж мне (было, будет) спорить с ним! Не равняться же (было, будет) ему с ним! Не тягаться же мне с ним! Не спорить же (было, будет) мне с ним! Не плакать же мужчине от боли! Не ночевать же мне здесь! Зачем тебе (было, будет) ехать туда? (= незачем тебе было, будет ехать туда).*

3) Предложения с подлежащим в форме дательного падежа лица и инфинитивным предикатом в восклицательных фразеологизированных предложениях в значении «подчеркнутого утверждения целесообразности действия как предопределенного для данного производителя с данными объектом или обстоятельствами»: *Кому как не ему (было, будет) туда идти! С кем как не с ним (было, будет) посоветоваться! Куда как не к начальству (было, будет) обращаться! Зачем тебе (было, будет) ехать туда? (= незачем тебе было, будет ехать туда).*

4) Предложения с подлежащим в форме дательного падежа лица и отрицаемым инфинитивным предикатом в значении «объективной или субъективной невозможности осуществления действия обозначенным производителем»: *Тебе не решить (было, будет) эту задачу. Мне не поднять (было, будет) этот камень. Ему не уйти было от погони. Сколько мы ни взглядывались в бинокли, никак не угадать было, что же это такое (Ю. Казакевич). Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники (В. Шукшин). И после защиты, которая наверняка будет успешной, к Красовскому будет не подступиться (В. Каверин). Сына (было, будет) не сравнить с отцом. В темноте (было, будет) не почитать, не пошить. В вагон (было, будет) не влезть. Им не найти (было, будет) у этих людей понимание и помочь. Тебе не сдать (было, будет) экзамен.*

5) Предложения с сочетанием бытийного глагола *быть* с предикатом, выраженным инфинитивом и отнесенным к дательному падежу подлежащего в значении потенциального производителя: *Мне есть, было, будет о чем поговорить. Ему есть куда пойти, где переночевать. Мне было куда пойти. У нас не было кому купить билеты. Мне спорить с ним было не о чем. Дательный падеж совмещает здесь две функции: посессора (= у меня есть) и производителя действия: Мне есть кому написать = Я имею того, кому мне можно (кому я могу) написать.*

6) Предложения с предикатами, обозначаемыми сочетанием модальных глаголов или предикативов с инфинитивами, и подлежащими в форме дательного падежа (с переосмысливанием адресатного значения) в значении производителя действия: *Вам следовало, подобало, надлежит, полагается, остается, надо, нельзя, можно, необходимо было обратиться к врачу. Всем требовалось, предназначалось, предполагалось, полагалось отдохнуть. Ему было можно, нельзя, пора говорить об этом и под. Ср. также без модальных предикативов: В приемной (тогда было, будет) много посетителей: одному подписать справку, другому подать жалобу, третьему – увидеть председателя (из газет). Глаголы следовать, надлежать, полагаться, приходить, прийтись в модальных значениях являются безличными по форме в связи с тем, что употребляются всегда с инфинитивами.*

7) Предложения с модальным глагольным предикатом в форме страдательного залога в значении действий личных производителей, обозначенных дательным падежом (с переосмысливанием адресатного значения), + объектный инфинитив: *Им запрещалось (кем-то), воспрещалось, позволялось, рекомендовалось, предлагалось работать. Такие предложения синонимичны неопределенно-личным предложениям и потому являются*

ются неопределенными, а не безличными: *Им запрещают, воспрещают, позволяют, рекомендуют, предлагают работать.*

8) Предложения с предикатами в значении действий, обусловленных внешними обстоятельствами, + субъектный инфинитив, и субъектом, обозначенным дательным падежом: *Мне удалось, довелось, посчастливилось, пришло познакомиться с ним.*

2. В других случаях употребление безличной формы вызывается несубстантивным значением подлежащего. К ним относятся:

1) Предложения с подлежащими в форме *в* + предложный падеж в значении внутренней локализации состояния лица:

Где у вас болит? – У меня болит в боку. У меня шумит в голове, колет в ноге, першият в горле, рябит в глазах, пересохло во рту, звенит в ушах. Безличная форма здесь вызвана непредметным значением подлежащего, обозначающего место ощущения в предмете. Ср. номинативные предложения *У меня болит бок, шумит голова, пересох рот*, в которых подлежащее обозначает предмет как носитель ощущения.

2) Предложения, в которых в качестве подлежащего выступает обозначение события или указание на событие:

Она любит меня! – вспыхивало вдруг во всем ее существе (И. Тургенев). *Он возвращался домой очень поздно. Так было, есть и будет. Он рехнулся – мелькнуло у меня в голове* (И. Тургенев). *Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего, оно там и нужно так* (Н. Гоголь). *Ну, думаю, быть беде... Оно вот так и вышло* (А. Чехов). *Делать полезное людям всегда доставляло ему удовольствие* (ср. *Подарок доставил ему удовольствие*). *Гулять вдоль реки особенно нравилось ему* (ср. *Она нравилась ему*). *Устроить комнаты для Приваловой – составляло для Заплатиной замысловатую сложную задачу* (Д. Мамин-Сибиряк). *Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь – приходило ему в голову* (Л. Толстой). *Убирать комнаты – это было, будет моим делом, а не твоим. Быть в движении – было его естественное состояние. Летать было его мечтой. Играть в шахматы было его любимым занятием. Твое дело было работать, а не бездельничать.*

3) Предложения с количественно определяемым подлежащим в форме родительного падежа: *Театров здесь было три. Народу там было много. Всех офицеров скакало семнадцать человек* (Л. Толстой). *Работы было примерно на две недели. Публики сегодня приходило целая бездна* (Ф. Достоевский). *То-то было радости! Времени было у меня мало. В его словах было много правды.* Ср. также с дательным падежом подлежащего: *Ему исполнилось двадцать лет.*

4) Почти во всех научных и учебных описаниях русских предложений выделяются отрицательные «безличные предложения» с родительным падежом и безличным предикатом: *Грозы не было. Меня там не было.* Они соотносятся с утвердительными и отрицательными предложениями с именительным падежом подлежащего: *Грозы не было/Гроза была – Гроза не была. Меня там не было/Я был там – Я не был там.* Содержательно они нигде не интерпретируются как безличные с точки зрения общей теории безличности. Только П.А. Лекант усматривает в таких предложениях структурно обязательное дополнение в родительном падеже в значении «объекта отрицания» [Лекант 1974: 34], не объясняя синтаксической природы отрицания объекта (кто или что отрицает данный объект?)

Другие исследователи считают отрицательный родительный падеж в подобных предложениях подлежащим. Так, еще Ф.И. Буслаев, выделяя случаи замены личных предложений безличными, отмечает «замену личных безличными при отрицании, с родительным подлежащим; напр., *нет денег, не было денег, не будет денег*» [Буслаев 1869: 162]. Г.А. Золотова, характеризуя родительный падеж при отрицании в таких случаях, указывает на то, что он является предицируемым в отрицательных модификациях предложений с глаголами бытия, появления, наличия (коррелируется с именительным в соответствующих утвердительных предложениях): *Ни облачка на небе не бродило* (В. Жуковский); *Ожидаемой помощи не приходило* (А. Пушкин); *Между бревнами и косяками окон не скиталось резвых пруссаков, не скрывалось задумчивых тараканов* (И. Тургенев).

нев); *Никакой телефонограммы не было* (М. Булгаков) и под. [Золотова 1988: 31]. «Русская грамматика», характеризуя беззлагольные отрицательные предложения типа (1) *Нет времени*, (2) *Ни звука*, (3) *Ничего нового*, (4) *Никакой надежды*, указывает на их следующие значения: «несуществование или отсутствие субъекта» (1), «несуществование, отсутствие потенциально неединичного субъекта» (2), «полное отсутствие или несуществование субъекта» (3, 4). Грамматика считает такие предложения двукомпонентными (двусоставными), состоящими из субъектного компонента, выраженного родительным падежом, и предикатного компонента, выраженного отрицательным словом [Русск. гр. 80, II: 336–346]. Ср. *Ни шелеста листвы, ни пения птиц. Вокруг ни друзей, ни знакомых. Не было ни гроша, да вдруг алтын* (пословица). *Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег* (А. Пушкин). *Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа* (Н. Гоголь). *Ни одной попойки не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась между гостями* (И. Тургенев) и под.

Таким образом, в рассматриваемых предложениях выражаются такие же подлежащие и сказуемые, как в соответствующих утвердительных и отрицательных предложениях с именительным падежом. Поэтому они являются двусоставными предложениями с подлежащими в форме родительного падежа, который вызван выражаемым значением предложения (о чем см. ниже).

Но остается открытым вопрос о природе безличной формы их предикатов. Отвечая на этот вопрос, В.В. Виноградов связывает ее с безличным способом воспроизведения действия: «Простое отрицание факта существования или присутствия производителя действия также согласуется с безличным способом воспроизведения действия. Например, «*И не будет на свете ни слез, ни вражды* (С. Надсон); *Не здешний он, этот человек, да и здесь его теперь не находится* (Ф. Достоевский); *Или тебе жаль меня, или ты уж чуешь, что хозяина твоего скоро не станет* (И. Тургенев)» [Виноградов 1947: 465]. Но ведь в семантически безличных предложениях выражается не отрицание определенного субъекта, как в отрицательных предложениях, а отсутствие субъекта действия, так что «безличный способ воспроизведения действия» не может соотноситься с выражением отрицания субъекта.

Иначе представлял себе происхождение отрицательных безличных предложений А.А. Шахматов, утверждавший, что «происхождение таких предложений связано с развитием безличности: когда вместо предложения типа *не был хлеб* явилось предложение *не было хлеб*, отсутствие согласования между прежним подлежащим и прежним сказуемым повело к замене формы именительного падежа формой отложительного, известного в отрицательных предложениях» [Шахматов 1941: 122]. В таком случае, видимо, следует признать, что безличные предложения с именительным падежом подлежащего исторически были первичными по отношению к их отрицательным вариантам с родительным падежом. Однако А.А. Шахматов указывает на то, что отрицательные предложения, имеющие в главном члене сочетание безличных форм глагола с родительным падежом существительных или местоимений-существительных, восходят к глубокой древности: они имеются в других славянских языках, в литовском, готском и соответствуют немецкому *es gibt nicht* [Шахматов 1941: 121], т. е. можно предположить, что исторически существовали параллельные конструкции с разными формами их подлежащих.

Отличие рассматриваемых отрицательных предложений от семантически безличных состоит в том, что в них может синтаксически выражаться любое грамматическое лицо и число: 1-е (*Меня там не было*), 2-е (*Тебя/Вас там не было*), 3-е (*Его, их, рабочих там не было*). В отрицательных предложениях предикат выражается только глаголами со значением бытия, появления, становления, возникновения, положения, пребывания, что принято называть бытийными глаголами. К ним относятся глаголы *быть, существовать, иметься, находиться, оказаться, стать, состоять, водиться, делексикализованные глаголы стоять, лежать, висеть, происходить, случаться, оставаться* и др. (см. [Арутюнова, Ширяев 1983: 26–36], а также подробный перечень бытийных глаголов у А.А. Шахматова [Шахматов 1941: 122–125]). Поэтому такие предложения можно

назвать по аналогии с утвердительными бытийными предложениями отрицательно-бытийными.

Другая особенность отрицательно-бытийных предложений заключается в их возможности трансформироваться в личные предложения с подлежащим в именительном падеже: *Лосей в нашем лесу не водится – Лоси в нашем лесу не водятся. Понятия валентности в химии раньше не существовало – Понятие валентности в химии раньше не существовало. Детей в цирке не было – Дети в цирке не были.* Отличие отрицательных бытийных предложений с родительным подлежащим заключается в значении неопределенности их подлежащих, за исключением лично-местоименной или собственно-именной определенности (ср. *Меня там не было. Герасима уже не было во дворе*), и определенности подлежащих (ожидаемых, упомянутых, предполагаемых или конкретных) во вторых предложениях. В тексте родительный подлежащего всегда может восстанавливаться или иметься в виду как именительный подлежащего: ср. *Грозы не было. Она прошла мимо.*

В отрицательно-бытийных предложениях родительный падеж употребляется в значении отсутствия, отрицания обозначенного предмета как варианта его первичного отложительно-сепаративного значения [Шелякин 2001: 39–40], отсюда отрицательно-бытийное значение их подлежащего: отрицание предицируемого предмета ведет к выражению отрицания его бытия или его отсутствия в локализаторе (пространственном, временном, личностном и др., см. о его типах в [Арутюнова, Ширяев 1983: 14–18]). Синтаксическая связь между родительным подлежащего и отрицанием при бытийных предикатах является взаимообусловленной, а не подчинительной со стороны предиката, как считал А.М. Пешковский [Пешковский 1956: 365]. В отрицательно-бытийных предложениях с подлежащим в именительном падеже отрицается не подлежащее, а бытийный предикат, что ведет к выражению определенности подлежащего: *Грома (ожидаемая) не была. Мои дети не были в цирке.*

Что касается природы безличной формы предиката в отрицательно-бытийных предложениях, то она вызвана отрицаемым подлежащим.

5) По классификации А.А. Шахматова, предложения типа *сказано – сделано* относятся к односоставным причастно-глагольным безличным предложениям [Шахматов 1941: 111–113]. Указанные предложения принято называть предложениями с абсолютно устраниенным деятелем, см. определение безличных предложений у А.М. Пешковского: «эти предложения можно определить как предложения, в которых подлежащее устранено не только из речи, но и из мысли» [Пешковский 1956: 343]. Подобным образом семантически характеризует данные предложения [Галкина-Федорук 1958: гл. 9; Валгина 1991: 172, 175; Совр. русск. лит. яз. 2003: 554] и др. В.В. Бабайцева подразделяет безличные причастные предложения на а) предложения с неопределенным деятелем и б) предложения с устраниенным деятелем [Бабайцева 1968: 62]. Напротив [Русск. гр. 80] иначе квалифицирует предложения типа *Натоплено, Закрыто*, в которых «субъект действия может мыслиться как неопределенный (*Накурено; Натоптано; В комнате не убрано*) или как определенный: в последнем случае предложение распространяется словоформой с субъектным значением [Русск. гр. 80, II: 382], т.е. академическая грамматика не рассматривает их как безличные.

Автор настоящей статьи отнес предложения с предикатом в форме кратких страдательных причастий прошедшего времени среднего рода без обозначенного субъектного компонента к одной из разновидностей односоставных неопределенно-личных предложений [Шелякин 2001: 222], так как они, подобно односоставным неопределенно-личным предложениям с предикатами в форме множественного числа, выражают несущественность личного субъекта действия по количеству и конкретной определенности и тем самым существенность в сообщаемом событии того, что обозначается глагольно-причастным или двойным предикатом: *На заводе решено открыть клуб* (ср. *На заводе решили открыть клуб. Вам отказано в просьбе* (*Вам отказали в просьбе*). *Тебе же было сказано, что...* (ср. *Тебе же сказали, что...*).

Предложения с предикатами в форме кратких страдательных причастий прошедшего времени среднего рода, на наш взгляд, нельзя считать безличными, поскольку значение страдательного залога по определению всегда предполагает реального или потенциального производителя действия (трудно себе представить действие страдательного залога как абсолютно лишенное его производителя), выражая отношение действия к производителю и объекту даже тогда, когда значение акционального страдательного залога переходит в значение пассивного статива: ср. надписи типа *Осторожно – окрашено*. О том, что, вопреки мнению А.М. Пешковского и др., субъект действия в рассматриваемых предложениях не устраняется даже из мысли, свидетельствует следующий пример: *Здесь курить не велено – крикнул ему кондуктор. – Кто это не велел? Кто имеет право?* (А. Чехов). Этот производитель является так же несущественным, как и в синонимично соотносительных глагольных неопределенno-личных предложениях: *В комнате еще не убрано – В комнате еще не убрали. За билеты заплачено – За билеты заплатили*, или определенным в трехчленных конструкциях, синонимично соотносительных с определенно-личными предложениями (*Мной еще много не сделано – Я еще много не сделал. Начальством запрещено тудаходить – Начальство запретило тудаходить*). Кроме творительного падежа, субъектный компонент в трехчленных конструкциях может быть обозначен и отнесен ко всем грамматическим лицам, по наблюдениям Русской грамматики [Русск. гр. 80, II: 130, 382], предлогом *между* + творительный падеж (*Между нами было условлено – Мы условились*), предлогом *у* + родительный падеж в одновременном значении субъекта, обладающего состоянием как результатом своего действия (*У меня/у тебя/у него все заплачено – Я/ты/он за все заплатил*) и др.

Возможность ввода субъектного компонента в предложения с краткими страдательными причастиями в функции предиката, наличие формы страдательного причастия свидетельствует о том, что эти предложения не являются семантически безличными. С другой стороны, эти формы предиката являются вселичными с точки зрения синтаксически выражаемых всех грамматических лиц, в отличие от формы 3-го лица множественного числа в неопределенno-личном значении, отсюда возможность их непереносного синтаксического отнесения ко всем грамматическим лицам (отнесение формы 3-го лица в неопределенno-личном значении к 1-му и 2-му лицу возможно только как переносное, о чем см. [Шелякин 1991: 71–72]).

Указанная синонимическая соотносительность глагольных и глагольно-причастных предложений позволяет относить последние без субъектного уточнителя к неопределенно-личным предложениям, выражающим несущественность уже референтной отдельности субъекта действия, что приводит к представлению субъекта как отвлеченно-го от референтной отдельности (как потенциального субъекта, «субъекта вообще») и позволяет в случае необходимости синтаксически уточнять его всеми грамматическими лицами (ср. *В комнате еще не убрано – У меня, у тебя, у него, у них, у вас в комнате еще не убрано*).

Функциональная роль формы среднего рода единственного числа в этих предложениях сводится не к устраниению субъекта, а к выражению состояния объектного компонента как следствия результативного действия, т. е. к выражению непредметного характера объектного компонента. Поэтому надписи на дверях магазина – *закрыто, закрыто на учет* означают состояние неосуществления, прекращения деятельности магазина, а не физическое закрытие магазинного помещения (ср. *магазин закрыт на замок*). Русская грамматика с полным основанием относит их к причастным предикативам [Русск. гр. 80, I: 672], что подтверждается возможностью их совместного употребления с наречными предикативами. Ср. *В номере было прибрано, светло, уютно* (А. Чехов). *В десять пошел в церковную караулку. Накурено, тесно, вся караулка полна* (И. Бунин).

Следовательно, форма среднего рода в кратких страдательных причастиях прошедшего времени вызвана семантическими особенностями объектного компонента, с которым грамматически соотносится глагольно-причастный предикат.

Форма прошедшего времени в глагольно-причастных предикатах выражает perfectное значение, соединяющее, по определению Ю.С. Маслова, «в одной предикатив-

ной (или свернуто-предикативной) единице двух так или иначе связанных между собой временных планов – предшествующего и последующего. Связь между этими двумя планами является причинно-следственной в самом широком смысле слова: предшествующее действие (или, шире, предшествующее «положение дел») вызывает некие последствия для субъекта действия, для его объекта или для всей ситуации в целом, некое новое состояние, новое «положение дел» [Маслов 1987: 195]. Поэтому глагольно-причастные предикаты, как правило, выступают в форме совершенного вида прошедшего времени. Встречающиеся формы кратких страдательных причастий несовершенного вида прошедшего времени свойственны главным образом старинному, фольклорному языку, диалектам, и некоторые из них еще сохранились в пословицах и поговорках: *бито, варено, говорено, граблено, ни думано – ни гадано, едено, ношено, хожено, читано, рисовано, в девках сижено – горе мыкано, за не дорого пито, а дорого быто* (поговорка = не дорого, что пил, а дорого, что был), *сегодня ни пито, ни едино* (В. Даль), *плачено, где это видано! Как много думано, исполнено так мало* (В. Брюсов) и некоторые другие. Они не закрепились в нормативном языке, видимо, из-за отсутствия в них четко выраженного перфектного значения, хотя и в них усматривается значение состояния.

Таким образом, два типа неопределенно-личных предложений имеют общее значение, выражающее в данном событии несущественность личного субъекта и существенность предиката, что позволяет им вступать в синонимические отношения при условии лексической общности переходности глаголов и общей формы прошедшего времени совершенного вида в перфектной функции².

Семантическая разница между ними состоит в том, что:

1. В глагольных неопределенно-личных предложениях употребляется предикат в значении несущественной референции отдельных субъектов действия и существенности в выражаемом событии их перфектных действий по отношению к их объектам.

2. В причастных неопределенно-личных предложениях употребляется предикат в значении несущественной референтности субъектов действия («субъекта вообще») и существенности в выражаемом событии перфектного состояния или непредметного характера объектного компонента.

Эти две разновидности неопределенно-личных предложений синонимично взаимозаменимы, при указанных выше условиях. Разница между синонимическими конструкциями связана с их отличием в формах предикатов и их функций (о чем см. ниже).

Предложения с предикатами в форме кратких страдательных причастий прошедшего времени среднего рода подразделяются на:

а) Предложения с отрицаемым пациентным подлежащим в форме родительного падежа: *денег не получено, письма не написано, выводов не сделано, не вырыто ни одного кустика, не было изношено ни одного платья, документов не обнаружено*. В таких предложениях возможно употребление именительного падежа подлежащего: ср. *деньги не получены, письмо не написано, выводы не сделаны, ни один кустик не вырыт, ни одно платье не было изношено, документы не обнаружены. Не сказано лишнего слова, наружу не выдано слез* (Н. Некрасов), ср. *Не сказаны лишние слова, наружу не выданы слезы. Разрушено уж почти все, но взамен не создано ничего* (А. Чехов). *Ничего не было слышно, видно.*

² Встречаются предложения и с предикатами в форме кратких страдательных причастий среднего рода, образованных от непереходных глаголов (под влиянием кратких страдательных причастий от переходных глаголов). Они были свойственны древнерусскому, фольклорному языку, сохранились в диалектах и имели синтаксически выраженное определенно-личное значение. Многочисленные примеры приводят Ф.И. Буслаев [Буслаев 1868: 157–158], А.А. Шахматов [Шахматов 1941: 112–113], *У дородного добра молодца Много было на службе послужено, На печи было вволю полежано, С кнутом за свиньями похожено* (пример Ф.И. Буслаева из былины). *Было похожено да голodom насиженено, пора и честь знать* (Д. Мамин-Сибиряк). *У него уехано и под.*

Именительный падеж пациентного подлежащего в соответствии со своим общим значением фокусированного производителя или носителя предикативного признака имеет значение определенного, ожидаемого или конкретного, денотата подлежащего либо его определенного количества. Предложения с формой родительного падежа в значении отрицаемого пациентного подлежащего имеют значение количественно-неопределенного денотата подлежащего, и отрицаемое подлежащее формально вызывает употребление безличной формы предиката.

Данные пациентные неопределенно-личные предложения синонимичны глагольным неопределенно-личным предложениям с указанной функциональной разницей винительного и родительного падежа дополнения объекта: ср. *деньги/денег не получили, письма/писем не написали, выводы/выводов не сделали, ни один кустик/ни одного кустика не вырыли, ни одно платье/ни одного платья не износили, документы/документов не обнаружили, лишнее слово/лишнего слова не сказали* и под. Винительный падеж обозначает определенность денотата, родительный падеж – его неопределенность.

б) Утвердительные предложения с пациентным подлежащим, обозначенным формой родительного падежа в неопределенно-количественном значении или количественными словами и сочетанием количественных слов с существительными в падежных и падежно-предложных формах: *Народу погублено! Грибов нажарено! Получено много писем. Куплено муки, сахару, хлеба. Послано двадцать разведчиков. Как мало прожито, как много пережито* (С. Надсон). *Э, на моем веку много выпито, Марья Алексеевна, в запас выпито, надолго станет* (Н. Чернышевский). *Собралось много людей, до/около сорока человек. Внизу сидело по одному человеку в ряду.* Форма среднего рода предиката здесь также вызвана количественным значением подлежащего. Возможна трансформация в глагольные неопределенно-личные предложения с указанной функциональной разницей винительного и родительного падежа дополнения объекта: ср. *Народу/народ погубили! Грибов/грибы нажарили! Получили много писем. Купили муки/муку, сахару/сахар, хлеба/хлеб. Послали двадцать разведчиков. Как мало прожил/прожили, как много пережил/пережили. На моем веку много выпил/выпили.*

в) Предложения с предикатами в значении волеизъявления, управляемыми адресатным дательным падежом (эксплицитным или имплицитным), + инфинитив, обозначающий действие, предназначенное для выполнения адресатом и тем самым выступающий в функции второго предиката: *велено, приказано, запрещено, разрешено, заведено, положено, позволено, указано, поручено, решено, назначено, суждено, завещано, предназначено и др. + что-либо делать/сделать.* Ср. *Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданами* (Н. Гоголь). *Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать* (А. Пушкин). *Мне поручено сопровождать вас* (М. Шолохов). Допускают преобразование в синонимические глагольные сказуемые: типа *велели..., приказали..., запретили..., разрешили..., поручили* и т.д. + инфинитив. Форма среднего рода вызвана здесь тем, что причастия распространяются инфинитивами со значением действий, обозначающих их содержание и тем самым занимающих вместе с дательным падежом адресата позицию каузируемой свернутой субъектно-предикативной единицы (*тебе приказано явиться в штаб = тебе приказано, чтобы ты явился в штаб*).

г) Предложения, содержание предикатов которых раскрывается последующими предложениями (в сложноподчиненных предложениях с изъяснительными придаточными частями или в бессоюзных сложных предложениях), выступающими в позиции изъясняемой субъектно-предикативной единицы, что вызывает форму среднего рода предиката: *Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря..., то барин в ту ночь не спит...* (Н. Лесков). *Так решено: не окажу я страха...* (А. Пушкин). *В законе указано, что следует за лживые по службе донесения* (А. Писемский).

Данные предложения также допускают преобразование в синонимические неопределенно-личные предложения с глагольными предикатами: ...*несомненно приметили..., так решил/решили: не окажу я страха..., в законе указали, что следует...*

д) Предложения, относящиеся одновременно к ситуативно воспринимаемому состоянию предмета, замещающего синтаксическую позицию пациентного подлежащего, что вызывает форму среднего рода предиката: *Закрыто. Открыто. Занято. Окрашено. Утверждено. Согласовано. Оплачено. Заминировано. Проверено – мин нет. Распутица, Разъезжено, Размято*. При отнесении причастного неопределенно-личного предиката к ситуативно воспринимаемому предмету не допускается синонимического употребления глагольного неопределенно-личного предиката, поскольку последний не способен выразить по отношению к ситуативно воспринимаемому объекту значение перфектного статива как результата действия: ср. неупотребительность **Закрыли. *Окрасили. *Оплатили* и под. по отношению к ситуативному предмету.

е) Предложения, выражающие состояние места, внешнего обстоятельства, дела, что вызывает форму среднего рода глагольно-причастного предиката, допускающего синонимию с глагольным неопределенно-личным предикатом: *Накурено у вас (Накурили у вас). У меня не прибрано (У меня не прибрали). Тут уж не было даже отдельных кроватей, а просто постлано (постлали) на диванах с довольно жесткими подушками и ситцевыми покрывалами (А. Писемский). Чудно устроено на нашем свете! (Н. Гоголь). Плохо, плохо было устроено с Катей (А.Н. Толстой)*, ср. *Плохо, плохо устроили с Катей и под.*

ж) Предложения, в которых дополнение объекта в значении состояния выражено косвенными падежами с предлогами, что вызывает форму среднего рода глагольно-причастного предиката: *С болезнью покончено (покончили). Вам отказано в просьбе (Вашу просьбу отказали). Про батарею Тушина было забыто (Л. Толстой)*, ср. *Про батарею Тушина забыли*. Возможно употребление синонимических глагольных неопределенно-личных предложений.

з) Предложения без обозначенного предметного объекта предиката, поэтому представленный как неопределеннопотенциальный или обобщенный, что вызывает форму среднего рода глагольно-причастного предиката: *Кому назначено – не миновать судьбы (А. Грибоедов). Сказано – сделано. Где сшито на живую нитку, там жди прореху да убытку (пословица). Шито – скрыто. С тебя будет спрошено (С тебя спросят)*. Так же возможно употребление синонимических глагольных неопределеннопотенциальных предложений: *Кому назначали – не миновать судьбы. Сказали – сделали. Где сшили на живую нитку, жди прореху да убытку. Шили – скрыли*.

С указанными семантическими различиями между двумя разновидностями неопределеннопотенциальных предложений связаны их pragmaticкие особенности: глагольно-причастные предложения переключают внимание с субъекта и его действия на не-предметные его следствия. Может быть, поэтому глагольно-причастные неопределеннопотенциальные предложения употребляются в диалектах по отношению к пациентному подлежащему в формах мужского и женского рода, а также множественного числа: по наблюдениям И.П. Кюльмоя, в говорах Западного Причудья встречаются предложения типа *Мост был взорвано уже. Там и дом выстроено новый. Во дворе играю, а двор закрыто. Посуда в ей была принято и икона была. Теперь сделано все моторы да такие моторные колесные машинки, что в самих придумано* [Кюльмоя 2004: 158]. Подобные предложения из церковнославянского языка приводит и А.А. Шахматов: например, *глаза трубы услышано будет* [Шахматов 1941: 518]. Напрашивается вопрос, не подчеркивают ли формы среднего рода в них значение состояния объектов?

Выше мы рассмотрели наиболее показательные синтаксические конструкции, считающиеся, как правило, безличными (фактически таких предложений намного больше). В связи с наличием в них безличных форм предикатов они должны как-то терминологически различаться от предложений с семантически безличными формами предикатов. Мы предлагаем назвать их *формально-безличными предложениями*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова, Ширяев 1983 – Н.Д. Арутюнова, Е.Н. Ширяев. Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.
- Бабайцева 1968 – В.В. Бабайцева. Односоставные предложения в русском языке. М., 1968.
- Бирюлин 1994 – Л.А. Бирюлин. Семантика и синтаксис русского имперсонала: *verba meteologica* и их диатезы. München, 1994.
- Буслаев 1868 – Ф.И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд. Синтаксис. М., 1868.
- Валгина 1991 – Н.С. Валгина. Синтаксис современного русского языка. М., 1991.
- Виноградов 1947 – В.В. Виноградов. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1947.
- Галкина-Федорук 1958 – Е.М. Галкина-Федорук. Безличные предложения в современном русском языке. М., 1958.
- Золотова 1988 – Г.А. Золотова. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988.
- Кириллова 1970 – В.А. Кириллова. О «конструктивных» элементах безличных предложений (типа *снегом занесет – занесло дорогу*) // Исследования по современному русскому языку. М., 1970.
- Кюльмоя 2004 – И.П. Кюльмоя. О влиянии эстонского языка на говоры Западного Причудья // Очерки по истории и культуре староверов Эстонии. I. Тарту, 2004.
- Лекант 1974 – П.А. Лекант. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1974.
- Маслов 1987 – Ю.С. Маслов. Перфектность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Мразек 1964 – Р. Мразек. Синтаксис русского творительного. Praga, 1964.
- Обнорский 1953 – С.П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
- Пешковский 1956 – А.М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Потебня 1968 – А.А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1968.
- Потебня 1977 – А.А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. 2. Глагол. М., 1977.
- Русск. гр. 80 – Русская грамматика / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М., 1980.
- Совр. русск. лит. яз. 2003 – Современный русский литературный язык. М., 2003.
- Шахматов 1941 – А.А. Шахматов. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1941.
- Шелякин 1991 – М.А. Шелякин. О семантике неопределенно-личных предложений // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
- Шелякин 2001 – М.А. Шелякин. Функциональная грамматика русского языка. М., 2001.

© 2009 г. Г. НИКИПОРЕЦ-ТАКИГАВА

ЯЗЫК РУССКОЙ ДИАСПОРЫ В ЯПОНИИ

За последние двадцать лет число постоянно проживающих в Японии русских увеличилось в тридцать раз: от 322 до 10 000. В Японию в 90-х прибыла четвертая волна русской эмиграции, которая и определяет лицо современной русской диаспоры в этой стране. В статье предпринята попытка описать языковую ситуацию, характерную для русской диаспоры в Японии, продемонстрировать состояние языковой компетенции и ее изменения в условиях языковых контактов, выявить и подчеркнуть слабые участки языковой компетенции, в наибольшей степени подверженные разрушениям. Для сопоставительного анализа выбраны две фокус-группы: представители диаспоры «условно второй волны», приславшие в Японию в 70–80-е годы, и русские жены граждан Японии, приехавшие в конце 90-х. Среди рассматриваемых тем и трудности поликультурного воспитания, многоязычного или двуязычного образования.

I. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ В ЯПОНИИ (1918–2007)

В 1985 году в Японии постоянно проживало, имея вид на жительство, 322, в 1990 – 440, в 1995 году – 2 169 граждан России. По сравнению с Китаем, где последние 20 лет живет приблизительно 13 400 русских, и с 25-тысячной эмигрантской общиной в Австралии, размеры «русского» присутствия на японских островах были настолько ничтожны, что выводили его за рамки принятой терминологии. Русские в Японии, несомненно, жили, но было не вполне понятно, как их именовать – мигрантами или эмигрантами, по каким признакам, кроме общности языка, объединять. Прошедшие двенадцать лет развеяли терминологические сомнения. В Японии поселились около 10 000 граждан России, неопределенное, но значительное число граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран бывшего СССР, для которых русский язык является родным или основным языком общения.

1. Эмиграция первой волны

Большая волна русской эмиграции достигла Японии второй раз. Первая была послереволюционной. В 1918 году в Японии оказался 7 251 «русский»¹, в течение двух последующих лет русская община оставалась самой многочисленной среди других иностранных.

Япония строго ограничивала иммиграцию и не была особенно гостеприимна, поэтому численность русской диаспоры начала довольно быстро снижаться, большая часть перебралась в Китай, где к тому времени проживало около 100 000 русских, и жизнь эмигранта была несравненно легче, а также в Америку. В 1920 годы в Японии оставалось уже 3 150, в 1930 – только 1 666 русских, зарегистрированных японской полицией.

Русские в Японии нашли разное применение своим знаниям и способностям. Многие русские занимались мелким и крупным предпринимательством, например, торговлей сукном, на которое возник спрос в 20-е годы. В повести Ясунари Кавабата «Снежная страна» появляется русская торговка косметикой вразнос. Такие торговки использова-

¹ «Русским» официально считался любой беженец из Российской империи.

ли нехитрый рекламный ход: «Если будешь пользоваться этой косметикой, будешь такая же красивая и белая, как я», вероятно, положивший начало стереотипу о красоте русских женщин. В 20-е годы русскими кондитерами Морозовыми была основана до сих пор существующая шоколадная фабрика. Существует мнение, что именно Федор Морозов познакомил японцев с Днем Святого Валентина, узнав о нем из рекламы в газете английской колонии. Первая волна эмиграции принесла в Японию немало русских музыкантов, которые занялись преподаванием. Русским по отцу был Тайхо – великий Ёкодзуна (ёкодзуна – высшее звание борца сумо), который установил до сих пор не побитый рекорд, 32 раза становясь абсолютным чемпионом в большом сумо Японии.

Во время Второй мировой войны многие русские потеряли работу, были ограничения в передвижении по Японии, начались голод, карточная система, доносы. «Доносили японцы на русских и русские друг на друга. Такие известные предприниматели, как Афанасьев и Воеводин, уже после войны рассказывали о частых вызовах на допросы и избиениях. Можно было пострадать за неосторожно брошенную фразу. На следующий день приходила полиция, и неосторожного собеседника за "антияпонские настроения" высыпали в Шанхай» [Виноградов 2004]. После войны диаспора пополнилась бежавшими из Китая, а также теми русскими, которые служили в американских оккупационных войсках. «White Russians», как их называли американцы, были «солдаты и офицеры, которые либо сами родились в России, либо были детьми уехавших из России родителей. Русских в Токио оказалось довольно много. Полковник Паш (Пашковский) возглавлял политический отдел штаба Макартура. Генерал Грэй, выпускник кадетского корпуса и бывший российский дипломат в Токио, командовал австралийским корпусом. Помощниками Пашковского служили Янков (известный боксер) и Павлов. Здесь же в Токио жил и работал ученик Скрябина, известный профессор музыки Павел Виноградов. Первый симфонический оркестр в Японии был создан и управлялся профессором-евреем Шиферблатором, также приехавшим из России. Выходцами из России были и родители Янпольского, личного врача генерала Макартура» [Виноградов 2004]. Однако в конце 50-х – начале 60-х годов русские покинули Японию. Кто-то вернулся в СССР, кто-то перебрался в Америку или в Австралию. От первой волны русской эмиграции остались лишь те немногие, кто решил связать свою судьбу с этой страной навсегда.

2. Эмиграция «условно второй волны»

В поздние 70-е – ранние 90-е в Японии стали появляться русские жены и мужья граждан Японии. Назвать их эмигрантами и их появление «второй волной эмиграции» можно лишь условно – представители этой группы были очень сильно разобщены, почти не связаны с малочисленной эмиграцией первой волны и часто вели мигрирующий образ жизни, живя то в Японии, то в России. До последнего десятилетия только одна категория японцев осмеливалась нарушить негласное общественное табу на международные браки – подолгу работающие за границей бизнесмены, журналисты и дипломаты. С другой стороны, и немногие русские жены решались переехать в Японию. Из этих отважных складывались довольно специфические браки, в которых японские мужья свободно говорили по-русски, домашним языком оставался русский, а семейная жизнь проистекала «на две страны и на два дома» из-за длительных служебных командировок японской половины. Исключение составляли советские японисты, которые вслед за выбором профессии выбирали себе и японское семейное счастье, оседая в Японии наиболее прочно.

3. Эмиграция третьей волны

В XXI веке рассеянная и разобщенная жизнь русских в Японии закончилась. До Японии неожиданно докатилась волна эмиграции из России 90-х, которую в традиционных для эмиграции странах именуют третьей или четвертой. В Японии проживает примерно 600000 корейцев, 500000 китайцев, 200000 филиппинцев и другие большие иностранные

диаспоры. Несмотря на сравнительно скромные размеры русской диаспоры, ее рост от показателя 322 в 1985 г. до показателя 7164² в 2004 г. поражает воображение.

В эмиграции третьей волны выделяются две группы: трудовые мигранты и русские мужья и жены, оказавшиеся или оставшиеся в Японии по семейным обстоятельствам.

В последние годы типичные трудовые мигранты из России в Японии – молодые люди, закончившие хороший технический вуз в России и получившие в Японии второе образование. Они приезжают с семьями или без. Япония не всегда оказывается для них пунктом проживания в течение более чем десяти лет. За ней могут следовать другие географические точки. Однако благодаря приобретенному японскому языку вместе с японским дипломом для многих Япония превращается в лучшую по сравнению не только с Россией, но и с Европой и Америкой возможность заработать, что заставляет остаться здесь надолго. Среди трудовых мигрантов много японистов. Бум японского языка в России резко увеличил их армию. По количеству приехавших в Японию изучать японский язык студентов Россия в 2006 г. заняла третье место после США и Франции среди неазиатских стран. Приехавшие на годичную стажировку японисты нередко задерживаются в Японии, заканчивают японские магистратуры и аспирантуры и остаются здесь жить и работать. Многие трудовые мигранты обзаводятся здесь японскими «половинами», которые еще крепче привязывают их к этой стране.

Вторую группу образуют русские жены граждан Японии. Жены третьей волны отличаются от тех, которых в течение XX века изредка привозили в Японию работавшие в России японцы. Прежде всего, их много. Русско-японские браки, которые всегда были крайне редки и считались некоторой экзотикой, превратились в массовое увлечение. Трудно представить причины, по которым русская женщина из спектра национальностей, предлагаемых службами международных знакомств, выбирает японца. Тем не менее, за последние годы открыто три брачных агентства, помогающих русским девушкам найти именно японского мужа. Японскому интересу к бракам с русскими способствует все еще устойчивый в Японии стереотип о красоте русских женщин. Русские – единственные представительницы неазиатской национальности, которых японцы считают красивыми. Стереотип поддерживает трудовой десант, который последние десять лет высаживается на Японских островах, чтобы работать хостес³. Некоторые пополняют ряды русской диаспоры, выходя за японцев замуж.

II. РУССКИЙ ЯЗЫК РУССКОЙ ДИАСПОРЫ В ЯПОНИИ

Отношение к русскому языку, уровень и устойчивость языковой компетенции, степень желания передать родной язык своим детям различны у представителей разных волн эмиграции и обусловлены уровнем образования, воспитанием, социальным статусом эмигрантов.

1. Отношение к русскому языку в среде эмигрантов первой волны

Послереволюционных эмигрантов связывали не только общность языка, нередко, социального происхождения, но и общность судьбы. Многое сближало, поэтому эмигранты держались довольно сплоченно. Эмигранты в Токио компактно селились вокруг

² По данным миграционной службы Японии за 2006 г. цифра приблизительна, так как статистические данные миграционной службы исключают немалое количество бывших россиян, получивших японское гражданство, отказавшихся от российского гражданства, а также тех русских, которые имеют гражданство бывших республик СССР. В статье использованы также материалы «Итогов переписи населения 1995 года», «Японского статистического агентства» и др. (см. Список литературы).

³ В широкий и не вполне определенный круг профессиональных обязанностей хостес входит прием, сопровождение и обслуживание гостей вочных клубах, барах, ресторанах.

главного православного храма Николай-до⁴. Там проживала почти половина русской общины Токио [Виноградов 2004], образуя «русский остров» на японском острове. «Островной» была для многих и жизнь – внутри общины, изолировано от японцев. Японцы не мешали, некоторые эмигранты японской жизнью тоже не интересовались, не говорили по-японски и жили в Японии годами, мало о ней зная. Для них общение ограничивалось русской или европейскими общинами. С другой стороны, такая ситуация способствовала сохранению языка в неприкосновенности. Велико было и стремление учить русскому языку детей. Центрами русского образования служили школы при русских церквях. В 1946 году при соборе Николай-до в Токио открыли Пушкинскую школу, где учились дети русских эмигрантов. Школу закрыли в конце 50-х, когда в Японии почти не осталось русских [Саблина 2006]. Оставшиеся в Японии после массового исхода в конце 50-х, начале 60-х немногие русские берегли русский язык, однако не сумели передать его своим потомкам. Дети получили японское образование и полностью ассимилировались.

2. Проблемы языковой компетенции эмигрантов «условно второй волны»

Среди эмигрантов «условно второй волны» оказались люди примерно одинакового уровня образования – высшего советского. Они в зависимости от семейных обстоятельств выбрали разные способы поведения эмигрантов, выделенные Г. Пфандлем: антиассимилятивное, ассимилятивное, бикультурное [Пфандль 1994]. Для значительной части русской диаспоры в Японии характерна еще одна форма поведения, которая может быть названа трикультурной: помимо освоения японской культурной среды и японского языка, русский эмигрант вынужден или стремится освоить еще и третий язык, и третье культурное поле. Третьим языком является обычно английский, культурное поле – компилятивно. Для русских жен, меняющих страны из-за служебных назначений японских мужей, обучение детей в международной школе (обычно на английском языке) и собственное погружение в международную общину оказывается вынужденным выбором. Часть родителей выбирает этот путь сознательно. Япония мононациональная страна, до сих пор во многом закрытая для иностранцев. Не все русские чувствуют себя в Японии уютно и собираются прожить здесь до старости, многие не видят в Японии будущего для своих детей. Даже в среде эмигрантов третьей волны популярны рассказы о сложных судьбах детей от смешанных браков, которых это общество не считает своими, не обеспечивая им равных возможностей (см. примеры ниже). Поэтому среди русских родителей распространено желание учить детей помимо японского и русского еще и английскому языку, а также не в японской, а в международной или иностранной школе, чтобы дать шанс уехать, если не получится найти себе достойного применения в Японии. Русский язык в таких семьях стараются сохранить не из pragmatischesких соображений (к карьере в России пока своих детей не готовят), а из общих интеллигентских. Для родителей, получивших крепкое образование и такое же представление о том, что чем больше знаний, тем лучше, стремление учить ребенка и по лучшим западным стандартам, и по лучшим русским вполне естественно.

Надо отметить, что многие из старшей группы представителей эмигрантов «условно второй волны» легко нашли в Японии работу на кафедрах русского языка. Русских в

⁴ Токийский кафедральный Воскресенский собор называют «Николай-до» в честь Святого Равноапостольного Николая, архиепископа Японского (мирское имя: Иван Касаткин, годы жизни 1836–1912). Когда в 1860 году Николай прибыл в Японию, «японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую церковь, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи» [Дневники 2004]. К концу его жизни в Японии в 1912 году был собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов; православная церковь в Японии имела архиепископа, епископа, 35 иереев, 115 проповедников и 34 110 православных верующих [Наганава 1989; Накамура 1996].

70-х и 80-х годах было меньше, чем почасовых ставок. Приезжали люди образованные, главным образом, из Москвы и Ленинграда, поэтому работу, тесно связанную с русским языком, удалось получить всем, кто хотел. Такая работа, с одной стороны, обеспечивает сохранность языковой компетенции, с другой стороны, обязывает поддерживать ее на достойном уровне. Однако жизнь в Японии в течение 25–35 лет, вынужденное двуязычие или многоязычие, в разной степени, но, безусловно, влияют на языковую компетенцию этой группы эмигрантов.

В целом, для большей части второй волны эмиграции характерно гиперкорректное использование языка в границах языковой нормы 25–35-летней давности в публичных высказываниях и стремление избегать ненормативных явлений в разговорной речи. Причин несколько. С одной стороны – профессиональная необходимость разговаривать на литературном русском языке и осознание ответственности перед студентами и собственными детьми, которым нужно передать лучшие образцы русского языка. С другой стороны, у людей в прошлом разных профессий, волей судьбы вдруг оказавшихся преподавателями русского языка или дикторами и переводчиками на русском радио, существует определенная рефлексия по поводу своей профессиональной пригодности и языковой компетентности. Ненормативные явления воспринимаются как знак потери языка, как сигнал, который может выдать плохое владение родным языком. В наибольшей степени это касается просторечия, неприятие жаргонизмов, а также и арго зависит от возраста: чем старше представители эмиграции второй волны, тем строже их представления о необходимости соблюдать языковую норму и о границах языковой нормы. К обсценизмам отношение другое – их воспринимают как «соль» культурного фонда, как способ показать свое тонкое владение языком, поэтому они встречаются в мужской разговорной речи эмиграции и иногда частотны до неуместности. Однако отношение к просторечию, жаргонизмам и арго в публичной речи едино и от возраста не зависит – их не допускают.

Для описания характерных особенностей речи эмигрантов «условно второй волны» здесь и далее использованы фрагменты текстов, созданных представителями старшей их подгруппы для Радио Японии. Это мужчины и женщины, которые живут в Японии в течение 25–35 лет, их супруги граждане Японии, у них взрослые дети, все годы они работают на Радио Японии и по совместительству преподают русский язык в токийских университетах. Уровень образования русских сотрудников Радио Японии идентичен: МГУ и ЛГУ (ИСАА, факультет журналистики, филологический факультет, исторический факультет), МГИМО; все они еще до приезда в Японию владели японским или английским, постоянно используют оба языка в работе и в жизни.

В то время как в языке СМИ метрополии царит свобода формы слова и выражения, язык СМИ японской диаспоры продолжает оставаться консервированным продуктом советского производства: здесь твердо помнят запрет на использование ненормативных явлений в публичной речи и требование держать язык в границах нормы. Представление о границах подвергается коррозии с течением времени. В примерах (1)–(2) элементы просторечия и разговорного стиля встречаются потому, что авторами текста утеряно воспоминание о принадлежности этих слов разговорному стилю речи.

- 1) *В двух словах*, Ху Цзиньтао занял довольно примирительный подход в отношении Японии.
- 2) *Само собой*, что Япония не может просто наблюдать за происходящим в бездействии.

Существует и представление о необходимости строго следовать газетно-публицистическому стилю. Это приводит к злоупотреблениям штампами, которое можно отметить во всех приводимых в статье примерах языка Радио Японии.

Многие явления в языке Радио Японии подобны явлениям, отмечаемым в языке СМИ метрополии. Употребление нескольких отглагольных существительных в одном предложении: *должно позволить осуществление более быстрого реагирования*; нару-

шение законов согласования и управления: извлечение средств на бизнесе, начав войну на оказавшемся ложным предположении, заявляет о том, что; повторы: способствовать усилению веры детей в свои силы, избыточность лексических и синтаксических средств, ошибки:

- 3) Консультация в области проблем, которые связаны с вопросами трудовых ресурсов.
- 4) Возможно, будет продолжать существовать выражение сильного по своему характеру мнения в системе Интернет и в других средствах масс-медиа⁵.

Однако по сравнению с языком СМИ метрополии, язык СМИ диаспоры демонстрирует большее количество нарушений лексической и семантической сочетаемости, ошибок внутри устойчивых сочетаний и неточного понимания значения слова:

- 5) Выразил сочувствие в вопросе похищений японских граждан в Северную Корею.
- 6) Будут применяться научные методы для определения эффекта пищевых продуктов на здоровье.
- 7) Хотя его состояние урегулировалось, он принял решение сделать анализ крови.

Исследователи называют правила лексической и синтаксической сочетаемости неустойчивым участком при функционировании языка в иноязычном окружении. Среди них наиболее уязвимым оказывается идиоматичный участок языка [Гловинская 2004: 13]. Надо отметить, что вне выступлений в СМИ авторы этих текстов обнаруживают довольно высокую языковую компетенцию и не делают ошибок, подобных приведенным. Таким образом, самым неустойчивым оказывается участок газетно-публицистического клишированного идиоматического употребления. Вероятно, причины в искусственности происхождения устойчивых сочетаний в газетно-публицистическом стиле речи, безжизненности конструкций, которые не оставляют возможности для реконструкции внутренней формы. Это элементы языка, которые можно только выучить наизусть в результате ежедневного повторения, но не восстановить в памяти при помощи логических операций или опираясь на внутреннюю форму.

Так же как в языке метрополии, в языке Радио Японии много заимствований. Однако причины частотности заимствований отличаются от тех, которые влияют на высокую частотность заимствований в языке метрополии. Если в языке СМИ метрополии журналисты нередко прибегают к заимствованию для того, чтобы подчеркнуть свое знание иностранных языков, то журналистам диаспоры доказывать знание языков никому не надо, напротив, необходимо подчеркнуть знание русского языка, в частности, того, что русский язык СМИ требует определенного стиля. Заимствование же должно пониматься как элемент газетно-публицистического, книжного, литературного, но, в любом случае, не разговорного стиля.

- 8) Самое большое число охватывает deregulację правил, оговаривающих связи между университетами и другими научными заведениями с одной стороны и индустрией с другой.
- 9) Эти 20 лет оставались периодом фрастрации для тайваньских властей в отношении правительства Японии.
- 10) Деньги вкладывают сами жители, рециркулируя при этом свои средства и ресурсы.

Вторая причина объективного свойства: пишущему для русскоязычных зарубежных СМИ значительно сложнее удержаться от соблазна калькирования, нежели его россий-

⁵ Во всех примерах оставлена оригинальная орфография и пунктуация.

скому собрату, так как первый имеет дело, как правило, с иноязычными источниками, на основе которых создает русский текст⁶. В условиях ограниченного количества времени, которое дается на подготовку материала к эфиру, журналисту диаспоры легче переписать русскими буквами английское слово, чем перевести его на русский язык. Давление иностранного языка приводит к грамматическим и лексическим ошибкам, к автоматическому калькированию:

- 11) Эффект правительственные планов на всю экономику (The impact of the government's plans on the entire economy).
- 12) Телеигры сейчас проникают во все общество и достигли периода зрелости. ... Поэтому в будущем нам необходимо создать такие телеигры, которыми могли бы наслаждаться все члены семьи.
- 13) Основная концепция таких специальных зон сводится к развитию мотивации отважно бросать вызов.

Развитое языковое чутье может остановить от бессмысленного калькирования русского журналиста, который постоянно находится в поле языка. Русский журналист, который 30 лет работает за границей, теряет остроту языкового чутья под влиянием иностранного языка и не может использовать критерий «так говорят». Положение усугубляется тем, что СМИ метрополии, на которые эмигрантские СМИ и русскоязычные зарубежные СМИ ориентируются как на эталон, дают зеленый свет калькированию как явлению. Реальность такова, что практически любое английское слово из бизнес-дискурса и политического дискурса уже переписано с английского образца русскими буквами и встречается в Интернете. Поэтому всякий раз, когда пишущий для Радио Японии начинает сомневаться, имеет ли он право просто слегка русифицировать английское слово, он может найти сотни примеров в Интернете, доказывающих, что его российские собратья по перу уже его опередили⁷.

3. Языковая компетенция эмигрантов третьей волны⁸

Эмигранты третьей волны активно включились в жизнь на японском острове. Они создают эмигрантские общества и активно общаются внутри диаспоры. Виртуальное общение русской диаспоры происходит в форумах и чатах нескольких русских порталов: «Русский клуб в Японии», «Клуб русскоговорящих мам в Японии», «Gaijin⁹ Life»¹⁰, «RC-MIR (Япония)». В адресах русских порталов четко прослеживается деление русской диаспоры на две группы: первый подчеркивает профессиональную самоидентифика-

⁶ На Радио Японии задачей русских сотрудников чаще является только перевод чужого текста с английского языка.

⁷ Радио Японии существует с 1948 года на самой крупной и авторитетной вещательной корпорации NHK. NHK осознается государством как важный инструмент языковой политики, и качеством его языка занимается специальный институт Культуры вещания при NHK. Для контроля качества речи ведущих инновещания NHK предусматривала строгую систему международного мониторинга, при которой специальные внештатные сотрудники в разных странах вели контроль речи в эфире и писали отчеты, строго критикуя и подробно объясняя ошибки ведущих. Последние десять лет, привыкнув к нормативному плуранизму, заимствованиям и полной свободе в средствах выражения в российских СМИ, российские наблюдатели критируют Радио Японии только за плохие условия передачи и волновые сбои.

⁸ Языковой материал, который привлекается для описания некоторых типичных черт языка третьей эмиграции, не тождествен примерам, представленным выше. Язык группы второй волны эмиграции был представлен примерами газетно-публицистического стиля речи, третья волна эмиграции будет представлена примерами разговорной речи.

⁹ Просторечная или разговорная форма слова «иностраник».

¹⁰ <http://gaijin-life.info/forum/index.php>

кацию учредителей клуба: www.yaponist.com, тогда как адрес второго www.yaropota-ma.com.

В Живом Журнале (ЖЖ) есть несколько комьюнити, в которых общаются русские эмигранты: *gu_japan*, *gu_gaijin*, *all_japan*, *fac_da_japan*. Здесь тоже обнаруживается некоторая полярность.

«Занимательная Япония» – так обозначает круг своих тем *all_japan*. «Мы разрушим миф о Японии, и покажем вам эту страну такой, какая она есть на самом деле – без прикрас. И какой мы ее – несмотря ни на что – любим. За убогим официозом лучше обращайтесь в *all_japan*», – так заявляет свою программу комьюнити *fac_da_japan*, обругав между делом комьюнити *all_japan*.

3.1. Русский язык трудовых мигрантов

Так как эта часть диаспоры состоит главным образом из хорошо образованных людей, въехавших в Японию не далее, как десять лет назад, они сохраняют ту довольно высокую языковую компетенцию, которую приобрели до переезда в Японию. В показанных ниже примерах русского языка трудовых мигрантов нет отличий от языка Живого Журнала метрополии. Пренебрежение замедляющими темп печатания запятыми, ошибки. Незнание ли это правил орфографии (в том числе, японской, как в примерах 4 и 6 в слове «*бонсай*»), нарочитые опечатки или случайные ошибки, определить невозможно, так как форма подчинена главному правилу Интернет-общения – правилу высокой скорости мысли и слова. Пишушие пренебрегают даже подсказками программ проверки орфографии, подчеркивающими такие очевидные ошибки, как в примерах 1 и 2. С лексической и стилистической точки зрения языком пользуются по-разному, пишут, в целом, умно, остроумно, талантливо и очень интересно (автор примеров 1–3 назван одним из трех лучших авторов ЖЖ в 2006 году):

- 1) Кроме того, понятно, что и государству выгоднее пускать не всех иностранных рабочих, а только самых умных, сильных, здоровых, самых квалифицированных.
- 2) Формально в Японии это объясняется тем, что иностранцам нужно больше денег из-за больших затрат на начальное накопления имущества в стране, вроде съема жилья.
- 3) То есть от этого закона хорошо совершенно всем, кроме самих иностранцев, конечно, которые, например, закончив японский университет, с удивлением обнаруживают, что большинство работ доступных для их соучеников японцев для них не доступны просто потому, что выпускникам в первый год в Японии обычно принято платить минимальную зарплату, а такую зарплату иностранному гражданину платить нельзя.
- 4) Карате-до, и кекушинкай, дзю-до, дзю-дзюцу, айкидо, сумо, а уж японских школ различных видов единоборств нисесть! ... Долой стереотипы: давно уже нет ни самураев, ни ниндзя, ни настоящих якудза. Дза-дзен для японца – все равно что русскому в присядку сплясать. Свадьбы по церемонии синто дороговаты – предпочитают свечаться на Гавайях. Что осталось? Бансай? Икебана? Рендзю, судоку, караоке и тамагочи... Стивен Спилберг как-то сам признался, что он со всем его Голливудом только жалкое подобие Акиры Кurosавы: «"Расёмон" – испытал катарис...». «Кикуджиро» – дзеновский фильм... А из дешевых подделок упомяну: Тарантиновское пойло для ущербных «Убить Билла», ну и само собой «Последний самурай»!
- 5) Начните со средневековых дневников – Сэй Сёнагон, Мурасаки Сикибу, Митицуна-но Хаха, Басьо.... классические романы – Гендзи Моногатари (Повесть о Гендзи), Уцухо Моногатари (Повесть о дупле)... Опять же – Ихара Сайкаку. А можно и Эйдзи Йосикаву почтать – современные романы на исторические темы. Ну и японские сказки – Нихон-но мукасибанаси.
- 6) Инициативная группа лжеюзеров собралась да и открыла днесь альтернативное комьюнити информационно-публицистического (хе-хе) толку о жизни в Японии

Маме. В этом коммюни티 вы не прочитаете о той Японии, образ которой сформирован в массовом сознании. Вся эта «хай текнолоджи + древние очень прикольные традиции + кимоно + сумо + всякие разные храмы и пагоды + японская каллиграфия + японские палочки + бансай» – это по отношению к НАСТОЯЩЕЙ ЯПОНИИ примерно то же самое, что кремлевский стиль «а ля рюс» (матрешка + блины + водка + хохлома + балалайка + надежда бабкина) по отношению к НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ.

3.2. Японизмы в речи третьей волны эмиграции

Безусловно, в речи эмигрантов встречаются японские заимствования. В примерах (4)–(6) заимствования являются арго японистов или людей, плотно связанных с японским культурным полем, встречаются часто, но оправданы отсутвием эквивалентов в русском языке. В следующем примере (7) рассказывается о тонкостях бракоразводного процесса в Японии с использованием японских слов, обозначающих японские реалии, которые могут быть переведены на русский язык, но не переводятся для придания краткости и четкости изложению:

7) Пять манов ёикухи, ну в лучшем случае тысячу 10 долларов отступных. Если вы получаете только пять манов, то на это и в Москве уже прожить не возможно. Опять же затребовав, но это уже дальше кажется после семейного суда сумму за моральный ущерб и нажитое при этом внезапное дрожание конечностей назвать 100 тыс. долл. (где-то иссенман йен), и их сейчас реально получить можно. Сразу реально через семейный суд прижать его деньгами если он их не отдает, а еще и тратит на какую то. Но сразу доказательство надо дать. Может фотканет их или адрес их совместного проживания даст. Или что у них там вообще. Но так отчетливее катачи будут видны. *Содан есть в каждом куякусё.*

Man – 10 000; *youiкуhi* – алименты; *issenman* – 10 000 000; *katachi* – обстоятельства дела, подробности (в одном из значений); *soudan* – консультация, *kiyakusyou* – районный муниципалитет.

Данный пример из речи представительницы второй подгруппы эмиграции третьей волны – русских жен. Для речи этой группы характерно новое явление в русской эмигрантской речи: широкое использование в русской разговорной речи японских слов, которым можно найти русские соответствия:

- 8) Развожусь со своей *данной*.
- 9) Я не русская, из Азии, такой же *кангаэкаты*, что и Вы.

В японском языке агглютинативное склонение, однако, *danna* («муж») в примере (8) склоняется по русскому типу одушевленных существительных мужского рода с окончанием *-a*, при этом согласуется с притяжательным местоимением как существительное женского рода. Такое употребление, вероятно, носит ироничный или шутливый оттенок, хотя в русском языке подобное сочетание (*«развожусь со своей Серёжей», *«поскорилась со своей дедушкой») трудно придумать даже в шутку. *Kangaekata* (пример (9)) – «образ мыслей», «точка зрения», «взгляды» – легко может быть заменено русским соответствием, его использование в предложении не несет никакой дополнительной семантической нагрузки.

Причин использования японизмов в русской разговорной речи несколько. Среди русских женщин, приезжающих в Японию в последние 10 лет, много молодых и совсем юных девушек. Часть из них закончила только среднюю школу. Другая часть значительно отличается от жен «условно второй волны» качеством и уровнем образования. Многие до присыда в Японию не знали никакого языка, кроме родного русского, приехав в Япо-

нию, учили японский язык сами, а не в школах и институтах, которые в Японии довольно дороги. Домашним языком в их семьях является японский или английский, но не русский, что тоже новое явление. Их мужья знают о России примерно столько же, сколько среднестатистический японец: «в России холодно, и все любят водку». Новые жены посвятили себя мужу и детям, что типично для японок, но нетипично для среды русских жен второй волны, которые получили престижную работу и заняли свое место в активной части японского общества. Эта группа в большей степени, чем две других, использует в повседневной речевой практике почти исключительно разговорный японский язык. Собственно, русский язык, которым пользуется основную часть времени эта часть русской диаспоры, тоже разговорный. Круг общения обширен, но ограничен родственниками, подругами, мамами друзей детей, соседями. Такой круг предполагает определенную «бытовую» тематику общения и словарь, в котором значительную часть составляют элементы разговорной речи и клише женской японской речи:

- 10) Вот точно! На счет *кавай*, сцену такую видела. Стоит рядом с *комбини* мамаша с ребенком лет трех, у парня этого сопли висят... до подбородка Серьезно! Я просто обалдела, когда эти струйки бело-зеленые увидела. Тут из *комбини* выходят три японочки, увидели сопливого и хором как заголосят: *КАВАЙ! КАВАЙ! КАВАЙ!*
- 11) Женщина японка стоит в сторонке и смотрит как ее малыш (потом позже узнала, что ему 1,8 месяцев) сам взбирается на горку, согнувшись на корточки. Один раз чуть не упал, я успела подбежать вовремя. А мамаша как ни в чем не бывало. Стояла и даже бровью не повела. Во думаю *цуметай* мамаша!
- 12) А он у нее такой лучезарный, ну очень *акаруи* ребенок.
- 13) «На счет слова "КАВАЙ".... Не знаю почему, но у меня оно автоматом выходит. Я уже и забыла когда употребляла слово "Хорошенькая"(ий)».

Kawaii, tsumetai, akarui – оценочные прилагательные, широко используемые в японском языке при описании характера или внешности. *Kawai* используется, как правило, для описания внешности в значении «симпатичный, миловидный, хорошеный», при описании характера кого-то или характеристики ситуации – в значении «милый, приятный, славный». *Akarui* переводится как «светлый», сказанное о человеке, означает «живой, жизнерадостный, человек с легким характером, оптимист, веселый, энергичный». *Tsumetai* «холодный» в прямом и переносном значении. *Kawaii* является также одним из ключевых слов и формул японского женского речевого этикета, что приводит к последствиям в речи русских эмигрантов, описанным в примере (13). Употребление прилагательных в примерах (11) и (12) являются кальками – по-русски невозможно сочетание «холодная мамаша», скорее ситуацию можно назвать: «ну и нервы у мамаши железные», вряд ли возможно сочетание «светлый ребенок». В речи встречается и безэквивалентная лексика, как, например, в следующем примере, где *kangaesugi* является японским разговорным выражением, примерно означающим «нафантазировать, чересчур мрачно оценивать ситуацию»:

- 14) Хотя муж считает, что повзрослев детям, особенно пацанам придется тяжело с их нетипичной внешностью. В частности, в плане работы, продвижения по службе и т.п. Но я считаю что это уже *кангае суги*.

Японские слова встраивают в русские синтаксические конструкции, наделяют русскими грамматическими признаками, подчиняют русским моделям согласования и управления, образуют ислогизмы, используя русские словообразовательные модели:

- 15) Потом дети становятся взрослее: разговоры не прекращаются, но переходят в другую плоскость детализирования и акцентирования непохожести наших детей, а значит и непринадлежности к их расе. И потом, у японцев иные каноны красоты, а наши дети пока модны своей «*каваишностью*» и оригинальностью, не более этого. Но действительно красивыми они считают только своих белокожих детишек.

III. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО РУССКО-ЯПОНСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ В РУССКОЙ ДИАСПОРЕ

Всех представителей русской диаспоры объединяет желание учить детей русскому языку или сохранить уже усвоенный до какого-то уровня детьми русский язык, привезенный из России. В образовавшихся в советское время немногочисленных русско-японских семьях многим удавалось учить детей в России, возить за собой в командировки, сохранить русский язык как домашний. Некоторым эмигрантам «условно второй волны» не удалось научить детей русскому, они общаются с ними по-английски и по-японски. Трудовые мигранты третьей волны эмиграции относятся к сохранению языка как к обязательному элементу образования ребенка. Кто-то планирует возвращение на родину и задумывается о продолжении образования ребенка в России. (Такие родители стараются посещать русский экстернат при посольской школе, о котором речь ниже, чтобы обеспечить ребенку русский аттестат.) Кто-то руководствуется уже упомянутыми общими интеллигентскими соображениями. «Выросло количество детей от международных браков, и, как вы можете догадаться, находясь в японском окружении, они практически не могут говорить по-русски. Нас это всех очень волнует, и поэтому недавно при клубе мы открыли учебно-развивающий центр "Теремок". Преподаватели с педагогическим опытом играют с детьми, ставят спектакли», – пишет в приветственном слове на главной странице сайта «Русского клуба в Японии» президент клуба, его организатор и вдохновитель – выпускник МИФИ и Токийского университета, русский муж японской жены и отец двоих сыновей, для которых необходим «Теремок», Михаил Можжечков.

Во второй подгруппе эмиграции третьей волны (подгруппе русских жен) случается иное отношение к русскому языку. Если еще десять лет назад нельзя было встретить русскую мать, разговаривающую со своим ребенком по-японски, то сейчас эти сцены нередки. Русские мамы ведут с детьми бытовые разговоры, используя элементарную лексику, которую любой ребенок без труда может усвоить на языке матери при наличии материнского желания и установки на безусловную необходимость обучения. В «Клубе русскоговорящих мам Японии» зарегистрировано 392 мамы, приехавших из самых разных пунктов России, СНГ и стран бывшего СССР в самые разные пункты Японии. О молодости сайта, его участниц или по крайней мере их детей свидетельствует отсутствие среди тем обсуждений школьного образования и большое количество советов молодым мамам. Одной из тем форума является проблема детского двуязычия, где нередки сетования на то, что дети говорят только по-японски. «У меня только по русски не получается, иногда при японцах приходится говорить по русски (очевидно, имеется в виду: «по-японски». – *H.-T.*), даже довольно часто. Например, если она что-то плохое делает, я говорю по японски, что бы окружающие поняли, что я ее поведение не одобряю». «По-русски не бельмеса, моя вина, каюсь». Есть и такое мнение: «А зачем ему русский, он в Россию никогда не вернется».

Обучить детей русскому языку в Японии или сохранить уже имеющийся у ребенка, приехавшего из России жить в Японию, русский язык на хорошем уровне – задача не из легких. Как правило, мало кто из родителей решается полностью пренебречь японской школой, совмещение же полноценной учебы в японской школе с более или менее систематическим занятиями русским языком – большая нагрузка для ребенка. Японская система образования с точки зрения динамики интенсивности построена зеркально противоположно российской: нагрузки в школе больше, чем у студентов. Кроме того, если российский школьник может определиться с выбором университета в старших классах школы, то японский школьник должен сделать это уже в начальной школе. Если российский школьник для поступления в МГУ может мобилизовать свои силы в 16–17 лет, то для японского поступление в ТУ¹¹ требует мобилизации сил уже в 11–12 для сдачи четырех экзаменов и прохождения собеседования в одну из лучших гимназий. Поэтому для закладывания русского языка у русских родителей в Японии крайне мало времени –

¹¹ Токийский университет, один из самых престижных и трудных для поступления.

надо успеть привить любовь к чтению русских книжек, пока у детей есть еще время на что-то, кроме учебы в школе и на подготовительных курсах.

Для разных иностранных диаспор в Японии существуют школы (американские, британская, канадские, немецкая, французская, пять китайских, одна из них существует с 1897 года), тогда как у русской общины школа только одна – школа при российском посольстве. Школа охотно принимает детей не посольских работников. Есть родители, отдающие туда детей временно в начальные классы. Дети, посещающие японскую школу, но старающиеся учить русский, могут посещать экстернат по субботам два раза в месяц, но эта система не очень эффективна для полноценного изучения языка. Поэтому попытки обучить ребенка русскому языку носят домашний характер, а также реализуются при помощи приезжающих в гости дедушек/бабушек и поездок с детьми в Россию на каникулы. Следует заметить, что Япония – страна, в которую трудно ввезти бабушек и дедушек для постоянного проживания, поэтому рассчитывать на их постоянную помощь в вопросе обучения языку не приходится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние двадцать лет число проживающих в Японии русских достигло 10000. В русской диаспоре остается незначительное число потомков первой волны эмиграции, небольшая часть представителей эмиграции «условно второй волны», лицо же диаспоры определяет ее большая, молодая, активная часть – эмигранты третьей волны.

Отношение к русскому языку, уровень языковой компетенции, степень желания передать русский язык своим детям различны у представителей разных волн эмиграции и обусловлены особенностями социального характера: уровнем образования, воспитанием, социальным статусом эмигрантов. В статье были выделены некоторые типичные черты языка русской диаспоры. Язык представителей второй волны эмиграции демонстрировали примеры газетно-публицистического стиля речи. Язык третьей волны эмиграции представлен примерами разговорной речи. Несмотря на неоднородность анализируемого материала, возможны параллели и обобщения. Общим является использование заимствований. Для образцов публичной речи представителей второй волны эмиграции характерны американцы, в русской разговорной речи новых эмигрантов возникло большое количество японских слов – явление, которое не отмечается в разговорной речи представителей старших волн. Есть и различия. Если в речи эмигрантов второй волны встречаются неточное употребление слов и нарушение лексической сочетаемости слов как результат воздействия на языковую компетенцию со стороны иностранных языков, то языковая компетенция представителей третьей волны эмиграции пока не испытывает на себе такого воздействия. Так как диаспора состоит главным образом из людей, въехавших в Японию не далее, как десять лет назад, она пока сохраняет ту языковую компетенцию, которую приобрела до переезда в Японию. Однако можно прогнозировать движение в сторону нарушения ее с течением времени. Время покажет, какие участки русского языка молодой части русской диаспоры окажутся наиболее неустойчивыми.

Русских эмигрантов в Японии волнуют те же проблемы, которые знакомы эмигрантам разных стран: проблема сохранения языка детей, которые приехали сюда из России, проблема обучения языку детей, родившихся и живущих в Японии. Так как русская эмиграция третьей волны появилась в Японии сравнительно недавно, проблемы менее остры. Пока дети маленькие, не так остро стоит проблема их обучения русскому языку. Детский двуязычный или даже многоязычный лепест пока радует родителей, по речи подростков можно будет определить, в каком объеме им удалось выучить или сохранить язык.

В японской истории русской эмиграции за приливами следовали отливы (прилив в 1918 – отлив в 1930, прилив в начале 40-х – отлив в конце 50-х). Эмигранты первой волны оказались заброшенными в Японию революцией. Для эмигрантов второй волны привычен кочевой образ жизни, и длительное пребывание в Японии носит во многом

временный и случайный характер. Третья волна эмиграции прибыла надолго. Во все еще непростой для эмигрантов стране, где профессиональный успех невозможен без знания японского языка, наши соотечественники учатся, получают японские дипломы, живут, работают, женятся, рожают детей, учат их в японских школах и в университетах. Прочно укореняются в Японии русские жены третьей волны эмиграции, не планируя возвращение или переезд. В сторону большего расположения к иностранцам меняется и Япония, недавно вступившая в демографический кризис. Очевидно, некоторое время высокие японские зарплаты будут привлекать россиян, диаспора будет расширяться, и, вполне возможно, за третьим приливом не последует отлива. Следовательно, русский язык будет жить в окружении японского, испытывая влияние, которое будет фиксироваться, изучаться лингвистами. И описание и изучение языка русской диаспоры в Японии, начатое в этой статье, получит продолжение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виноградов 2004 – *К. Виноградов*. На берег выброшен грозою // Русский журнал о Японии. 05.07.2004 // www.japon.ru.
- Гловинская 2004 – *М.Я. Гловинская*. Общие типы изменений в языке первого поколения эмиграции / А. Мустайоки, Е. Протасова (ред.). Русскоязычный человек в иноязычном окружении // *Slavica Helsingiensia*. 2004. № 24.
- Дневники 2004 – Дневники святого Николая Японского: В 5 т. Т. 1. СПб., 2004.
- Пфандль 1994 – *Х. Пфандль*. Русскоязычный эмигрант третьей и четвертой волн: несколько размышлений // Русский язык за рубежом. 1994. № 5–6.
- Саблина 2006 – *Э.Б. Саблина*. 150 лет Православия в Японии: История Японской Православной Церкви и ее основатель Святитель Николай. М.; СПб., 2006.
- <http://gaijin-life.com/sakura/viewforum.php?f=10>
- <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2006/html/framefiles/zuhyo.html>
- <http://www.stat.go.jp/data/sekai/02.htm>
- Итоги переписи населения 1995 года – <http://www.stat.go.jp/data/kokusei/1995/17.htm>
- <http://www.jnto.go.jp> – сайт ЯНОТ – Японской национальной организации по туризму
- Японское статистическое агентство – <http://www.stat.go.jp/data/nihon/index.htm>
- Клуб русскоговорящих мам в Японии – www.yaponomama.com
- Русский клуб в Японии – www.yaponist.com
- Наганава 1989 – *Mitsuo Naganava*. Nikolai-do-no hitobito – Nihon kindaishi-no naka-no Roshia seikyokai. Tokyo, 1989.
- Накamura 1996 – *Kennousuke Nakamura*. Senkyosi Nikorai to Meiji Nihon. Tokyo, 1996.

© 2009 г. Р. РАТМАЙР

«НОВАЯ РУССКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ» – МОДА ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА ИЛИ КОРЕННОЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ?

На основе специальной анкеты автор провел работу с российскими информантами с целью выяснить следующие вопросы: 1) заметил ли собеседник изменения в области вежливости?; 2) как он/она оценивает эти изменения эмоционально?; 3) как он/она объясняет изменения в области вежливости общения; каково происхождение такой вежливости?; 4) распространяется ли такая вежливость на другие сферы общения? Результаты анкетирования рассматриваются и интерпретируются в статье.

1. ВВЕДЕНИЕ

В середине первого десятилетия XXI века на улицах Москвы и других больших городов Российской Федерации появились надписи с формулами вежливости типа *Приносим извинения за неудобства в связи с ведением строительных работ*. В магазинах наряду с невежливо-грубоватым тоном в соответствии со старой советской традицией встречаются новые формы поведения обслуживающего персонала: *Чем могу Вам помочь?: Спасибо за покупку*. Такие употребления формул просьбы, благодарности, извинения, предложения помочи условно можно назвать «новой русской вежливостью».

Языковая вежливость – одна из центральных категорий лингвистической прагматики и, безусловно, относится к уровню отношений между партнерами коммуникации. Она, по словам Е.А. Земской, «распространяется преимущественно на отношения «говорящий – адресат»» [Земская 1997: 277]. Вежливость – явление «градуированное», или «шкалированное» (ср. [Земская 1997: 280])¹: о вежливости говорится, когда при стилистическом выборе между разными формулировками выбирается та, которая в большей степени учитывает адресата и выражает уважение по отношению к нему². Тем не менее, в литературе вежливость некоторыми авторами связывается с параметрами экономики. Например К. Веркгофер [Werkhofer 1992] рассматривает вежливость как аналог деньгам. Речь идет о вежливости как о социальной конструкции, как о лингвистическом ресурсе, который применяется в практике дискурса (общения) в любых социальных ситуациях. Отсюда и постоянное изменение и развитие вежливости, вернее того, что рассматривается как вежливое поведение (ср. [Watts 2003: 143–144]). В последние годы в западной лингвистике стали рассматривать вежливость как маркированную разновидность адекватного речевого поведения в конкретной коммуникативной ситуации. Согласно этой концепции, вежливость участвует в так называемой «работе по улучшению отношений» (relational work, Beziehungsarbeit; см., например [Locher, Watts 2005]). В рамках этой теории отрицательно маркированы не только отсутствие вежливости, но и слишком высокая степень вежливости.

Пути достижения большей степени вежливости различаются не только в зависимости от ситуативных и социальных параметров, но и от этнокультуры в целом [Ларина 2003: 14–30]. «Западная вежливость» в смысле искусства урегулирования [Czerwinski

¹ Шкалу более и менее вежливых способов выражения директивных и комиссивных речевых актов приводит, например, Бергер [Berger 1996: 17 и сл.].

² Ср. известное речение: «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость».

1899: 181–191] или же стратегии сдерживания чувств [Elias 1976, 1: 277 и сл.] не характерна на русской почве. Менее сдержанное поведение, характерное для русских, которое оценивалось в Западной Европе негативно, привело к тому, что еще в XVII–XVIII веках русских вообще воспринимали как людей невоспитанных. Петр I осознал эту связь между внешним поведением и престижем и ускорил «европеизацию» манер с помощью политики пропаганды, перевода книг по правилам поведения и введения строгих мер по установлению дисциплины (ср. [ЖСДД 1890]).

Мы исходим из гипотезы, что новая вежливость XXI века имеет свои истоки в области экономики, где были введены рыночные условия. Процесс диффузии, или распространения можно представить следующим образом. Приход в начале 1990-х гг. западных фирм на российский рынок сопровождался открытием их представительств в Российской Федерации. Соответственно, экспорттировался и корпоративный стиль поведения, принятый в центральных офисах этих фирм в Западной Европе или в Америке. В то время как большинство сотрудников местных представительств были россиянами, высший уровень менеджмента составляли иностранцы. С позиции «начальника» они и определяли нормы поведения и задавали определенный стиль общения. Так, например, руководители сетевых магазинов строго требуют соблюдения стандартизованных форм вежливости обслуживающим персоналом. Это явление не изолировано. Сюда можно отнести и постепенное исчезновение из употребления отчества в ряде ситуаций, особенно у поколения до 40 лет [Земская 1997: 289; Кронгауз 2004: 184; Формановская 2004], появление нового этикета обращения, приветствия и прощания [Кронгауз 2004: 175 и сл.] и попытку ввести обычай «keep smiling», что является существенным компонентом вежливости в немецко- и англоязычных, а также романских странах³. Эти явления сопровождаются рядом других феноменов. В качестве наглядного примера можно указать на новый опыт общения многих россиян с обслуживающим персоналом, накопленный в зарубежных поездках. СМИ, особенно западные сериалы, – нравятся ли они нам или нет – действуют в этом же направлении. Количество приезжающих в РФ иностранцев и русских, живущих за рубежом, также увеличилось, и шок, вызванный у них невежливым поведением обслуживающего персонала, также способствовал формированию навыков вежливого поведения в целом ряде ситуаций. Данный процесс можно описать с помощью следующей модели:

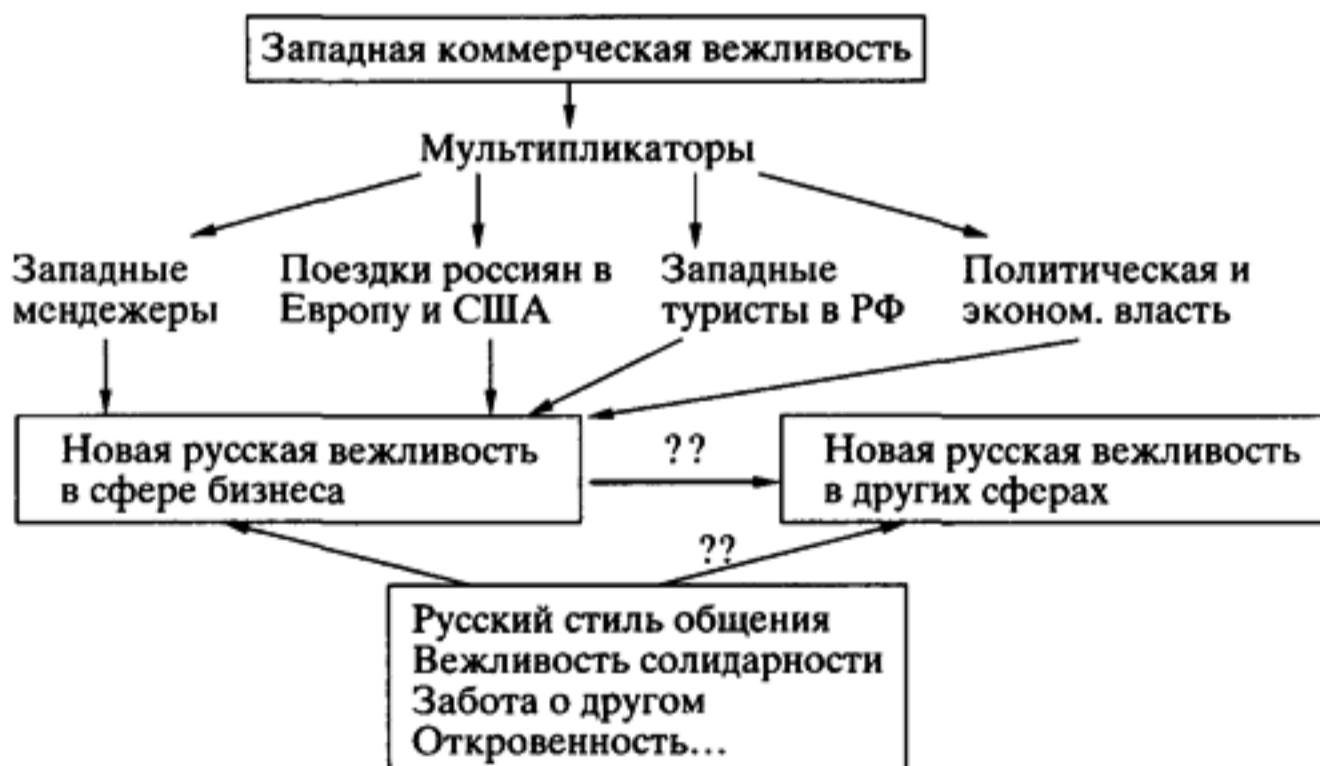


Рис. 1. Развитие русской вежливости

³ В российской культуре советского периода, как и в период монархии, осуждалась улыбка при выполнении служебных обязанностей [Стернин 1992:154 и сл.], да и на сегодняшний день «улыбка в русском общении не является сигналом вежливости» [Прохоров, Стернин 2006: 145 и сл.].

В настоящей статье исследуется вопрос, является ли новая русская вежливость краткосрочной модой делового этикета или началом коренного прагматического изменения, то есть изменением употребления языка, охватывающим разные сферы общения. Для этого потребовалось исследовать сущность и распространение этого феномена, его оценку и интерпретацию носителями языка. В статье применяется эмпирический метод анализа, включающий сбор фактического материала, квализитативные интервью и квантитативный опрос. В рамках многократных визитов в Москву и другие города РФ был собран материал в высших учебных заведениях, на улицах, в гостиницах, в магазинах, у друзей. Для ознакомления с оценкой изменений в области вежливого общения носителями языка в феврале 2006 г. нами был проведен ряд квализитативных интервью [Flick 1995]⁴. Эти интервью не являются репрезентативными, но, тем не менее, отражают весьма разнообразные оценки феномена новой вежливости. В частности, беседы проводились с 17 носителями русского языка, большинство из которых (14) имели лингвистическое образование, что гарантирует высокую степень чувствительности к изменениям в области речевой деятельности (*language awareness*). 9 собеседников – москвичи, остальные из крупных городов (Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, Саратов)⁵.

В инициальной реплике интервьюер (автор), ссылаясь на надписи типа *Господа! Уважайте труд уборщиц!*; *Уважаемые гости! Принесим извинения...;* *Извините, у нас учет* и вежливые формулы продавщиц в магазинах, поставил вопрос, заметил ли информант такие феномены. Дальше разговор развивался достаточно свободно и по-разному, но в фокусе интервью стояли следующие вопросы:

- Заметил ли собеседник изменения в области вежливости общения?
- Как он/она оценивает эти изменения эмоционально? (приятно ли, если с ним/с ней так общаются?)
- Как он/она интерпретирует изменения в области вежливости общения, откуда они появились по его/ее мнению?
- Распространяется ли такая вежливость на другие сферы общения?

Был проведен содержательный анализ высказываний и ответов реципиентов на указанные выше вопросы. Высказывания опрошенных собирались в тематические группы⁶, и комментировались с учетом позиций, представленных в научной литературе. Отрывки из интервью и анкет в настоящей статье даются курсивом без кавычек и цитируются либо в тексте, либо в конце соответствующего раздела. Цитаты из научной литературы поставлены в кавычки.

С целью установления репрезентативности высказанных в квализитативных интервью мнений на базе основных утверждений была создана анкета, которую заполнили около 300 представителей разных возрастных и социальных групп населения в основном Москвы (точный состав выборки см. приложение 1). Результаты анализа интервью и анкет приводятся по приведенным выше центральным вопросам интервью.

2. СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ РУССКОЙ ВЕЖЛИВОСТИ

Новые формы вежливости относятся преимущественно к формальной вежливости, то есть к употреблению определенных формул этикета [Формановская 1989]. Они встречаются в первую очередь в сфере бизнеса⁷. С переходом к рыночной экономике,

⁴ В частности был применен метод фокусированного на одну центральную проблему интервью (*problemzentriertes Interview*: см. [Mey 2000: 140 и сл.]).

⁵ Автор выражает большую благодарность всем участникам интервью за их доверие и готовность к беседе.

⁶ Сходные методы используются в работах по контент-анализу (см. [Titscher et al. 1998: 74 и сл.]).

⁷ Для этого были собраны первые примеры уже в 1994 г. Так, например, в универсаме на Новом Арбате у неработающего эскалатора висела табличка «Вход на эскалатор категорически запрещается», которую продавщица прокомментировала следующим образом: *Надо написать «Эскалатор не работает, извините».* Но надпись старая, еще с советской эпохи [Ратмайр 2003: 13].

прежде всего в фирменных сетевых магазинах стали требовать применения со стороны обслуживающего персонала стратегий вежливости. Продавцы приветствуют клиентов и прощаются с ними, спрашивают *Чем могу Вам помочь?*, благодарят за покупку *Спасибо за покупку, приходите к нам еще!* и т.п. В определенных сетевых магазинах Москвы и других больших городов действует свой обязательный корпоративный этикет, предписывающий употребление вежливых формул [Кронгауз 2004: 176]. Прохоров и Стернин тоже констатируют, что в сфере сервиса заметно повысилась вежливость, «хотя и не в такой степени, в какой это необходимо для успеха рыночной деятельности» [Прохоров, Стернин 2006: 197]. Как говорили собеседники в интервью, продавцов, которые отказываются применять требуемые от них формы вежливости, увольняют или же – как случилось, например, в Волгограде – магазины, в которых работают такие продавцы, закрываются.

Обслуживающий персонал в транспорте, как и в магазинах, стал применять формулы вежливости. Они употребляются также по телефону, в некоторых медицинских учреждениях, в фитнес-клубах и т. п. «Коммерческая вежливость» развивается не спонтанно, а стала предметом обучения обслуживающего персонала и корпоративной культуры частных фирм вообще [Прохоров, Стернин 2006; пример 1].

Все без исключения собеседники в интервью 2006 г. заметили изменения в области вежливости общения. Примеры из интервью располагаются в зависимости от характера ответа информанта: от утверждений о сильных изменениях в сфере вежливости к утверждениям о слабых изменениях в этой сфере или даже о полном их отсутствии.

(1) «*Что вот / в нашей фирме принято / у нас есть такие правила / мы всех приглашаем садиться / мы всем говорим спасибо! <...> это иногда неуклюже получается / еще не очень так умеют / но вот ... стараются / так сказать / ввести вот эти вот правила / это такие небольшие средние фирмы! <...> и здесь я бы сказал / что это внешняя форма / которая пришла <...> из цивилизованной торговли / прежде всего / из цивилизованного офиса//»⁸*

2.1. Повышение вежливости в сфере обслуживания

Собеседники по-разному локализируют повышение степени вежливости: одни его видят только в определенных дорогих магазинах типа «бутик» или западных сетевых магазинах, другие видят изменения в сфере обслуживания вообще, начиная от обувных мастерских и до фитнес-клубов и санаториев. Любопытно рассуждение одной из опрошенных, которая удивляется вежливости слесаря и приходит к выводу, что, скорее всего, он инженер на пенсии (пример 2). Это подтверждает связь в русском языковом сознании вежливости с образованием⁹. Напомним также, что русское слово «вежливость» содержит корень «ведать» («знать, узнавать»: см. [Фасмер 1987, 3: 54]). Интересно на-

⁸ Цитаты из интервью приводятся в обычной для расшифровки записей устной спонтанной речи форме, то есть без изменений и стилистической правки. Реактивные реплики интервьюера опускаются, эти и другие опущения обозначаются знаком пропуска фрагмента <...>.

⁹ В проведенных в начале 1990-х гг. интервью о вежливости, вежливых людях и воспитании вежливости [Ратмайр 2003] вежливый человек с уважением относится к окружающим и обладает следующими качествами: «предупредительный, спокойный, уравновешенный, учтивый, культурный, обходительный, внимательный, доброжелательный, любезный, воспитанный, сдержанный, готовый признать свою вину, не грубый, не хам, не грубиян, оптимист, всегда отвечает на письма, готов много раз слушать одно и то же». В качестве особенно важного признака вежливого человека все информанты назвали вежливую речь. Идея компонента морали, входящая в русский концепт вежливость, отражена и в толковом словаре по этике [Кон 1981: 3], в котором вежливость определяется как моральное качество, отличающее человека, для которого уважительное отношение к окружающим стало привычной нормой повседневного поведения.

блюдение, что изменения общения в магазинах касаются также и клиентов, которые уже начинают ожидать от продавщиц определенных формул и готовы на них так же вежливо реагировать (пример 3). Тут можно найти параллель в социальной теории вежливости Воттса [Watts 2003], который определяет ожидаемую вежливость как политически корректное, уместное языковое поведение (ср. также [Locher, Watts 2005]). Очевидно, в области форм общения обслуживающего персонала по отношению к клиентам началось развитие в направлении, которое можно назвать и изменением прагматической нормы. Можно предположить, что вежливость обслуживающего персонала, к которой взывал уже сборник 1962-го года [Строгов 1962]¹⁰ наконец-то распространяется и в реальной практике купли-продажи.

Одна собеседница говорила об идеальной на сегодняшний день форме русской вежливости, (пример 4) которая уже существует и встречается не в дорогих бутиках, а в маленьких недорогих магазинах. Она совмещает западную вежливость с *русской милой теплотой общения*, с типично русской заинтересованностью в другом человеке. В этой интерпретации западная вежливость, предполагающая соблюдение дистанции [Rathmayr 1996], или «негативная вежливость», в терминологии П. Брауна и С. Левинсона [Brown, Levinson 1987], совмещается с русской культурой «вмешательства», в которой заботиться об окружающих и помогать им такая же норма, как поучать и критиковать их (ср. [Ратмайр 2003: 26])¹¹.

Указания в интервью подтверждаются квантитативным анализом. Из опрошенных анкетой 70% считают, что продавцы в магазинах вообще стали более вежливыми, а на вопрос о вежливости обслуживающего персонала в бутиках и дорогих магазинах даже 83% ответили, что продавцы обычно вежливы в обращении с покупателями.

(2) *Нет / конечно... вежливость это... в сфере обслуживания / да / там она спускается в более такие глубокие сферы / в повседневные сферы// Да / она спускается / но / опять же я не уверена / что также вежлив будет со мной слесарь <...> да / стекольщик / уборщица там в подъезде// Хотя вот вчера... нет позавчера приходил к нам слесарь-сантехник там по поводу батареи / очень вежлив был / но / мне кажется / что это инженер / который на пенсии / у меня такое впечатление//*

(3) *народ уже к этому тоже привык / раньше же все / так сказать / шарахались... как всегда / «оставьте меня в покое / я сам разберусь (нрзб.)» вот / а сейчас уже вот смотришь по народу / уже совершенно спокойно реагируют и уже сами стали обращаться к продавцам за такой помощью / но это имеются в виду большие магазины / прежде всего//*

(4) *...мне кажется / что сейчас еще мы имеем такой любопытный феномен совмещения уже новых типов вежливости с таким / ну / скажем так / русской... ну / не то / что русской / но часто свойственной русским людям заинтересованности в <...> другом человеке / в своем собеседнике// <...> поэтому иногда сохраняется такая милая теплота общения / вот если говорить об этом / то / с одной стороны / ты тепло общаясь с продавцом / но / с другой стороны / он с тобой уже общается вежливо и не пытается тебе навязать что-то// Такие <...> своеобразные соединения вежливости <...> Так бывает / например / на каких-то ярмарках / где это совершенно не бутики и совершенно не такие официальные / не пафосные места / но уже продавцы / особенно / если они знают / что ты у них часто покупаешь / вот / они соединяют вот отношение к клиенту / который там прав / к которому нужно относиться вежливо / которого надо благодарить / с этим элементом такого ненавязчивого там совета / и вот*

¹⁰ Уже тогда рекомендовалось, например, употребление вежливой формулы: *Пожалуйста, что вам угодно*, которая в ранний советский период рассматривалась как буржуазное отступление от социалистической нормы поведения ([Строгов 1962: 5–18], ср. [Kelly 2001: 333–334]).

¹¹ Келли [Kelly 2001: 325–326], опираясь на Воробец [Worobec 1991: 14–15], интерпретирует данное явление русской культуры как реликт крестьянской культуры.

/ то есть уже выстраиваются такие отношения / ну такие / ну скажем / почти как / ну / полусемейные – вот с теми продавцами / у которых много покупаешь / и это / скажем так / не происходит как некоторое насилие / потому что вот традиционно в русской культуре бывает вот давать советы... «Страна Советов»/ мы шутили / да?

2.2. Повышение вежливости в общественном транспорте

В общественном транспорте обслуживающий персонал также стал применять формулы вежливости. Так, одна информантка указала на бесконечные формулы извинения, употребляемые проводниками в поездах дальнего следования, которые ей даже действовали на нервы (пример 5). Повышение вежливости наблюдается также на невербальном уровне. Информанты отмечают, что в Москве автомобилисты стали иногда тормозить перед переходом, пропуская пешеходов.

Проведенные М.В. Китайгородской и И.Н. Розановой записи 223 случаев обращений пассажиров к водителю маршрутных такси показали два основных жанровых варианта: с препозицией пространственного указателя (*У метро остановите*) – 45.6% и с нулевым глаголом (*У метро*) – 36.8%. Приблизительно в 70% случаев пассажиры при обращении к водителю избирают более мягкий вариант прескрипции, то есть, употребляют слова типа *пожалуйста, будьте добры* [Китайгородская, Розанова 2006]. Речевое поведение шоферов и водителей общественного транспорта, однако, мало изменилось, о чем однозначно свидетельствует квантитативный опрос. Только 14% из респондентов на анкету считают, что водители, кондукторы и контролеры в общественном транспорте стали более вежливыми, а 67% уверены в том, что этого нет (вопрос 3), большую вежливость проводников в поездах дальнего следования констатируют 38%, а отрицают только 21% (42% не могли ответить на этот вопрос; вопрос 4). Другими словами, в общественном транспорте более вежливыми стал обслуживающий персонал в поездах дальнего следования, но не в городском транспорте.

(5) *Извините / не хотите ли вы чаю?; Извините / нравится ли вам у нас сегодня?; Извините / не хотите ли вы пообедать?; Извините / знаете ли вы / что сейчас остановка длится столько-то...; Извините / туалет не работает / поскольку – санитарная зона...*

2.3. Повышение вежливости в общении по телефону

Русская традиция отвечать по телефону словами *я слушаю или алло* с начала 1990-х гг. в некоторых учреждениях и магазинах, особенно частных, заменяется новыми формулами реакций на звонок: служащие здороваются, представляются и спрашивают, чем могут быть полезными. Один из информантов, подтверждая эту практику, указывал на то, что длительная переадресовка, тем не менее, раздражает (пример 6).

Квантитативный опрос подтверждает эти наблюдения: 70% опрошенных наблюдают повышение вежливости телефонного общения сотрудников различных учреждений, офисов или магазинов, а только 16% не заметили такого изменения (вопрос 5).

(6) *И когда уже тебе да ... или скажут очень вежливо / но нужно ждать при этом там десять минут / ты бросишь трубку / но при этом вот / когда звонишь вот в такие организации / сейчас это действительно достаточно вежливо идет телефонное общение//*

2.4. Повышение вежливости публичных объявлений и предупреждений

Изменению общения в сфере обслуживания соответствует изменение официального этикета, выраженного, например, в стиле публичных объявлений о временном закры-

тии магазинов или проходов, типа *Приносим извинения за неудобства в связи с ведением строительных работ* (см. выше) или *Объявление: Альбом к выставке вы можете приобрести в основном здании по адресу <...> Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.* Не менее вежливо сформулированы иногда публичные письменные или устные предупреждения типа *Осторожно, там ступенька!, Уберите, пожалуйста, машину <...> могут упасть сосульки!* Изменение официального этикета такого типа иногда связывается с заинтересованностью в адресате (пример 8). Это свидетельствует об определенной степени введения рыночной рациональности в дискурс: стратегии общения становятся одним из инструментов достижения экономического успеха.

Квантитативный опрос дал менее однозначный результат: только 36% считают, что объявления на улицах стали более вежливыми, а 31% отрицают такое явление (вопрос 8). Может быть, этот результат вызван разной степенью внимания к микротекстам улицы: повышенным вниманием лингвистов, которые представляли большинство партнеров в интервью, сниженным вниманием людей без лингвистической подготовки.

(7) «*Пожалуйста / проходите в сторону / там снег счищают с крыши! / это могут сказать работники непосредственно университета. Раньше говорили: «Осторожно / снег! / а сейчас говорят: «Отойдите / пожалуйста / в сторону / идет снег!» / <...> люди / которые работают на университет и получают как бы деньги за свой труд / по отношению к студентам университета становятся более вежливыми!*»

(8) *A вот в официальной ситуации – да / в официальной ситуации формы вежливости увеличиваются / особенно / когда проявляется заинтересованность в тех людях / которые в эти учреждения приходят//*

2.5. Повышение вежливости не или почти не наблюдается

Некоторые информанты заметили изменения только в дорогих сетевых магазинах, а в «обычных» считают, что все осталось так, как было (пример 9). Одна из информанток при этом жаловалась на то, что в этих дорогих магазинах, где применяется новая вежливость, проводится как бы фейс-контроль входящих. То есть, вежливость становится избирательной, что в свою очередь, осуждается (пример 10). В общественном транспорте был зарегистрирован даже спад неверbalной вежливости молодых пассажиров по отношению к старшим: распространенная в советское время норма уступать им места исчезла. В этом некоторые информанты видят *вседозволенность* и даже *падение культуры и нравственности*.

В квантитативном опросе фокусировались разные сферы общения, что дало следующий результат: не наблюдается повышения вежливости в магазинах 22% респондентов, 67% констатируют отсутствие повышения вежливости в сфере общественного транспорта, 21% в поездах дальнего следования. В общении по телефону 16% не видят повышения вежливости, а 31% респондентов не заметили повышения вежливости в объявлениях на улице. Это говорит о том, что, согласно мнению опрошенных, сфера общественного транспорта меньше всего затронута новой вежливостью.

(9) *в обычных магазинах/ <...> я не могу сказать / что сильно изменилось / все-таки вот / осталось / на мой взгляд / так же//*

(10) *у нас теперь есть, например, магазины французские, там <...> когда вы входите, вас оглядывают с ног до головы, смотрят, соответствуете вы этому магазину, <...> зачем вы сюда пришли, из любопытства или покупать? Конечно, вам там никто не нахамит никогда в жизни.*

3. ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОВОЙ ФОРМЫ ВЕЖЛИВОСТИ НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА

Независимо от более или менее вежливой вербальной «упаковки» результат бывает одним и тем же – магазин или проход все равно закрыт, а купленный товар не становится

ся ни дешевле, ни лучшего качества. Тем не менее, надписи, включающие объяснения и извинения, западному наблюдателю кажутся более приятными, чем привычные в советское время таблицы с надписью *Закрыт на учет* [Rathmayr 1989; 1990] и грубость продавщиц¹². Адресанты видят, что авторы объявления хотели бы смягчить недовольство потенциального клиента, обманутого в своих ожиданиях. Они выражают ему сочувствие и сообщают, что сами эти ожидания были вполне правомерны. Покупка продукта у вежливого продавца за одни и те же деньги западным покупателем воспринимается соответственно как более приятное событие, чем покупка у невежливого продавца. Нас интересует вопрос, как на это смотрят носители русского языка, привыкшие за долгие годы советской власти к достаточно грубому стилю общения, в особенности в ситуации купли-продажи. В проведенных интервью многие собеседники подчеркивали, что новые формы общения их вначале шокировали, потому что их считали заимствованными. Тем не менее, мы видели (см. выше), что сейчас многих уже шокирует грубость.

3.1. Эмоциональная оценка изменений в области вежливости

В интервью был поставлен вопрос о том, приятно ли собеседнику, если с ним общаются более вежливо, употребляя формулы просьбы, благодарности, извинения и т.п. Ответы можно объединить в несколько, частично пересекающихся групп, последовательно располагающихся между полюсами положительной и отрицательной оценки. При этом западного наблюдателя удивляет, что не все собеседники единогласно одобряют повышение вежливости общения.

3.1.1. Новая вежливость приветствуется как приятное явление

Примерно половине собеседников в интервью повышение вежливости приятно, они чувствуют в нем своего рода индивидуализацию, знак уважения к индивидууму и гуманность, потому что мы не лишние (примеры 11–13). Такая оценка вербализирует теорию вежливости авторов типа Лакоффа, которая сформулировала постулат вежливости: «сделай так, чтобы адресат чувствовал себя хорошо» [Lakoff 1973]. Некоторые собеседники подчеркивают, что повышенная вежливость пока еще не норма, а замечается как что-то еще ненормальное.

Положительную оценку вежливости разделяют 90% из опрошенных, среди которых доля возрастной группы от 16 до 25 лет составила 47% опрошенных (141 человек). Только 4% ответили, что им безразлично, общаются ли с ними вежливо или нет. Это в абсолютных цифрах 12 человек, 7 женского, 5 мужского пола. Из них 5 принадлежат к возрастной группе 16–25 и 36–50, двум женщинам больше 50, одному мужчине меньше 15. А 90% утверждает, что им приятны вежливые формы общения, когда спрашивают, чем могут помочь, благодарят за покупку и извиняются за неудобства. В возрастной группе 16–25-летних эта доля еще выше: только 4 информанта (по два женского и мужского пола) ответили, что им безразлична вежливость обслуживающего персонала, всем остальным она приятна. Видимо, более критическая оценка категории вежливости у части партнеров по интервью связана с тем, что они в основном представляют поколение старше 36 лет.

(11) *Нет / это <...> было приятно / но понимаете / когда это отмечаешь, как что-то необычное / это значит / что оно отличается от стандарта ...// Да / конечно// Это приятно и это я пока что замечаю//*

¹² Ср. и примеры сознательного скрытия «общефоновой» информации работниками обслуживания в советское время путем переспросов вместо ответов на вопросы клиентов: – *А где я могу взять требования? – А там нет?...* [Николаева 2006: 10]. Аналогичные примеры приводит [Земская 1994: 134]: – *Молоко, пожалуйста! – А где молоко-то?*

- (12) *Во-первых / сначала люди удивлялись / удивляются / вот / потом им это нравится//*
(13) *В целом / в целом надо сказать / что такая гуманность и в этикете / и в общении все-таки довольно сильно заметна / скажем так//*

3.1.2. В советское время привычная грубость сейчас шокирует

Опыт некоторых информантов, как и мой личный опыт, свидетельствуют о том, что наряду с новой вежливостью продолжают существовать традиционная с советских времен невежливость, а иногда даже грубость обслуживающего персонала, особенно в ситуации очереди. Но отсутствие формул вежливости не всегда воспринимается как что-то отрицательное. У киоска рядом с Институтом русского языка РАН в Москве, когда много участников конференции одновременно пришли за горячей картошкой, продавцы обращались к клиентам лапидарно: *говорите!* Это не воспринималось как грубость, скорее было ясно, что таким образом экономится время. Продавщицам, как и клиентам, важнее всего была быстрота обслуживания. В других случаях недружелюбность персонала воспринимается как грубость, особенно когда клиенты – иностранцы. Так, в одном интервью приводится конкретный пример: иностранных гостей шокировала официантка в кафе, которая на напоминание о заказе чая реагировала обвинением гостей в том, что они чая не заказывали (пример 14).

С другой стороны, грубость обслуживающего персонала, как заметили некоторые собеседники, теперь шокирует и носителей русского языка и уже не воспринимается ими как норма. Одна москвичка рассказывала о грубом поведении кассирши в театральной кассе у Никитских ворот, которое ее явно шокировало, тем более, что это случилось в таком цивилизованном месте (пример 15). Такие события и их оценка, несомненно, свидетельствуют о том, что зона грубости сузилась¹³.

Квантиitative анализ полностью подтверждает эти наблюдения: 66% (197) опрошенных утверждают, что грубость продавца является для них неприятной неожиданностью, а только 22% (66 опрошенных) не ощущает грубость продавца как неожиданную неприятность (вопрос 10), среди них 25 или 27% мужчин, что приблизительно соответствует общей доле мужчин в 30%. Этот результат не поддерживает гипотезу о меньшей чувствительности к вежливости со стороны мужчин, чем со стороны женщин.

- (14) *они абсолютно не поняли такой ситуации / когда они заказали / я не помню / кажется / чай!... а девушка не принесла чай / и/ когда они ей напомнили / что вот еще был в заказе чай / она стала с ними спорить и говорить «нет / вы не заказывали чай» э-э... вот / и стала их / значит / обвинять в том / что они сами виноваты//*
(15) *Ну я пришла в кассу театра у Никитских ворот// Было время четыре часа / это конкретный случай// У них перерыв в кассе с трех до четырех / я подошла именно к концу перерыва обеденного / и при мне / кассир видит / что я пришла / она выходит из кассы / закрывает дверь и начинает уходить// Я вежливо ей говорю: <...> «Простите / вы уходите / не будете работать? Мне вас подождать?» «Я полчаса в обед работала!» – говорит она мне// «Подождете...» Я говорю: «Вы надолго?» / я так стараюсь не переходить в это... она мне так: « И десять минут подождете / и двадцать подождете / я в обед работала»/ понимаешь / и все// То есть / что это / что это значит? Человек был не в настроении/ <...> почему я запомнила / потому что это было совершенно невероятно в такой ситуации / в таком месте//*

3.1.3. Новая вежливость критикуется как лицемерие, потеря времени или ирония

Некоторые из информантов расценивали формулы вежливости как излишние украшения, своего рода «орнаменты», подчеркивая их ненужность и критикуя отсутствие ис-

¹³ С другой стороны, некоторые информанты эксплицитно указывают на то, что вежливость все еще воспринимается как что-то необычное. Это свидетельствует о том, что процесс изменения в данной области лингвистической прагматики далеко не закончен.

кренности в новой вежливости (примеры 16, 17). Такая оценка вежливости как маскировка действительности – достаточно распространенный подход, который встречается не только в комментариях «простых» носителей языка, но и в научной литературе (ср. например [Weinrich 1986; König 1994])¹⁴. Авторы, однако, приходят к выводу, что целью лжи является обман, который в стратегии вежливости не присутствует. Целью вежливости является, наоборот, поддержание имиджа собеседника (*face saving*; ср. [Brown, Levinson 1987]).

Скорее отрицательная оценка вежливых форм выражается, например, и в том, что они воспринимаются как что-то неприятное, как «не по-русски». В частности, несколько странными кажутся, например, предложения проводников, сформулированные в официально-деловом стиле речи: *Позвольте вам предложить вот в ассортименте... там... печенье в ассортименте...* Такие формулы интерпретируются информантом как *ненужности, потому что пассажиры и так видят, что в ассортименте*.

Некоторые собеседники в интервью обращали внимание на иронию, с которой носители русского языка воспринимают формулы вежливости, особенно в публичных надписях. Ирония вызвана тем, что неприятный факт – закрытый из-за строительства проход, закрытый на перерыв магазин – никак не изменится от формулы извинения. Один собеседник привел в интервью особенно яркий пример – частый в Москве случай покупки больших городских территорий крупными компаниями, которые заодно покупают и чиновников, и захватывают территории, которые по тем или иным причинам не должны быть захвачены, либо там должен строиться детский сад, либо там парк, либо что-то еще, вот они там строят огромные многоэтажные дома. И тот факт, что они при этом вешают вежливые таблички, воспринимается с особой интеллектуальной иронией (*да, вы научились этикетно отгораживаться*).

Только одна треть, 32% из опрошенных (61 или 29% женщин и 35 или 38% мужчин) считают, что формулы вежливости не искренние, и «маскируют» равнодушие работников сферы обслуживания к клиенту. Зато почти половина опрошенных – 140 человек (47%) – не видит отсутствия искренности в новой вежливости (вопрос 12). А подавляющее большинство анкетируемых 286 человек¹⁵ (96%) не согласны с мнением, что формулы вежливости являются лишь потерей времени, всего 3% (8 человек) согласились с такой отрицательной оценкой (вопрос 11). Эти реакции подтверждают положительную оценку вежливости как что-то приятное (92% опрошенных – 274 человек; вопрос 9, см. выше). Скорее отрицательная оценка вежливости, таким образом, совсем не характерна для молодого поколения.

(16) есть определенная категория людей / которая считает / что это излишняя вежливость и что это в общем даже не очень уместно / потому что / значит/ «Извините / у нас перерыв»/ что это нам не нужно уж так вежливо в таких ситуациях// Перерыв мы и так понимаем// Вот здесь есть такая тенденция русского сознания коммуникативного к простоте//

(17) в сфере обслуживания/ <...> как было лицемерие на каждом шагу / говорят одно / думают другое / делают третье / так оно и осталось// <...> Во всех сферах / во всех сферах// Во всех сферах где (нрзб.) маркет// Вот / говорят/ «улучшим / усилим / сделаем»//

3.2. Рациональная интерпретация изменений в области вежливости

В интервью был поставлен вопрос о том, как собеседники интерпретируют новые формы вежливости, как они объясняют их возникновение. Ответы можно объединить в три группы: социо-экономические, этнолингвистические и семантические объяснения.

¹⁴ Само название обеих статей «Врут ли по-немецки, когда бывают вежливыми» – цитата из Гете («Фауст», 2-я часть) – Особенno узкая грань между лицемерием и вежливостью наблюдается в речевых актах комплимента [Golato 2005].

¹⁵ Некоторые опрошенные ответили не на все вопросы.

3.2.1. Социо-экономическая интерпретация

Респонденты, естественно, не ссылаясь на лингвистическую теорию, при социо-экономической интерпретации новой вежливости указывали на обязательность применения стратегий вежливости, например: *формулы такие вот, стали, ну, в каком-то смысле обязательными для представителей целого ряда профессий и подчеркивали, что их нужно изучать как необходимый профессиональный навык, прикрепленный к определенным ролевым отношениям, который заставляют осваивать*. Один информант приводит параллель размера покупки и степени вежливости, считая, однако, что и за маленькую покупку покупатель заслуживает вежливости.

Одна из собеседниц в интервью связывает распространение более вежливого тона общения с капиталистической идеологией необходимости успешной карьеры, которая предполагает, что ты выглядишь всегда успешным, и для этого необходимо отсутствие раздраженности не только в ситуации купли-продажи, но вообще на улице, в транспорте и везде. Говорится о главной, новой идеологеме *делать успешную карьеру и быть успешным человеком*, другими словами, о логике сдержанного оптимизма, которая требует, чтобы ты демонстрировал себя как человека успешного. Информант видит в новой вежливости выражение идеологического сдвига, при котором отсутствие вежливых форм общения связывается с отсталостью человека (пример 18). Другой информант, эксплицитно отрицая связь вежливости с установкой говорящих, видит в ней только требование поддержания имиджа торговой марки (пример 19). Для полноты картины приводим мнение еще одной из опрошенных, которая видит в корпоративной речевой деятельности, предписывающей формы вежливого общения, своего рода тоталитарный язык, так как *несоблюдение нового речевого этикета приводит к увольнению или хотя бы к снижению зарплаты сотрудника*. Хотя такая оценка может показаться экстремальной, она здесь приводится, потому что она вряд ли является единичной.

По теории Лича [Leech 1977: 23 и сл.] требуемая в определенной коммуникативной ситуации степень вежливости зависит от трех социальных параметров: дистанция по статусу (мера власти адресата над говорящим или говорящего над адресатом), социальная близость (дистанция между участниками коммуникации) и «расходы-доходы», то есть распределение пользы и усилий между участниками коммуникации при подаче и восприятии информации, например, при выполнении директивного акта. Эти параметры позволяют интерпретировать повышение вежливости со стороны обслуживающего персонала как следствие распространения рыночной рациональности и принципа максимизации прибыли и на сферу общения. В рамках рыночной экономики и конкуренции предложение товаров превосходит спрос: продавец должен продать товар, клиент при желании может купить его в другом месте. Высшая степень заинтересованности, таким образом, имеется у продавца, он как бы зависит от покупателя, у которого есть свобода выбора места покупки. Поэтому, в соответствии с теорией Лича, в новых рыночных условиях большую степень усилий – и тем самым, большую степень вежливости – должен вложить продавец, а не покупатель¹⁶.

Социо-экономическая интерпретация представлена в утверждении «Новая русская вежливость продавцов и обслуживающего персонала является их профессиональной обязанностью и необходима в условиях рыночной экономики», с которым 92% (274 человека) опрошенных согласны. Всего 10 человек (3%), 7 женского и 3 мужского пола не разделяют это мнение (вопрос 13). Этот результат подтверждает выдвинутую в начале

¹⁶ Полностью противоположной была ситуация в условиях товарного дефицита в советское время. Продавец имел право выбора, кому продавать дефицитный товар, так что большую степень усилий и вежливости должен был вкладывать клиент. Невежливо-грубоватое речевое поведение обслуживающего персонала выражалось в широко известных ответах типа: *Не хотите – не берите!; Вас много, а я одна!; Выбирать на рынке будете!* [Китайгородская, Розанова 1994: 52].

статьи гипотезу о происхождении новой русской вежливости вместе с рыночной экономикой.

(18) *Ну / я бы сказала / что в принципе современные люди уже понимают / что такое карьера / слово «карьера» перестало быть отрицательным и делать карьеру это в высшей степени положительно / и совершенно понятно / что вот механизм делания карьеры предполагает / что ты выглядишь всегда успешным / что ты выглядишь нераздражительным / вот / и не пытаешься ни в коей мере вот свои неприятности каким-то образом перенести на окружающих// <...> поэтому я думаю / что вот как бы общей идеологией успешности карьеры и прочих вещей / вот / невежливое агрессивное поведение / ну / просто рассматривается как не вполне успешное <...> и он не может себя держать / то есть / вот эта логика такого сдержанного оптимизма / который предполагает / что / значит / у тебя все будет хорошо и ты себя демонстрируешь / как человека успешного... Она предполагает толерантность / терпимость / улыбку и умение уходить от каких-то острых ситуаций <...> А за уходящим / за тем / что / ну / скажем так / реакционным / ретроградным / тем / кто не может найти свое место в жизни и начать зарабатывать деньги / как раз закреплена вот эта коннотация агрессии и прочее//*

(19) *Ну это просто / мне кажется / не из-за того / что изменились какие-то установки / а просто это обязывают марки этих магазинов быть предельно вежливой / работодатель / наверное / соответственно / тренирует этот персонал//*

3.2.2. Этнолингвистическая и этнокультурная интерпретация

Некоторые собеседники-лингвисты считают, что новая вежливость противоречит русским коммуникативным принципам, которые характеризуют большая эмоциональность и импульсивность (пример 20). Другие видят в ней явно западное влияние не только на речевой этикет – это, конечно, чистая калька... –, но и на такие невербальные феномены, как пьяные на улице. Они констатируют *европейский шлейф в поведении: меньше пьяных на улице в Москве*. Собеседник-лингвист, специализирующийся в области социолингвистики, интерпретирует новую вежливость как *демонстрацию статуса¹⁷ и доминанту среднего класса*. Он видит, что сейчас *везде институционально нам сейчас, а... ну, я бы сказал даже прямо – навязывается доминанта среднего класса*, которая противостоит искренности, ибо *если ты неискренен, то никакая вежливость тебе не поможет*.

Как показывает приведенный отрывок из интервью, интерпретация вежливости как *импортного продукта Запада* (пример 21) часто связывается с психологической оценкой новой вежливости как свидетельства лицемерия. Эта установка широко представлена в проведенных в 2006 г. интервью. При этом нужно напомнить, что идея о несоответствии вежливости и искренности имеет давние корни в русской культуре. В одной из книг по правилам хорошего тона 1890 г. издания [ЖСДД 1890] вежливость определяется как качество, заменяющее приветливость, если кто-либо ею не наделен: «Она заменяет приветливость, если, к несчастью, мы лишены этого достоинства». Подобное недоверие к этой категории вежливости в какой-то степени характерно и для настоящего времени. Избыток вежливости приравнивается в России к недостаточной искренности, а поскольку искренность, прямота и правдивость считаются особенно положительными свойствами русского национального характера, избыточная вежливость оценивается отрицательно, причем «избыточно вежливым» поведением в русской культуре иногда может считаться такое поведение, которое в других культурах считается нейтральным (ср. проведенный в начале 1990-х гг. опрос [Ратмайр 2003]).

¹⁷ Ср. [Карасик 1992].

Результаты опроса показывают, что интерпретация новой вежливости как следствие западного влияния не распространена среди опрошенных: только 13% (24 женского, 14 мужского пола, 18 из них 16–26-летние) считают, что новая русская вежливость в сфере обслуживания – это западное влияние и противоречит русскому менталитету, 79% с этим мнением эксплицитно не согласны (вопрос 14).

(20) [Большая вежливость] не приживается пока// И это я связываю именно с большой эмоциональностью / импульсивностью человека / это противоречит нашим коммуникативным принципам//

(21) сейчас [в Москве, в сфере обслуживания] очень вежливо <...> расположены люди и вот эта же стратегия появилась и вот в официальных надписях / вот / действительно / стали приносить извинения / это тоже явное заимствование и поначалу это выглядело шокирующе//

3.2.3. Семантическая интерпретация

Некоторые собеседники в интервью рассматривают новые формы вежливости как шаг в сторону индивидуализации, как знак уважения личности, отражающий общую тенденцию к усилению личностного начала (пример 22). Общение, таким образом, по их мнению, становится менее анонимным. Такая интерпретация находит параллель в тех лингвистических концептах, которые рассматривают вежливость как знак уважения личности, как категорию, направленную на личность. При этом подходы разных авторов отличаются, но личностное начало всегда присутствует. Согласно концепту вежливости Лича (ср. [Leech 1977; 1983: 104]) стратегии вежливости употребляются в соответствии с социальной целью сохранения гармонии между участниками взаимодействия. Опираясь на эту концепцию, можно сделать вывод, что если общественные учреждения стали употреблять извинения и вообще более вежливые формы при общении с гражданами, то это говорит об их заинтересованности в хороших отношениях с ними. Такой шаг в сторону индивидуализации замечателен тем, что долгие десятилетия коммунистической идеологии, во всех сферах жизни подчинявшей личность коллективу, способствовали тому, что в России и в Советском Союзе снизилась ценность вежливости – как категории, направленной на личность партнера коммуникации. Напомним, что в прежние времена в России существовала «в известной степени ‘эгоцентрическая’, т.е. направленная преимущественно на самого говорящего самоуничтожительная вежливость» [Scheidegger 1980: 156], а ориентированная на партнера вежливость была введена только в начале XVIII в. Петром I.

Очень не однозначны результаты опроса: с мнением, что «новая русская вежливость» в сфере общения связана с большим уважением к человеку как личности почти одинаковое количество опрошенных согласно и не согласно: 44% респондентов согласны (95 женщин и 39 мужчин), 45% (93 женщин и 45 мужчин) не согласны. Молодое поколение (16–25) ответило следующим образом: 59 женщин и 20 мужчин считают, что вежливость в сфере общения связана с большим уважением к человеку, 49 женщин и 21 мужчин не видят такой индивидуализации. Очевидно, мнение мужчин и женщин по этому вопросу не отличается (вопрос 15).

(22) замена жанра там / где было / в лучшем случае / информация / то теперь извинение и часто плюс еще информация / там / положим «Извините в связи с проведением строительных работ проход закрыт»/ либо сообщает «Проход там по такой-то улице»/ или там часто переезжают / вот я недавно / только вчера тоже фотографировала объявление / там мастерская или салон связи я уж сейчас точно боюсь сказать / или какая-то фотолаборатория и к ней прикреплено тоже объявление там «Мы переехали на Суворовскую улицу»/ то есть как бы еще вот такое более внимательное отношение к своим клиентам и желанию их сберечь / то есть вот не только жанр извинения такой / но это вот общая установка на повышение оперативности общения

и более личностного / то есть городское общение оно становится менее анонимным как бы ... такой личностный более индивидуальной ориентации//

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НОВОЙ ВЕЖЛИВОСТИ ИЗ ДЕЛОВОЙ В ДРУГИЕ СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ

В интервью был поставлен вопрос, в какой степени информанты наблюдают распространение новой вежливости из деловой в другие сферы общения, и как вообще они оценивают перспективы развития вежливости в русской культуре. Реакции собеседников в интервью располагаются в широком диапазоне от наблюдений, подтверждающих повышение вежливости во всех сферах общения и до наблюдений, отрицающих подобный факт.

4.1. Повышение вежливости наблюдается и вне публичной сферы

Некоторые информанты из Москвы и Саратова видят сдвиги в общении и вне чисто официальной сферы. Они заметили не только, что стали чистить подходы к жилым домам и сажать там цветы, но и здороваться и вообще обращать больше внимания на речевой этикет (пример 23). Один лингвист представил социолингвистическую гипотезу, согласно которой дальнейшее развитие среднего класса приведет также и к распространению вежливости. Другая опрошенная указала на распространение в обществе представлений о необходимости успешной карьеры и на расширение вежливых форм общения в этой связи (ср. приведенный выше пример 18).

Количество опрошенных подтверждает осторожные высказывания о распространении вежливости на другие сферы общения в интервью. Только 29% из опрошенных считают, что общение среди соседей в доме стало более вежливым, а 47% не заметило такого изменения (24% не могли ответить на этот вопрос – вопрос 6). Но 64% думают, что процесс повышения вежливости будет продолжаться дальше, и только 19% не разделяют этот оптимистический прогноз (вопрос 17).

(23) *To есть в целом можно говорить / что внимание к речевому этикету / ну и к вежливости, конечно! <...> оно сейчас значительно выше! <...> чем / скажем / было до перестройки//*

4.2. Повышение вежливости наблюдается только в институциональных условиях

Чаще всего собеседники указывали на отсутствие изменений в повседневном, обиходном общении. Один из собеседников даже указал на свои обманутые ожидания о распространении форм вежливости в сфере повседневного общения (пример 24). Другой информант заметил распространение вежливого стиля общения, но только в ограниченном социальном кругу сотрудников университета. Многие собеседники, которые отметили существенные изменения в общественной сфере, согласны в том, что на личные отношения новая вежливость никак не распространяется. Это связывается, например, с русскими коммуникативными принципами, с русской эмоциональностью и импульсивностью (см. выше). Большинство интервьюированных, работающих в научных учреждениях, не наблюдают повышения вежливости вне публичной сферы, но они эксплицитно указывают на крайне вежливое общение на кафедрах вузов и в академических институтах (пример 25). Эти ответы напоминают дискурс о русской интеллигенции с ее «буржуазными» формами общения. По крайней мере, до Второй мировой войны русскую интеллигенцию всячески высмеивали за ее вежливую манеру общения: обычай ввели в обиход такие присловья как «Ишь, какой грамотный!», «Шибко ученый!» или «Все вы тут культурные!» (ср. [Колесов 1988: 253]). Как известно, демократизация и введение меньшей формальности общения, а также пролетаризация культуры в связи с политико-идеологическим господством рабочего класса привели к тому, что за вежли-

выми формами закрепилось клеймо аристократических и мещанских, и в большинстве слоев населения они практически исчезли.

В анкете распространению повышенной вежливости были посвящены вопросы 6, 7, 16 и 17. На работе 40% заметили, что общение стало более вежливым, и только 24% не заметили такого изменения (36% не могли ответить на вопрос 7, что вызвано отсутствием профессиональной практики в студенческой жизни). В общественных местах общение между незнакомыми людьми стало более вежливым, по мнению 31% респондентов (вопрос 16), а большинство, то есть 51% считает, что все осталось по-прежнему (вопрос 16).

(24) я думал / что это как-то будет влиять / но это не наблюдается/ <...> Люди / которые были вежливыми / остаются вежливыми / которые были невежливые – их эти надписи не стимулируют к вежливости / нет / никак//

(25) интеллигенция всегда была вежлива: и вот эти изменения / которые произошли / не слишком мне кажется коснулись / то есть люди как были / как ну такое было вежливое общение / так оно и сохранилось / мне кажется//

4.3. Повышение вежливости вне публичной сферы не наблюдается, даже наоборот

Некоторые информанты прямо указывали на спад вежливости общения, на то, что они наблюдают на улицах Москвы вообще меньше вежливости. Это явление они связывают, например, с тем, что на улице появилось больше людей. Некоторые собеседники из университетских кругов жаловались на то, что стиль общения студентов стал более грубым, даже в присутствии преподавателей (пример 26).

Особенно интересны высказывания некоторых собеседников, которые убеждены в том, что «тик вежливого поведения» уже позади, они его заметили в самом конце 1990-х гг. Спад вежливости связывается с социо-экономическими и политическими переменами, приносящими возрождение некоторых доперестроечных политических явлений (пример 27). Эта позиция наблюдениями автора не подтверждается, но поскольку она была высказана информантами в трех разных интервью, то заслуживает дальнейшего наблюдения.

8% опрошенных (20 женщин и 5 мужчин) выражают мнение, что общение среди незнакомых людей на улице стало более грубым. Из них больше половины 16–25-летние (14 человек), так что нельзя сказать, что только старшие поколения констатируют большую грубость в обществе (вопрос 16). 10% опрошенных (29 человек) имеет другое мнение, то есть, на вопрос, стало ли более вежливым общение между незнакомыми людьми в общественных местах, не ответили, ни что осталось по-прежнему, ни что стало более вежливым или более грубым. Среди них 6 мужчин и 4 женщины, в возрасте свыше 50 лет. Приводим несколько самых интересных их высказываний:

15 опрошенных разных возрастных групп выражают надежду на повышение вежливости, и 10 человек отметили, что данный процесс будет *повышаться в сфере обслуживания и других, направленных на получение выгоды от потребителя. В остальном процесс останется на том же уровне и, возможно, будет понижаться*. Интересно, что такая пессимистическая оценка не особенно характерна для старшего поколения, а встречается, например и у одного 21-летнего студента: *Может быть, в сфере обслуживания, как обязательная инструкция, но не в обычной жизни*. В этом духе пишет и один 20-летний московский студент относительно продолжения повышения вежливости: *Если такой процесс [повышения вежливости] и имеет место в российском обществе, он еще не слишком очевиден. Часто встречается грубость и равнодушие*.

Согласно уже выше цитированной книге по правилам хорошего тона [ЖСДД 1890], вежливость, в отличие от врожденной приветливости, – это качество, «которому нам следует учиться и обучать, в свою очередь, наших детей так же, как и правильной речи,

умению одеваться со вкусом». Надежда на воспитание вежливости из общества не исчезла. Так встречаются, например, такие указания на необходимость воспитания: «*Думаю, что сильно преувеличена оценка процесса «роста вежливости», скорее появилась «мода» на западные образцы официального общения, так как общение с молодежной средой показывает, что за последние 5–10 лет заметно снизился общекультурный уровень и исчезает традиционное уважение к рядом находящемуся (вероятно из-за доминирования эгоистичных устремлений)*» (60-летний журналист, москвич). Но и более молодые респонденты указывают на необходимость воспитания вежливости: *Больше вежливости надо учить молодое поколение* пишет 44-летний военный из Московской области / Краснодарского края. Он обвиняет СМИ, и в особенности фильмы в негативном влиянии на молодое поколение. По его мнению, *это специально сделано Западом (США) для уничтожения культуры России*. Но и 21-летняя студентка, москвичка, пишет: *Да, но этот процесс [повышения вежливости] необходимо контролировать и вежливость необходимо воспитывать.*

- (26) *Hem// Вот / между собой студенты разговаривают грубо и употребляют очень часто нецензурную лексику / как мальчики / так и девочки// Даже студенты// ...Не считается позорным для девочки употреблять матерное выражение// <...> Это сч... даже модно / это / так сказать / очень часто / через слово// Такой шик//*
- (27) *Мне даже кажется / что был какой-то период / может быть / лет семь назад / когда здесь были какие-то подвижки в лучшую сторону / а вот теперь это снова ушло // .. Да / это не случайно / понимаете / все-таки возвращается атмосфера до перестроичных времен и вместе с ней уходит появившееся было более уважительное отношение просто к собеседнику//*

5. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ

Настоящая статья посвящена изучению новой русской вежливости. В частности был поставлен вопрос о ее значимости как поверхностная мода делового этикета или коренное изменение прагматической нормы верbalного поведения россиян. С этой целью был собран и проанализирован аутентичный материал и были проведены 17 квализитивных интервью. Результаты проведенных анализов достаточно разнообразные, но четко видны определенные тенденции.

Нет сомнения, «процесс пошел», как сказал бы М.С. Горбачев. 70% из 299 опрошенных анкетой заметили больше вежливости в магазинах вообще, а в дорогих магазинах и бутиках даже 83% заметили такое изменение. 90% опрошенных приятно, когда с ними общаются более вежливо и 65% считают грубость продавщиц неожиданной неприятностью. Тем не менее, 51% респондентов считают, что общение между незнакомыми людьми не стало более вежливым. Значит, есть изменения, их наблюдают все, но размер замеченных изменений такой же разный, как и их эмоциональная оценка, а также как интерпретация их причин и мотивов. Нужно еще раз отметить, что в настоящей работе говорится об общении в Москве и других больших городах России, а не о русском общении вообще, хотя вежливые надписи приведенного в статье типа встречались в 2005 г. и в таких маленьких городах, как Углич и Мышкин.

Некоторые собеседники в интервью сходятся в том, что по-прежнему существует оппозиция искренность versus вежливость, и поэтому рассматривают больший объем вежливости как демонстрацию лицемерия. Квантитативное исследование показало, однако, что только 31% опрошенных видят в новой вежливости выражение неискренности. Мнение о том, что вежливость в сфере обслуживания вообще и в ситуации купли-продажи в частности, заимствуется с Запада и противоречит русскому стилю общения, для которого *столь характерны высокая степень эмоциональности и искренности*, достаточно распространено среди партнеров по интервью. Однако только 13% респондентов разделяют такое мнение, а 78% не видят ни заимствования с Запада, ни противоречия.

чия русскому менталитету. При учете возраста респондентов можно убедиться в том, что из молодых опрошенных (16–25-летних), которые составляют 163 человек или 55% выборки, только 12 женского и 6 мужского пола видят западное влияние на вежливость, а 96 женщин и 33 мужчин этой возрастной группы не видят ни противоречия с русским менталитетом ни западного влияния. По-видимому, высказанные в этом отношении мнения в интервью, скорее несколько индивидуальные, чем характерные для городского общества вообще.

Многие информанты видят повышение вежливости только в деловой сфере, там, где она может принести материальную выгоду говорящему. Такая оценка соответствует тезису об использовании коммуникации вообще и вежливости в частности как инструмента в условиях рыночной экономики [Habermas 1981, 1: 384 и сл.; Rathmayr 2001; 2003]. В эту категорию оценок рассматриваемого феномена входит и связывание новой вежливости с новой идеологией успешного человека в рыночных условиях. Отсутствие вежливости и грубость общения при этой интерпретации рассматриваются как свидетельство неудачливости в жизни, которая противоречит рыночной рациональности. В анкете 92% респондентов подтверждают связь повышенной вежливости с рыночной экономикой, и только 3% ее отрицают. Таким образом, сформулированная в первой части статьи гипотеза о том, что повышенная вежливость рассматривается как влияние рыночной экономики на дискурс подтверждается гораздо большей степени (92%), чем гипотеза о чрезмерном влиянии западных норм общения (13%).

Третий элемент, с которым соотносится повышенная вежливость проявляется в том, что ее рассматривают как более личностное начало в коммуникации, как большую направленность на индивидуального адресата. Подобная интерпретация реже приводится информантами, чем влияние рыночной экономики и Запада. Но особенно те собеседники, которые жили некоторое время в странах Западной Европы, склонны видеть в повышенной вежливости по отношению к отдельной личности отражение развития общества от коллективизма к индивидуализму вообще. Анализ показывает примерно одинаковое одобрение и отвержение (44% и 45% соответственно) тезиса о выражении большей степени уважения к человеку как к личности при помощи новой вежливости.

Сформулированная в начале статьи гипотеза о корнях новой русской вежливости в рыночной экономике (ср. приведенный в 1 разделе рисунок 1) полностью оправдана. Если анализ интервью еще не показал однозначного направления, то квантитативный анализ не оставляет сомнения: 92% опрошенных связывают новую вежливость с рыночной экономикой. Вместе с экономическими изменениями, очевидно, пришли и изменения в pragmatique общения в сфере экономики. Это своего рода глобализация определенной сферы дискурса. Судя по результатам интервью и опроса, следует ожидать распространение новых форм общения и в другие сферы жизни. Постепенно и этот процесс: большинство собеседников в интервью и 64% опрошенных анкетой считают, что так будет, 40% респондентов анкеты видят повышение вежливости на работе, 29% среди соседей в доме и 90% приятна большая степень вежливости. Несмотря на констатированное некоторыми респондентами снижение степени вежливости общения – в анкетах на такое развитие указали 8% опрошенных – хочется выразить надежду, что описанный в одном интервью идеал вежливости – сочетание западной вежливости с милой теплотой русского общения – со временем найдет широкое распространение и в других, чем деловых ситуациях. 65% опрошенных видят повышение вежливости вообще, а дополнительные 5% (15 человек) считают, что данный процесс будет повышаться в сфере обслуживания и других, направленных на получение выгоды от потребителя. Однаковое количество опрошенных выражают хотя бы надежду на такое развитие. Таким образом, в целом приблизительно три четверти опрошенных выражаются за распространение и дальнейшее развитие вежливости. Этот результат настраивает на возможную реализацию привлекательного, по-видимому, не только для западного наблюдателя за развитием русской культуры сценария общего повышения вежливости.

Приложение 1: Социальный состав опрошенных анкетой «Возрастные группы»:

< 15: 6 (2%)
16–25: 163 (55%)
26–35: 22 (7%)
36–50: 47 (16%)
> 50: 60 (20%)

Пол опрошенных: женский: 208 (70%), мужской 91 (30%)

Образование: высшее 136 (46%)
Незаконченное высшее 136 (46%)
Среднее 15 (5%)
Среднее специальное 9 (3%)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Земская 1994 – *Е.А. Земская*. Категория вежливости в контексте речевых действий // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
- Земская 1997 – *Е.А. Земская*. Категория вежливости: общие вопросы – национально-культурная специфика русского языка // *Zeitschrift für slavische Philologie* 56. 1997.
- ЖСДД 1890 – Жизнь в свете, дома и при дворе. СПб., 1890 (репринтное воспроизведение издания 1890 – М., 1990).
- Карасик 1992 – *В.И. Карасик*. Язык социального статуса. М., 1992.
- Китайгородская, Розанова 1994 – *М.В. Китайгородская, Н.Н Розанова*. Речевые одежды Москвы // Русская речь. 1994. № 2.
- Китайгородская, Розанова 2006 – *М.В. Китайгородская, Н.Н Розанова*. Проблемы описания малых жанров городского общения // Семантика языковых единиц разных уровней: Сб. статей. Калуга, 2006.
- Колесов 1988 – *В.В. Колесов*. Культура речи – культура поведения. Л., 1988.
- Кон 1981 – *И.С. Кон* (ред). Словарь по этике. 4-е изд. М., 1981.
- Кронгауз 2004 – *М.А. Кронгауз*. Русский речевой этикет на рубеже веков // *Russian Linguistics*. 28. 2004.
- Ларина 2003 – *Т.В. Ларина*. Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах. М., 2003.
- Николаева 2006 – *Т.М. Николаева*. Формулы и стереотипы коммуникативных стратегий // Словесные формулы славянского мира: метатеория и эмпирия. М., 2006.
- Прохоров, Стернин 2006 – *Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин*. Русские: коммуникативное поведение. 2-е изд. М., 2006.
- Ратмайр 2003 – *P. Ратмайр*. Прагматика извинения. Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры. М., 2003.
- Стернин 1992 – *И.А. Стернин*. Улыбка в русском общении // Русский язык за рубежом 2. 1992.
- Фасмер 1986–1987 – *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.
- Строгов 1962 – *Н.И. Строгов*. Культура обслуживания покупателей. М., 1962.
- Формановская 1989 – *Н.И. Формановская*. Речевой этикет и культура общения. М., 1989.
- Формановская 2004 – *Н.И. Формановская*. Нужно ли русскому человеку отчество? // Русская речь 5. 2004.
- Berger 1996 – *T. Berger*. Alte und neue Formen der Höflichkeit im Russischen – eine korpusbasierte Untersuchung höflicher Direktiva und Kommissiva // P. Kosta, E. Mann (Hrsg.). Slavistische Linguistik 1996. München, 1997.
- Brown, Levinson 1987 – *P. Brown, S.C. Levinson*. Politeness: Some universals in language usage. 2-nd ed. Cambridge, 1987.
- Czerwinski 1989 – *P. Czerwinski*. Der Glanz der Abstraktion. Frühe Formen der Reflexivität im Mittelalter. Frankfurt-am-Main; New York, 1989.

- Elias 1976 – *N. Elias*. Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bd. 1–2. Frankfurt-am-Main, 1976.
- Flick 1995 – *U. Flick*. Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Hamburg, 1995.
- Golato 2005 – *A. Golato*. Compliments and compliment responses. Grammatical structure and sequential organisation. Amsterdam; Philadelphia, 2005.
- Habermas 1981 – *J. Habermas*. Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1–2. Frankfurt-am-Main, 1981.
- Kelly 2001 – *C. Kelly*. Refining Russia. Advice literature, polite culture and gender from Catherine to Yeltsin. Oxford, 2001.
- König 1994 – *P.-P. König*. Lügt man im Deutschen, wenn man höflich ist? // P.-P. König, H. Wiegers (Hrsg.). Satz – Text – Diskurs. Akten des 27. Linguistischen Kolloquiums Münster 1992. Bd. 2. Tübingen, 1994.
- Lakoff 1973 – *R. Lakoff*. The logic of politeness, or minding your P's and Q's // Papers from the Ninth regional meeting of the Chicago linguistic society. Chicago, 1973.
- Leech 1977 – *G.N. Leech*. Language and tact. Trier, 1977.
- Leech 1983 – *G.N. Leech*. Principles of pragmatics. London; New York, 1983.
- Locher, Watts 2005 – *M.A. Locher, R.J. Watts*. Politeness theory and relational work // Journal of politeness research. 1. 2005.
- Mey 2000 – *G. Mey*. Erzählungen in qualitativen Interviews: Konzepte, Probleme, soziale Konstruktion // Sozialer Sinn. Hf. 1. 2000.
- Rathmayr 1989 – *R. Rathmayr*. *K sebe – ziehen, ot sebja – drücken. Strukturen russischer und deutscher öffentlicher Aufschriften* // Linguistische Berichte 70. Leipzig, 1989.
- Rathmayr 1990 – *R. Rathmayr*. Ne vlezaj, ub"et: Sprachliche und pragmatische Strukturen öffentlicher Aufschriften // W. Breu (Hrsg.). Slavistische Linguistik 1989. München, 1990.
- Rathmayr 1996 – *R. Rathmayr*. Höflichkeit als kulturspezifisches Phänomen: Russisch im Vergleich // I. Ohnheiser (Hrsg.). Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart. Innsbruck, 1996.
- Rathmayr 2001 – *R. Rathmayr*. Höflichkeit als Spiegel der Interessenverteilung in russischen Wirtschafts- und Kooperationsverhandlungen. Ein Beitrag zur interkulturellen Kommunikation // V. Lehmann (Hrsg.). Slavistische Linguistik 2000. München, 2001.
- Rathmayr 2003 – *R. Rathmayr*. Höfliche Selbstdarstellung und Distanzhöflichkeit: Die russische Partikel prosto (einfach) im Verhandlungsdiskurs // G. Held (Hrsg.). Partikeln und Höflichkeit, Cross Cultural Communication. V. 10. Frankfurt-am-Main, 2003.
- Scheidegger 1980 – *G. Scheidegger*. Studien zu den Briefstellern des 18. Jahrhunderts und zur «Europäisierung» des russischen Briefstils. Frankfurt-am-Main, 1980.
- Titscher et al. 1998 – *S. Titscher, R. Wodak, M. Meyer, E. Vetter*. Methoden der Textanalyse. Leitfaden und Überblick. Opladen; Wiesbaden, 1998.
- Watts 2003 – *R. Watts*. Politeness. Cambridge, 2003.
- Weinrich 1986 – *H. Weinrich*. Lügt man im Deutschen, wenn man höflich ist? Mannheim, 1986.
- Werkhofer 1992 – *K. Werkhofer*. Traditional and modern views: the social constitution and the power of politeness // R. Watts, S. Ide, K. Ehlich (eds.). Politeness in language: Studies in its history, theory and practice. Berlin; New York, 1992.
- Worobec 1991 – *C. Worobec*. Peasant culture: Family and community in the post-emancipation period. Princeton, 1991.

© 2009 г. К.Т. ГАДИЛИЯ

КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ЗАПАДНОИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Регулярное использование артикля в одних и тех же синтаксических условиях способствует его позиционной закрепленности и дальнейшей формализации его основных функций. В статье описаны те маркеры (морфологические средства), которые с одной стороны, принадлежат к категории определенности и неопределенности (артикли, падежные показатели и др.), а с другой стороны, маркируют субъект действия (подлежащее, агенс) и объект воздействия (прямое дополнение, пациент) предложения. В статье рассматриваются простые изолированные двусоставные и (реже) трехсоставные предложения персидского, таджикского, дари, гилянского и белуджского языков.

ВВЕДЕНИЕ

Статья посвящается аргументной (актантной) структуре предложения и особенностей ее корреляции с инновационной категорией определенности и неопределенности в иранских языках. В группу иранских языков входит более пятидесяти письменных, младописьменных и бесписьменных современных языков, а также ряд вышедших из употребления древних и среднеиранских языков. В данной статье мы привлекаем определенную выборку, достаточно узкую по своему составу, из группы современных западноиранских языков, что обуславливается двумя основными соображениями. Во-первых, считаем нецелесообразным охват всего многообразия иранского языкового массива в рамках одной статьи. Во-вторых, в настоящей статье мы стараемся учитывать те диахронные явления, которые обусловили наличие типологически общих признаков, являющихся наиболее очевидными для группы западноиранских языков.

Для понимания природы соотношения аргументно-предикатной структуры предложения и категории определенности и неопределенности в иранских языках в статье мы попытаемся рассмотреть некоторые языки западной группы (а) северо-западные гилянский и белуджский языки и (б) юго-западные персидский и близкородственные дари и таджикский языки.

Белуджский язык географически удален от основного массива северо-западных языков, распространен в Пакистане, Афганистане, Иране и в Туркменистане. Из двух основных групп диалектов – западной и восточной – наиболее изученным является западный диалект [Мошкано 1999: 28]. Белуджский язык относится к языкам номинативно-эрративного строя, – номинативность в языке преобладает, а эративность проявляется в формах переходного глагола лишь в прошедшем времени [Там же: 53]. Как отмечает В.В. Мошкано [Там же: 53], эративная конструкция постепенно разрушается, а в языке белуджей Туркменистана она вовсе исчезла. В статье внимание сфокусировано на номинативных конструкциях.

Гилянский язык относится к языкам так называемого прикаспийского региона. Диалектное членение пока окончательно не установлено, но известно, что письменный гилянский ориентирован на рештский диалект, и, следовательно, он наиболее хорошо описан [Расторгуева 1999: 113].

На современном этапе развития дари, таджикский и персидский языки рассматриваются в качестве близкородственных языков, языком-предком которых является язык

классической персидско-таджикской литературы [Ефимов, Растворгугаева, Шарова 1982: 10], служивший основой литературного языка на протяжении тысячелетия на огромной территории Ирана, Афганистана и Средней Азии. Постепенно стали обнаруживаться различия в разговорной речи, влияние диалектов и местных особенностей привели к тому, что расхождения между близкородственными языками стали носить системный характер.

Выборка языков проводилась по следующим дополнительным параметрам:

А. Тип языка. Рассматриваемые языки представляют собой смешанный флексивно-аналитический тип с элементами агглютинации (флексия в основном характерна для системы глагола), с вторичной системой падежа (гилянский, белуджский) и беспадежные (персидский, дари, таджикский).

Б. Стой предложения. Языки со свободным порядком слов, но с базовым SOV. В статье рассматриваются изолированные простые повествовательные предложения номинативного (аккузативного) строя западноиранских языков. Эргативные конструкции белуджского языка в статье не рассматриваются.

В. Набор грамматических категорий имени существительного: категория числа и категория определенности и неопределенности, или, как принято в отечественной иранистике, категория выделенности¹.

Г. Наличие диахронически обусловленных, глубинно сходных языковых показателей косвенного падежа и послелога -ra².

Д. Функциональное сходство грамматических показателей аргументов (актантов): нулевой показатель Ø, показатель косвенных падежей, послелог-артикль -ra и их корреляция с категорией определенности и неопределенности.

ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНАЯ (АКТАНТНАЯ) СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как в статье понимается аргументная структура? Аргумент – это составляющие предложения, которых требует предикат, и обычно выражаются в предикации как имена существительные или местоименные клаузы. С синтаксической точки зрения, аргументы соответствуют таким (главным) членам предложения, как субъект (подлежащее, агенс) и объект (прямое и/или косвенное дополнение, пациент). Предикат указывает (обозначает) особенности денотата (таких, как одушевленность/неодушевленность, лицо/нелицо) и его корреляции с составляющими, без специального предоставления данных о самом субъекте. Предикат не может предоставлять любую информацию о субъекте, а лишь указывает на признак предмета, на состояние предмета и, наконец, на его отношение к другим предметам (объекты). Особенности аргументно-предикативной структуры зависят от совокупности ряда факторов:

- структурно-типологические свойства языка;
- особенности порядка слов в предложении;
- особенности категории падежа (если в языке есть эта категория), т.е. какой падеж (или какой формальный маркер) приписывается аргументу предикатом;
- наличие спецификаторов (набор формальных средств);
- лексические свойства глагола (предиката), т.е. тип связи или отношений между предметами.

¹ Термин «выделительный» в отечественной иранистике ввел Ю.А. Рубинчик [1959], показав специфику артикля в персидском и невозможность применения для его описания общепринятых терминов «определенность/неопределенность». Этот термин получил широкое распространение, используется, в основном, наряду с термином «неопределенный» в качестве синонима.

² Здесь и далее, когда послелог упоминается относительно нескольких языков, мы используем условное обозначение «ra» без диакритики, так как в разных иранских языках послелог имеет разное звучание.

Семантическая структура предложения формируется в результате нерасчененного или расчененного языкового кодирования структуры предметной ситуации. При нерасчененном кодировании ситуация выражается с помощью одного языкового элемента, т.е. означаемое предложение состоит из одного или нескольких компонентов, реализующих и предметный, и признаковый образы. При расчененном кодировании структура ситуации отражается в семантической структуре предложения в виде одного или нескольких актантных (предметных) и признакового компонентов.

КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Категория определенности и неопределенности относится к числу понятийных, точнее, к разряду функционально-семантических категорий, в том смысле, что в качестве выражения этой категории могут выступать различные граммемы грамматических категорий. Кроме артикля, общепринятого грамматического показателя данной категории, определенность и неопределенность морфологически, синтаксически и семантически выражается разнообразными языковыми средствами, такими как дейктические элементы (демонстративы), числительное «один», показатели падежа, ударение (просодика) и др. Совершенно очевидно, что вышеперечисленные способы выражения определенности и неопределенности имеют разный грамматический (морфосинтаксический) и лексико-семантический статус. Следовательно, артикль не является единственным грамматическим элементом, маркирующим категорию определенности и неопределенности, но он единственная граммема – ядро данной категории – кодирующее соответствующее грамматическое значение.

Мы считаем, что самое общее и самое адекватное определение артикля, подходящее для описания артикля в контексте иранских языков, принадлежит В. Коллинсону в монографии «*Indication*», уже давно ставшей лингвистической классикой [Collinson 1937: 21–25]. Он предлагает рассматривать этот грамматический элемент в качестве индикатора, который указывает на представителя или представителей класса предметов. Таким образом, определенный артикль может называться «классификатором или показателем определенности» и неопределенный артикль – «классификатором или показателем неопределенности» соответственно. Классификатор или показатель неопределенности показывает на предмет, направляя внимание внутри класса, без какого-либо последующего уточнения, в то время, как классификатор или показатель определенности указывает на представителя класса (или группу предметов), направляя внимание на него в данном контексте.

Как известно, категория определенности и неопределенности находится в тесной связи с глагольной системой, модальностью и отрицанием, а также с категорией падежа и семантической (прагматической) структурой предложения. Кстати, именно это последнее (доминантность прагматического составляющего) является весьма ярким свойством артикля и артиклевых элементов в иранских языках. В иранских языках категория определенности и неопределенности (и соответственно, артикль, как грамматический маркер этой категории) является инновационной категорией, которая появилась после стирания флексивной многопадежной синтетической системы в древнеиранских языках. Динамика возникновения и развития категории определенности и неопределенности, начиная со среднеперсидской эпохи, наиболее полным образом прослеживается в персидском языке.

Восточноиранская ветвь иранских языков претерпела сходные преобразования, но в этой группе процессы имели несколько иной, отличный от западноиранских языков, характер. Поэтому все оценки, высказанные в данной статье, на данном этапе анализа, верны для западноиранских языков. После стирания древнеиранской флексивной системы в иранских языках произошли значительные структурные и системные изменения. Доминантный базовый древнеиранский порядок слов предложения SOV сохраняется, но усилились аналитические отношения, появились элементы агглютинации.

В данной статье мы кратко остановимся на отдельных моментах формирования категории определенности и неопределенности, формирования граммем – показателей (1), а также более подробно – на основных вехах трансформации послелога **rādi* и его постепенном вхождении в зону действия этой категории (2).

(1) Общеизвестно, что формирование категории определенности и неопределенности, в основном, реализуется посредством грамматикализации таких лексических и служебных слов как числительное «один» и указательное местоимение, которые постепенно теряют лексическую прозрачность и становятся граммемами.

Вследствие грамматикализации среднеперсидского числительного «один» -ēv, в персидском, таджикском и дари языках появляется выделительный artikel -ī (*doxtar-ī* «какая-то одна девушка» (перс.)), -ē (*doxtar-* ē «какая-то одна девушка» (дари)), -e (дуктар-е «какая-то одна девушка» (тадж.)). Он представляет собой четко оформленную постпозитивную, энклитическую, безударную, несамостоятельную, односложную, морфему с элементами агглютинации, и, наконец, одновременно является показателем субстантивности.

(2) Послелог *-rā* в современном персидском языке является результатом семантической и функциональной трансформации элемента *rādiy* (классич. перс. *rā-* < ср.-перс., позд.-перс. *rāy*, ран.-перс. *rād* (*l'd*, ман. *r'y*) < др.-перс. *rādiy*) «ради, из-за», вследствие которой произошла полная элиминация прозрачности содержательного плана и появление языкового элемента, статус которого является предметом спора среди иранистов.

Процесс грамматикализации *rādiy* достаточно длительный. Еще в классическом персидском он сохраняет широкий спектр функций: 1) обозначает прямой объект; 2) обозначает косвенный объект различных видов: а) адресат действия; б) направление действия (к кому-либо); в) обозначение лица, к которому пришло какое-либо чувство, намерение, желание; г) лицо, которому что-то подобает, приличествует, нужно; д) лицо, которому что-либо принадлежит; 3) обозначает обстоятельства цели, причины, времени.

В гилянском и белуджском показатель вин.-дат. падежа -ā очевидно посложного характера (ср. тадж. -a, как вариант -ro) происходит от древнеиранского **-rādi*.

Таким образом, древнеиранский **-rādi* преобразовался в раннегилянском и в раннебелужском в элемент, аналогичный по функции к семантике среднеперсидского *-rāy* – агглютинативный показатель винительно-дательного/объектного падежа -ə, -a (гилянский) и -ā (белуджский), став показателем вторичной агглютинативной системы падежа, с одной стороны. С другой стороны, он стал определенным членом инновационной категории определенности vs. неопределенности (персидский, таджикский, дари). Процесс, начавшийся в среднеиранский период, завершился появлением двух, в определенном смысле взаимозависимых и взаимосвязанных инновационных категорий: категории определенности с грамматическим маркером – artikel (языки, в которых падежная система полностью элиминирована – персидский, таджикский, дари и др.) и вторичной агглютинативной падежной системой (гилянский, белуджский и др.).

Появление инновационных категорий определенности/неопределенности и вторичной падежной системы в иранских языках вызвало не только преобразование синтаксического типа предложения, но и способов выражения семантических ролей – агента и пациента. Как следствие этих процессов, в современных западноиранских языках отдельные инновационные грамматические элементы взяли на себя не только такие новые морфосинтаксические функции, как обозначение актантов (подлежащее, прямое и непрямое (косвенное) дополнение), но стали соотноситься с другой инновационной категорией определенности. Таким образом, значение определенности и его формальные граммемы стали участвовать в регулировании синтаксической структуры предложения.

КОРРЕЛЯЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И АРГУМЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ

Роль категории определенности среди грамматических средств, отвечающих за установление грамматических связей в предложении в рассматриваемых иранских языках представляется следующим образом.

Агенс^{Indef. Def} → неопределенный, определенный:
перс., дари, тадж. – маркируется местом в предложении;
бел., гил. – номинативный падеж.

Пациенс^{Indef} (прямое дополнение) → неопределенный:
перс., дари, тадж. – неопределенный артикль -ī, -ē, -e, нулевой маркер;
бел., гил. – номинативный падеж.

Пациенс^{Def} (прямое дополнение) → определенный:
перс., дари, тадж. – послелог -rā, -rā, -rō, нулевой маркер;
бел., гил. – объектный, косвенный падеж.

Как видим, дистрибуция маркеров определенности и неопределенности относительно предикатно-аргументной структуры подчиняется определенной закономерности. Ниже попытаемся на материале конкретных языковых данных выявить характер этой закономерности.

Персидский язык, также как и таджикский и дари, является аналитическо-флективным языком. Синтаксические связи между словами в словосочетаниях и предложениях чаще всего выражаются не формами слов, а служебными словами – предлогами, послелогом -rā, служебными частицами, а порядок слов наряду с другими грамматическими средствами играет существенную роль в выражении связи слов в предложениях. По нашему мнению, послелог -rā, участвует в осуществлении синтаксической связи слов в предложении, совмещая в себе свойства служебного слова и артикля, передавая значение определенности и конкретности и тем самым являясь частью категории определенности и неопределенности. В основном выделительный (неопределенный) артикль в этих языках маркирует неизвестное неопределенное имя. Наблюдается также сильная зависимость между значением артикля и синтаксической структурой предложения – четко противопоставляются модели с выделительным артиклем, недопустимые в простом предложении, и модели с тем же артиклем, допустимые в сложном предложении с придаточным определительным. Этому вопросу посвящена большая литература, но в рамках данной статьи она не является основной.

В фундаментальной «Грамматике современного литературного персидского языка» Ю.А. Рубинчик [2001], рассматривая категорию выделенности (неопределенности и определенности), подтвердил основные положения, высказанные в ранних его трудах [Рубинчик 1959; 1960], а именно то, что «персидский язык имеет один артикль³, присоединяемый к именам существительным в разных синтаксических позициях» [Рубинчик 1959: 182].

Рассмотрим примеры из персидского языка (1), (2) и (3), верные, в том числе, для таджикского и дари языков:

- (1) *ketāb-rā be man dād* [Lambton 1976: 3–4]
[он/она] книгу^{Def Dir Obj} мне дал / а;
- (2) *ketab-i be man dād* [Там же]
[он/она] книгу^{Indef Dir Obj} мне дал / а;
- (3) *ketāb-Ø be man dād* [Там же]
[он/она] книгу Ø^{Dir Obj} мне дал/а.

Приведенные примеры представляют несколько упрощенную, но очень точную парадигму соотношения послелога/артикля -rā и выделительного артикля -i, выступающих

³ Особенность, и даже некоторая размытость значения/функции артикля в персидском, позволяло некоторым исследователям делать вывод, что в персидском есть два артикля, сходные по форме, но разные по значению.

в данном случае маркерами пациенса (прямого дополнения). Более того, в данную парадигму вписывается также нулевой показатель. Грамматически (1), (2) и (3) совершенно корректные и четко противопоставляются по признаку определенности (1) и неопределенности (2). С одной стороны, оппозиция определенного прямого дополнения и неопределенного прямого дополнения является семантически релевантной (*i* – Ø, *rā* – Ø). С другой стороны, такое противопоставление релевантно исключительно в позиции прямого дополнения.

Ю.А. Рубинчик совершенно справедливо отмечает, что функция, выполняемая артиклем в персидском, может быть сравнима с функцией падежной флексии, а конкретное грамматическое значение имени существительного с артиклем, как и значение той или иной падежной формы имени существительного, раскрывается наиболее полно не в масштабе отдельного слова, а при употреблении в предложении [Рубинчик 2001: 199]. Функция послелога *-rā* в персидском во многом сходна с вторичными падежными показателями в гилянском, белуджском. Падежные показатели и послелог *-ra* в рассматриваемых современных иранских языках отражают отношения топика и фокуса, субъекта и объекта(-ов): если прямое дополнение является определенным, то оно маркируется маркерами определенности.

Выделительный (неопределенный) артикль *-i* функционирует также в белуджском и гилянском языках. В белуджском выделительный артикль получил сравнительно более широкое распространение, чем в гилянском, в котором употребление неопределенного артикля *-i* отмечается, в основном, в персидских словах [Расторгуева, Эдельман 1982: 182]. Важно отметить, что наряду с постпозитивным неопределенным артиклем, в гилянском языке сформировался препозитивный показатель неопределенности (числительное «один» с нумеративом *-ta*) *itta/ita* > *i-ta*, который при обозначении неопределенности предмета имеет значение «один какой-то, какой-то». Например, *ita tājāzə tāzə vabostə* – какой-то магазин только что открылся [Гилянский язык 1971: 56].

В современном персидском, и соответственно в таджикском и дари, функции послелога значительно сузились. Так, например, при косвенном дополнении послелог *-rā* встречается преимущественно в языке поэзии (в архаизированном, «высоком» стиле), а также в языке фольклора. Он употребляется преимущественно при обозначении прямого объекта при переходных глаголах, причем конкретного, определенного.

- | | |
|---|---|
| (4) <i>rūznāme-rā</i> | <i>xāndäm</i> (перс.) [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982: 200] |
| газету ^{Ra} (ту, определенную) | прочитал [я]; |
| (5) <i>sanak kitab- rā</i> | <i>xānd</i> (дари) [Дорофеева 1960: 34] |
| Санак книгу ^{Ra} | прочитал; |
| (6) <i>nān-rā</i> | <i>biyār</i> (дари) [Там же] |
| хлеб ^{Ra} | принеси (дари). |

Однако прямой объект не всегда оформляется послелогом, а лишь в случае, если речь идет о вполне конкретном, известном или ранее упоминавшемся предмете. Когда речь идет о предмете вообще, как о представителе всего вида, класса, прямой объект не получает никакого оформления.

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| (7) <i>tān</i> | <i>rūznāme</i> | <i>mixānāt</i> (перс.) [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982: 201] |
| я | газетуØ (а не книгу, письмо и т.д.) | читаю; |
| (8) <i>nān</i> | <i>biyār</i> (дари) [Там же] | |
| хлебаØ | принеси. | |

Отсюда следует, что непосредственной связи между послелогом *-rā* и переходностью/непереходностью глагола не существует. Более очевидна связь с категорией определенности. Вследствие грамматикализации, приобретая статус послелога (в персидском, таджикском и дари) и падежного форманта (белуджском и гилянском), главной

синтаксической функцией послелога *-rā* стало обозначение прямого дополнения с семантикой известности, конкретности и определенности.

Если при употреблении имен нарицательных у говорящего есть выбор, который зависит от сообщаемой информации, то при прямом дополнении, выраженном именем собственным, местоимением или именем с энклитикой, употребление послелога *-rā* является облигаторным.

- (9) *Bahrām-rā nejat dad* (перс.) [Рубинчик 2001: 324]
Бахрама^{Ra} спас(ла) (он/она).

Язык дари и некоторые диалекты таджикского языка (например, рогский говор) более консервативны, чем литературный персидский и таджикский, сохранив более широкий спектр функций.

а. Послелог *-rā* ставится при существительном, обозначающем адресат действия особенно при глаголах *dādan* дать и *guftan* сказать:

- (10) *tātā zāγ-rā nān dād* (дари) [Дорофеева 1960:34]
дядя вороне^{Ra} хлеба дал;

- (11) *мемоно-ра ýchchi choy dodeñ?* (рогский говор таджикского языка) [Богорад 1956: 143]
гостям^{Ra} [вы] чай дали?;

- (12) *Сангимо-ра bъgu xap kъna* (рогский говор таджикского языка) [Там же]
Сангимо^{Ra} скажи, [чтобы она] помогала.

б. В дари данный послелог указывает на обладателя чего-либо при глаголах бытия, в том числе в оборотах типа «у меня есть»:

- (13) *tā-rā afγāni yād ast* (дари) [Мошкано 1997:129]
я^{Ra} афганский знаю (букв. ‘у меня в памяти есть’).

в. Оформляет дополнение при глаголе *šudan* «случаться, происходить»:

- (14) *Begum-rā ič šudā ast* (дари) [Дорофеева 1960: 34]
С Бегум^{Ra} что произошло?

Как выше было отмечено, определение статуса *-rā* в современной иранистике не имеет однозначного решения, хотя основная дискуссия сосредоточилась на персидском языке. В целом, можно выделить три подхода:

1. Является средством выражения релятивных отношений наряду с предлогами, изаффетной конструкцией.

2. Является послелогом, совмещающим элементы артикля.

3. Является показателем косвенного падежа.

В белуджском неопределенность передает постпозитивный энклитический артикль *-ē*. Например, *asp-ē* «одна, какая-то лошадь», *gul-ē* «один, какой-то цветок». Синтаксические отношения регулируются четырехпадежной системой склонения. В гилянском и белуджском языках определенные имена маркируются показателем косвенного падежа, такими как, например, в белуджском *-ā* или в гилянском *-a*, в то время как неопределенные имена представлены немаркированным номинативным падежом.

Прямое дополнение в белуджском обозначается показателем объектного падежа *-ā*.

- (15) *jinik gulā aurt* [Мошкано 1991: 43]
девушка^{Nom Indef} цветок^{Objective Def} (при)несла;

- (16) *jinik ap aurt* [Там же]
девушка^{Nom Indef} вода^{Nom Indef} (при)несла.

Как видно из примеров, прямое дополнение может быть маркировано падежным показателем или не маркировано. Все зависит от стратегии говорящего и прагматической цели высказывания. Если говорящий намерен донести информацию о неопределенном предмете, прямое дополнение не принимает показателя объективного падежа.

В гилянском языке есть собственный препозитивный показатель – числительное «один» с нумеративом, выступающее в функции артикля *ita/itta*. Например:

tiləfunči ki ita duxtər bu, gušia usadə [Расторгуева, Эдельман 1982: 506]

телефонистка, которая одна девушка была, взяла трубку.

В отличие от белуджского, как и от большинства западноиранских языков (и диалектов), в гилянском постпозитивный показатель неопределенности (выделительности) -i отмечается в основном в словах, заимствованных из персидского языка.

Различие в морфологическом оформлении имен, выражающих определенный и неопределенные предметы, заключается в первую очередь в том, что в функции прямого дополнения первые принимают показатель винительно-дательного падежа, вторые выступают без него, т.е. в виде чистой основы, совпадающей с именительным падежом.

Синтаксические отношения в гилянском регулируются системой категории падежа агглютинативного типа. Падежная система гилянского языка представлена именительным падежом и двумя косвенными формами, которые условно называют винительно-дательным и родительным [Расторгуева, Эдельман 1982; Расторгуева 1999]. Именительный падеж в единственном числе выступает в виде чистой основы (показатель мн. числа *-on, -ān*), показатель вин.-дат. падежа *-a*.

Именительный падеж представлен основой имени, как в единственном, так и во множественном числе. Имя существительное в именительном падеже выступает в функции подлежащего:

- (17) *duxterán və pəsərán* *rəjs bukudidi* [Расторгуева, Эдельман 1982: 503]
девушки и юноши^{Agenc Nom Indef} танцевали.

Имя существительное в функции прямого дополнения, если оно не выражает определенного предмета:

- (18) *yek sāát vəxti* *fadidi* (гил.) [Расторгуева, Эдельман 1982: 503]
один час времени^{Nom Patience Indef} дают.

Среди других функций винительно-дательного падежа, отметим функцию обозначения прямого дополнения. Прямое дополнение, если имеется в виду определенный предмет:

- (19) *semavara* *ātəš bükən* (гил.) [Расторгуева, Эдельман 1982: 504]
самовар^{Ra Obl Def} разожги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, можно вывести следующие правила, одинаково релевантные для рассмотренных языков.

Подлежащее (субъект, агенс) (как правило, имя нарицательное) обычно не маркирован специальной грамматической морфемой, но маркирован местом в предложении.

Прямое дополнение (объект, пациент) маркировано облигаторно грамматическим маркером/спецификатором типа показателя объектного/непрямого падежа (белуджский, гилянский) и/или послелогом *-rā*. Несмотря на то, что обозначение определенности не является основной функцией падежных показателей, тем не менее эти маркеры в

то же время семантически тесно связаны со значением определенности. Прямое дополнение может маркироваться нулевым маркером (3), (8), (16).

Грамматическое и семантическое значение определенности становится релевантным для аргументно-предикативной структуры и их корреляции в тексте для рассмотренных западноиранских языков, несмотря на то, что в этих языках синтаксические отношения регулируются различными грамматическими способами (категория падежа, послелог *-rā*).

Очевидным объяснением является наличие общего генетического источника (**rādi*) формирования падежных показателей в гилянском и белуджском, с одной стороны, и послелога *-rā* в персидском (дари и таджикском), что стало основой функционального сходства между этими элементами для передачи грамматических связей в предложении. Прямой объект/ пациенс в языках с категорией падежа имеет две стратегии поведения: стратегия номинативного падежа и стратегия объектного падежа. Стратегия употребления послелога *-rā* также находится в сильной зависимости от контекста, коммуникативной цели и семантики имени существительного.

Таким образом, аргументно-предикатная структура предложения, в силу особенностей граммем, оформляющих соответствующие значения, тесно связана с семантическим и pragматическим параметрами текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богорад 1956 – Ю.А. Богорад. Рогские говоры таджикского языка // Труды Института языкоznания. Т. V. М., 1956.
- Гилянский язык 1971 – Гилянский язык. М., 1971.
- Дорофеева 1960 – Л.Н. Дорофеева. Язык фарси-кабули. М., 1960.
- Ефимов, Растворгугаева, Шарова 1982 – В.А. Ефимов, В.С. Растворгугаева, Е.Н. Шарова. Персидский, таджикский, дари // Основы иранского языкоznания. Новоиранские языки: западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
- Мошкано 1991 – В.В. Мошкано. Белуджский язык // Основы иранского языкоznания. Новоиранские языки: северо-западная группа. М., 1991.
- Мошкано 1997 – В.В. Мошкано. Персидский язык; Дари язык // Языки мира. I. Иранские языки. Юго-западные иранские языки. М., 1997.
- Мошкано 1999 – В.В. Мошкано. Белуджский язык // Языки мира. II. Иранские языки. Северо-западные иранские языки. М., 1999.
- Растворгугаева 1999 – В.С. Растворгугаева. Гилянский язык // Языки мира. II. Иранские языки. Северо-западные иранские языки. М., 1999.
- Растворгугаева, Эдельман 1982 – В.С. Растворгугаева, Д.И. Эдельман. Гилянский, мазандеранский (с диалектами шамерзади и велатру) // Основы иранского языкоznания. Новоиранские языки: западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
- Рубинчик 1959 – Ю.А. Рубинчик. Сложные предложения с придаточным определительным в современном персидском языке. М., 1959.
- Рубинчик 1960 – Ю.А. Рубинчик. Современный персидский язык. М., 1960.
- Рубинчик 2001 – Ю.А. Рубинчик. Грамматика современного персидского литературного языка. М., 2001.
- Collinson 1937 – W.E. Collinson. Indication. A study of demonstratives, articles and «Indicators» // Language monograph. 17. Baltimore, 1937.
- Lambton 1976 – Ann K.S. Lambton. Persian grammar. Cambridge, 1976.

© 2009 г. Г.В. ФЕДЮНЕВА

О РЕФЛЕКСАХ ПРАУРАЛЬСКИХ ДЕЙКТИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ *E «ЭТОТ, ТОТ» ~ *O ~ *U «ТОТ» В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ

В статье анализируется пермский материал, привлекаемый в качестве одного из рефлексов для реконструкции указательных частиц *e «этот, тот» ~ *o ~ *u «тот» в уральском прайзыке. Доказывается, что разряды местоимений, имеющие вокалический анлаут, являются результатом позднего отдельного развития коми и удмуртского языков. Они могут быть системно этимологизированы из уральских консонантных основ *to «тот» ~ *tä «этот», *ci ~ *će или *s8' «этот, тот». Так, удмуртские и коми демонстративы, типа *ot-i* ~ *set-i* «там, по тому месту», *ot-ci* ~ *set-ci* «туда», *ot-in* ~ *set-en* «там», *ot-is'* ~ *set-is'* «оттуда», возводимые к разным источникам (удм. *o-* < ур. *o ~ u, коми *se-* < ур. *sε), по мнению автора, имеют общепермское происхождение. Они образованы от основ: коми *se-* ~ удм. *so-*, представляющих регулярное фонетическое соответствие, с помощью общих падежных и деривационных суффиксов. Коми префиксальная частица *e-* в образованиях типа *taj-e* ~ *eta-j-e* «этот, вот этот», приводимая как рефлекс ур. *e «этот, тот», по-видимому, также является поздней инновацией: в коми-зырянском и коми-пермяцком языках она несет разную функциональную нагрузку. Появление этой частицы существенно изменило уже сложившуюся систему коми демонстративов, и в конечном счете привело к углублению дивергентных процессов в пермских языках. Поскольку финно-угорским (уральским) языкам вообще не свойственно препозитивное использование частиц (напр., в коми языке, кроме приведенной, имеется только одна частица *n'e-* < рус. *не-*), коми *e-* также может быть русским заимствованием.

Как известно, в финно-угорском прайзыке было представлено большое количество дейктических элементов. Общепринятой считается реконструкция пяти архетипов, имеющих рефлексы во всех уральских, а также алтайских и индоевропейских языках. Это три консонантные: *to «тот» ~ *tä «этот», *ci ~ *će или *s8' «этот», «тот», *no «тот» ~ *nä ~ *na «этот» и две вокалические основы: *e «этот, тот» ~ *o ~ *u «тот». Предполагается также наличие указательной основы *tз, рефлексы которой не обнаруживаются так последовательно [Майтинская 1964: 95–96; 1989: 198; ОФУЯ 1974: 284; Rédei 1986–1988: 67, 281, 332, 453, 709 и др.].

Известно также, что в финно-угорском (уральском и доуральском) прайзыке эти дейктические элементы составляли семантические оппозиции по семантике удаленности, выражавшейся корневой огласовкой: ближнеуказательные основы содержали неогубленный гласный переднего ряда (*e ~ *ä), дальнеуказательные, соответственно, – огубленный заднего ряда (*o ~ *u). Оппозиции консонантных основ хорошо сохранились в большинстве финно-угорских языков, напр.: саам. зап. *dāt* «этот» – *diet* «тот» – *duot* «тот более удаленный»; фин. *tämä* «этот» – *tuot* «тот», *se* «тот, этот»; морд. *t'e* «этот» – *tona* «тот», *s'e* «тот»; мар. *t'ide*, *s'ede* «этот» – *tudo* «тот», *sade* «тот»; коми *taj-e*, *taja* «этот» – *sije*, *sija* «тот»; удм. *ta* «этот» – *so* «тот»; хант. *tami* «этот» – *tumi* «тот»; манс. *ti*, *tij* «этот» – *ta taj* «тот» и т.д. Они имеют надежную уральскую и даже доуральскую этимологию [Rédei 1986–1988: 281, 453, 709].

Этимология вокалических указательных основ, хотя также имеет давнюю традицию, не так однозначна, поскольку материал, используемый для реконструкции, в современных языках представлен крайне неравномерно. В качестве основных элементов дейктической системы вокалические основы выступают только в венгерском языке. Они образуют регулярные оппозиции по дальности указания, выступая на месте *t*-овых и

s-овых основ других финно-угорских языков, напр.: *e*, *ez*, *ezen* «это, этот» – *a*, *az*, *agon* «то, тот»; *itt* «здесь» – *ott* «там»; *ide* «сюда» – *oda* «туда»; *innen* «отсюда» – *onnan* «оттуда»; *ilyen* «такой, как этот» – *olyan* «такой, как тот»; *eddig* «досюда, пока» – *addig* «до того места, до тех пор»; *ezalatt* «тем временем» – *azalatt* «между тем»; *ezert* «поэтому» – *azert* «потому»; *igy* «так, как этот» – *úgy* «такими, как тот». *T*-овый корень сохранился лишь в немногих застывших формах, напр.: *tova* «туда дальше», *tovaly* «в прошлом году», *túl* «по ту сторону», *tegnar* «вчера», *té-tova* «нерешительный» <* «туда-сюда» (Mesz: 618, 622). Видимо, это абсолютное распространение вокалических основ в венгерском языке, а также реконструкция таковых в праиндоевропейском и праалтайском языках послужили основой для создания общеуральского этимологического архетипа **e* «это, этот» и **o* ~ **u* «то, тот» [Rédei 1986–1988: 67, 332].

В большинстве современных уральских языков отсутствуют надежные данные о наличии велярной (заднерядной) указательной основы. Палатальная (переднерядная) основа более последовательно прослеживается в финно-угорских языках, однако отсутствует в самодийских. Исследователи отмечают, что, в принципе, только в венгерском и удмуртском языках представлен комплекс, который может считаться семантической бинарной оппозицией указательных местоимений с начальным гласным [Zayzon 2005: 242].

Более обстоятельное изучение пермских демонстративов [Федюнева 2007] привело нас к заключению, что данные коми и удмуртского языков, приводимые в пользу реконструкции вокалических основ в финно-угорском (уральском) пражзыке, также являются скорее укоренившейся традицией, нежели надежным свидетельством.

1. Пермский материал, используемый при реконструкции уральской велярной основы *o* ~ *u* «то, та, то» [Redei 1986–1988: 332], представлен, с одной стороны, многочисленными удмуртскими наречиями, вроде: *otis'* «оттуда», *otči* «туда», *otčioz'* «дотуда», *oz'j* «так» и т.д., с другой, – удорской частицей *ata*, *atta*, *astaj* «вот, вот здесь», *ati*, *asi* «вот, вон», представленной только в одном коми-зырянском диалекте.

Прежде всего, сомнение вызывает обоснованность возведения к вокалическим корням удмуртских местоимений, которые абсолютно идентичны *s*-овым формам в коми языке, ср.: удм. *oti*, коми *seti* «там, по тому месту»; удм. *oti no tati*, коми *seti i tati* «там и тут»; удм. *otioz'*, коми *setčež* «до того места»; удм. *otis'*, *otis'en*, коми *setis'* «оттуда»; удм. *otči*, коми *setči* «туда»; удм. *otčioz'*, коми *setčež* «до того места»; удм. *otči-taiči*, коми *setče-tatče* «туда-сюда»; удм. *otin*, коми *seten* «там»; удм. *otin no tatin*, коми *seten* и *taten* «там и здесь»; удм. *otis'en*, коми *setis'an'* «оттуда»; удм. *otis'en no tatis'en*, коми *setis'an' i tatis'an'* «оттуда и отсюда»; удм. *otis'*, коми *setis'* «оттуда»; удм. *otis' no tatis'*, коми *setis' i tatis'* «оттуда и отсюда»; удм. *oz'j*, коми *siž* «так, таким образом» и т.д. Кажется странным, что в близкородственных языках, имеющих идентичные основные местоимения: коми, удм. *ta-* «этот» – коми *se-*, *si-*, удм. *so* «тот», производные от них образованы по одной модели, но от разных корней: в коми – от ур. **se*, в удмуртском – от ур. **o* ~ *u*.

Если допустить это, то нужно признать, что в общепермском пражзыковом континууме системы демонстративов, которые, как известно, относятся к наиболее ранним языковым системам и складываются в глубокой древности, существенно различались: в практике диалектах были представлены оппозиции *t*-овых и *s*-овых основ, в праудмуртских – *t*-овых и вокалических заднерядных; при этом в удмуртском практически не сохранилась вокалическая переднерядная основа, в коми – заднерядная. Столь существенное дивергентное развитие близкородственных языков на ранней стадии развития трудно объяснить, тем более что все отместоименные наречия и адъективы во всех пермских языках и диалектах образованы с участием общих падежных и деривационных суффиксов.

Более вероятным, по нашему мнению, является предположение, что удмуртские демонстративы восходят к общему с коми формами источнику – *s*-овому местоимению

дальнего указания: удм. (**s*)*oti*, коми *seti* «там, по тому месту», удм. (**s*)*oti no tati* коми *seti i tati* «там и тут», удм. (**s*)*otioz'*, коми *seitčež* «до того места», удм. (**s*)*otis'*, (**s*)*otis' en*, коми *setis'* «оттуда» и т.д., тем более, что различия в огласовке: коми *se-* ~ удм. *so-* выступают как регулярное фонетическое соответствие, ср. коми *vež* ~ удм. *vož* «зеленый», коми *zer* ~ удм. *zor* «дождь», коми *lebnj* ~ удм. *lobinj* «лететь» и т.д. [Лыткин 1964: 232; Кельмаков 2004: 82].

В северных диалектах удмуртского языка местоимения с *s*-овым анлаутом часто выступают вместо вокалических, например: *sotin* вместо *otin* «там», *sotis'* вместо *otis'* «оттуда», *sotsi* вместо *otci* «туда», *sot'čoz'* вместо *otčioz'* «дотуда», *soz'* вместо *oz'j* «так» или употребляются наряду с ними [Тепляшина 1970: 183, 195]. *S*-овые местоимения имеются также в некоторых южных говорах, напр., круф. *шоччъ* «туда» [Насибуллин 1978: 148]. Слова, вроде *sotci* «туда», *sot'* «там», *sotis'* «оттуда» обычно рассматривают как сочетания указательной частицы *so* и, соответственно, *oči*, *ot'*, *otis'*, хотя приводятся и собственно составные образования, вроде *sootis'* «вон оттуда» [Вахрушев 1959: 236]. Е.С. Гуляев также считает соответствие: удм. *sotin* | коми *seten* «там» этимологически возможным [Лыткин, Гуляев 1999: 272]. Все это скорее свидетельствует о закономерном выпадении анлаутного *s*- в удмуртском языке, нежели о регулярном образовании коми и удмуртских форм от разных основ.

Остается ответить на вопрос: каковы причины преобразования в удмуртском языке? В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что многие инновации в системе пермских указательных местоимений объясняются внутриязыковыми процессами, а именно: стремлением языка к обособлению указательных и личных местоимений 3-го лица, которые в пермских языках до сих пор не дифференцированы [Федюнева 2007: 75–95]. Эта мысль прослеживается также в ряде высказываний К.Е. Майтинской: «Указательным местоимениям, как правило, не свойственно специализироваться по указанию только на людей: приобретение такого свойства является одним из признаков перехода указательного местоимения в разряд личных. Так, в венгерском языке личное местоимение 3-го лица *ő*, восходящее к указательному местоимению с корнем *s*-+ гласный (*s* в венгерском закономерно отпало), в отличие от своего предшественника, относится только к людям (удмуртское же местоимение *so*, этимологически связанное с *ő*, до сих пор совмещает функции как указательных, так и личных местоимений...)» [Майтинская 1969: 82–83]... «Примечательно, что в удмуртских парных словах (имеются в виду образования, вроде *otin-tatin* «там-сям». – Г.Ф.) более широко представлена местоименная основа дальнего указания *o-*, ныне сохранившаяся только в косвенных формах, чем живое современное *co* «тот»; это можно объяснить тем, что последнее используется и в качестве личного местоимения, ср. *co* “он” и “тот”» [Майтинская 1987: 148].

Вместе с тем, нельзя исключать и экстралингвистические факторы, поскольку аналогичные явления имеют место и в других языках, например, чув. *ăc*, тат. *coc* «черпать», чув. *ăca*, тат. *coca*, *suca* «челнок» [Егоров 1964: 43]. В южных коми-зырянских диалектах и в коми-пермяцком языке случаи утраты начального *s*- выступают как закономерность, напр.: кз. лл. *etčan'* – лит. *setčan'* «в том направлении», *es'en'* – *ses'an'* «отсюда», *etčan'ti* – *setčan'ti* «там», *etčan'is'* – *setčan'is'* «оттуда», *eži* – *siži* «так, таким образом», *ečet*, *eče* – *sečet* «вот такой, этакий»; кп. *etčin/setčin* «там, туда», *etčež/setčež* «до того места, до сих пор» и др.

Возможность выпадения анлаутного согласного можно предположить и в тех немногих марийских и мордовских примерах, которые приводятся в качестве рефлексов уральской заднерядной вокалической основы. Так, наряду с «вокалическими» указательными словами *umbalne* «там», *umbalan* «туда», *umbake* «туда», в марийских диалектах представлены формы с *t*-овым анлаутом: *tumbalne* «там, вдали», *tumbalan* «на ту сторону, туда», *tumbake* «туда, дальше», *tumbač* «оттуда, с той стороны» и др. Мордовские примеры ограничиваются словами Э. *ombo*, М. *omba*, *ota*, Э. *omboče*, М. *ombocä* «другой,

второй», которые тоже можно сопоставить с *t*-овыми указательными корнями, ср.: Э. *tombol'ev* «другой», М. *tombal'i*, *tombal'ej* «по той стороне», Э. *tombal'ks* «место по ту сторону», *tombal'd'e* «на ту сторону» и т.д.

Коми-зырянские частицы кз. уд. *ata*, *atta*, *astaj* «вот, вот здесь», *ati*, *asi* «вот, вон» не могут считаться надежным аргументом по причине ограниченности их употребления и изолированности от других дейктических слов. Им соответствуют частицы: кз. *to* «вот, вот здесь», *so* «вот, вон»; кп. *to*, *te* «вот, вон»; кя. *ta* «вот (здесь)», *to* «вот (там, недалеко)», *ti* «вот (там, подальше)» и их варианты с различными суффиксами, а также удм. *tan'i* «вот (здесь)» и *tin'i* «вон (там)». Нетрудно заметить, что удорские частицы также образованы от *t*-овых и *s*-овых основ, которые и несут основную дейктическую нагрузку и даже образуют оппозицию по дальности указания, ср. *ata* «вот (здесь)» – *ati* «вот (там)». Однако происхождение начального гласного неясно. Близких соответствий в других финно-угорских языках нам обнаружить не удалось, разве что саамские, ср. кз. уд. *atta* и саам. *atte* «вот этот», кз. уд. *astaj* «вот, вот здесь» – саам. *aštε* «вот, так» (примеры: [Серебренников 1963: 207; Керт 1971: 221]), которые считаются финскими заимствованиями: фин. *e-*: *että* «да» > лап. N. *attē*, L. *ahte* и рассматриваются в группе рефлексов переднерядных основ на **e* «это, этот».

2. При реконструкции палатальной основы *e* «diser,-e,-es» U [Rédei 1986–1988: 67] приводится большое количество примеров из современных языков, правда, как и в случае с велярной, в основном из венгерского и обско-угорских. Прибалтийско-финские соответствия являются союзами или вторичными местоименными словами, а не собственно указательными местоимениями. Из волжских языков приводится мордовская анлаутная частица *e*-: Э. *et'e* (pl. *eñe*) «этот», *eše* (pl. *ešne*) «тот», М. *esa* «тут, там, здесь», *esta* «оттуда», имеющая очень ограниченное употребление¹. Пермский материал представлен также неравномерно. Из удмуртского языка приводятся варианты одного слова *ece*, *iče*, *že* «такой» (со ссылкой на словари Ю. Вихмана и Ф. Видемана), которые соответствуют обычным местоимениям с консонантным анлаутом: *siče* «такой, подобный», *tače* «такой», *siče-tače* «такой-сякой»; круф. *шъчэ* [Насибуллин 1978: 49]. По-видимому, они являются фонетическими вариантами, как и *otis' ~ sotis'* «оттуда», и представляют частное диалектное явление, недостаточное для исторических обобщений.

Коми язык представлен *e*-овой указательной частицей, которая, напротив, имеет тотальное распространение во всех коми диалектах. Основным указательным местоимением и производным демонстративам регулярно соответствуют *e*-овые формы, образующие как бы вторую систему, зеркально отражающую систему *s*-овых и *t*-овых форм, ср.: кз. *taje*, *tije*, *ta ~ e-taje*, *e-tije*, *e-ta* «этот, вот этот»; *sije*, *si ~ e-sije*, *e-sa* «тот, вот тот»; *taten(i) ~ e-taten(i)* «здесь, вот здесь»; *seten(i) ~ e-sten(i)* «там, вон там»; *tat(i) ~ e-tat(i)* «по этому месту»; *set(i) ~ e-st(i)* «по тому месту»; *tatis'an' ~ e-tatis'an'* «с этого места»; *setis'an' ~ e-stis'an'* «с того места»; *tatčež ~ e-tatčež* «досюда»; *setčež ~ e-stčež* «до того места»; *tatče ~ e-tatče* «сюда»; *setče ~ e-stče* «туда»; *tas' ~ tatis' ~ tatis'an' ~ e-tas' ~ e-tatis' ~ e-tatis'an'* «отсюда»; *ses' ~ setis' ~ setis'an' ~ e-stis'an'* «оттуда»; *tas'an' ~ e-tas'an'* «с этого места»; *ses'an' ~ e-stis'an'* «с того места»; *tati ~ e-tati* «по этому месту»; *seti ~ e-sti* «по тому месту»; *talan'in ~ e-talan'in* «здесь»; *silan'in ~ e-silan'in* «там»; *talan'e ~ e-talan'* «сюда, в этом направлении»; *silan'e ~ e-silan'e* «туда, в том направлении»; *taž ~ e-taž* «так, вот так»; *siž ~ e-siž* «этак, вот этак» и т.д. В диалектах *e*-овые соответствия имеют также

¹ Мордовские *e*-овые местоимения в основных формах «употребляются только в отдельных эрзянских диалектах» [Майтинская 1989: 179], в очень узком регионе и наряду с без-*e*-овыми: *эт'e кудос' / т'e кудос'* «этот дом»; *эс'e ломан'ес' / с'e ломан'ес'* «тот человек» и т.д. [Ермушкин 1984: 123].

n-овые местоимения множественного числа: кз. иж. *nj* «они, те» ~ *e-nj* «вот те», вым. иж. *naia, na* ~ *e-naia, e-na* «вот эти».

Префиксальная частица *e-* в этих образованиях индифферентна к значению удаленности: она одинаково присоединяется как к ближнеуказательным *t*-овым, так и дальнеуказательным *s*-овым основам, внося в них только экспрессивно-выделительные оттенки значения. Если допустить, что коми частица *e-* является рефлексом ур.**e* «это, этот», кажется странным, что она совершенно утратила значение пространственной ориентации. Поскольку аналогов этой частицы в удмуртском нет, можно предположить, что ее появление в коми языке является поздней инновацией, тем более что «финно-угорским (уральским) языкам вообще не было свойственно препозитивное присоединение усиливательных частиц» [Майтинская 1969: 200].

По нашему мнению, усиливально-указательная частица *e-* коми языком была заимствована из русского. Последняя, наряду с велярной указательной основой *o-*, имеет праславянскую этимологию; соответствия обнаружаются также в греческом, латинском, древнеиндийском и др. языках [Фасмер 1986–1987: 513]. Эта частица сыграла важную роль в становлении современной системы русских демонстративов.

Как известно, в индоевропейском прайзыке имелось большое количество дейктических корней, которые также составляли системные оппозиции по степени удаленности. В ходе исторического развития в русском языке распространение получили *t*-овые и *s*-овые основы: *то, та, тот, такой, такой, той, тоё* и др.; *си, сий, сей, сие, сию, сия* и т.д. «это, эта, этот». Вместе с тем, еще древнерусскому языку были известны местоимения *онъ, она, оно, оный, оная, оный*, использовавшиеся в значении « тот, та, то», ср.: сев. (*o)намедни* <*ономь дъне* «в тот день», *онупору* «в ту пору», *оногдысь* «надысь» <*оно гда/гды* «тогда» [Черных 1952: 196]. Постепенно *o*-овая основа стала выступать в функции личного местоимения, а *э*-овая (*экий, экая, экое*) получила более широкое распространение. После того, как *s*-овые местоимения вышли из активного употребления, сохранившись лишь в отдельных формах: *сейчас, сей год, сию минуту, до сих пор, по сию пору, сего месяца, при сём, засим следует, на сей счет, то-сё, о том-о сём* и т.д., образовавшаяся лакуна ближнего указания была заполнена формой *этот, эта, это*, возникшей из сложения частицы *э* и местоимения *тот*. Как утверждают специалисты, в древнерусском языке этого местоимения не было: оно появилось довольно поздно – не ранее второй половины XVII в. [Черных 1952: 195; Борковский 1963: 223] или с XVI в. [Фасмер IV, 1986–1987: 523]. Несомненно, образование нового функционально значимого элемента дейктической системы русского языка свидетельствует о широком бытовании *э*-овой указательной основы в прошлом, в том числе, в северо-русских говорах, находившихся длительное время в самых тесных контактах с коми диалектами. Частица *э* и сегодня распространена в диалектной речи, где она может употребляться отдельно (напр.: *э с того, э к тому* и т. д.), выступать в составе других частиц (*эвот, эвон, экак* и т.д.) и наречий (*этуды* «вон туда», *эвде* «вон там»), а также вопросительных местоимений (*эсколь* «вон сколько»)²; ср. тж. сев.-рус. *эв* «вон», *эк* «так», *этта, этта-ка* «вот, вот как», *эстоль* «вот сколько», *эко* «вот какое» и т.д. [Беляева 1973: 702].

Проникновению и тотальному распространению частицы *e-* в коми языках, несомненно, способствовал тот факт, что она добавлялась в качестве усиливально-выделительной частицы к фонетически близким основам, была понятна коми билингвам и

² Интересно, что в удорском и ижемском диалектах коми-зырянского языка частица *e-* также регулярно выступает в сочетании с вопросительными местоимениями, например: *kodi* «кто»: уд. (Мез.) *e-kodi* – уд. (Ваш.) *ɛ-kodi* «вот кто»; *kiʒ* «как»: уд. (Мез.) *e-kiʒ* – иж. уд. (Ваш.) *ɛ-kiʒ* «вот как»; *kičet* «какой»: уд. (Мез.) *e-kičet* – уд. (Ваш.) *ɛ-kičet* «вот какой»; уд. (Мез.) *e-kičen* – уд. (Ваш.) *ɛ-kičen* «вот где»; *tiŋ* «что»: уд. (Мез.) *e-tiŋ* – уд. (Ваш.) *ɛ-tiŋ* «вот где» и др.; иж *e-kiʒ* «экак», *e-kičet* «экакой», *e-tiŋ* «вот что», *e-kodi* «э вон кто», *e-kičen* «э сколько» [Жилина и др. 1961: 487; Сахарова, Сельков 1976: 104].

имела ярко выраженный эмоционально-разговорный характер³, ср. кз. *e-tačet* – рус. *э-такий*, *э-дакий*, кз. *e-taž* – рус. *э-так*, *э-дак*, кз. *e-simda* – рус. *э-столько* и т.д.

Усвоение иноязычной частицы привело к значительным фонетическим преобразованиям уже сложившихся форм и в конечном счете к формированию нового разряда демонстративов, появившихся на базе *s*-owych местоимений путем: 1) выпадения корневого гласного *-e-* типа: *seten* «там» = *esten* «там» < **e-seten*; *setče* «туда» = *estče* «туда» < **e-setče*; *setčež* «дотуда» = *estčež* «дотуда» < **e-setčež* и т.д. и 2) выпадение начального *s*- типа: *etče* «туда» < *setče*; *etčež* «дотуда» < *setčež*; *es'an'* «оттуда» < *ses'an'* и т.д.

Это привело к преобразованию самой системы оппозиций по дальности указания и стало причиной глубоких дивергентных процессов в системе указательных местоимений в коми-зырянском и коми-пермяцком языках. В коми языках частица *e-* имеет разные функции: в коми-зырянском образует экспрессивные формы, которые употребляются параллельно с основными (без *e*-овыми), преимущественно, в спонтанной речи: (*e*)*siję* «тот, вон тот», в коми-пермяцком – является маркером ближнего (или более определенного) указания, как в русском: кп. *sija* «тот» – *esija* «этот». Коми-пермяцкие *e*-овые местоимения практически вытеснили «чистые» *t*-овые и *s*-овые формы, в результате чего оппозиции по дальности указания оказались в значительной степени размыты, напр.: кз. *taten* «здесь» – *seten* «там»; кп. *esten* «здесь, там» – *setčin* «там» и т.д. (об этом [Федюнова 2007: 105–121]). Тот факт, что присоединение частицы *e-* привело к различным результатам, по нашему мнению, является дополнительным свидетельством позднего происхождения *e*-овых указательных местоимений в коми языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беляева 1973 – *О.П. Беляева. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Отв. ред. Е.А. Глушкова. Пермь, 1973.*
- Борковский, Кузнецов 1963 – *В.И. Борковский, П.С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.*
- Вахрушев 1959 – *В.М. Вахрушев. Об особенностях говоров северного диалекта удмуртского языка // Записки Удм. НИИ истории, экономики, литературы и языка. Вып. 19. Ижевск, 1959.*
- Егоров 1964 – *В.Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.*
- Ермушкин 1984 – *Г.И. Ермушкин. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (эрзя-мордовский язык). М., 1984.*
- Жилина и др. 1961 – *Т.И. Жилина, М.А. Сахарова, В.А. Сорвачева. Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / Отв. ред. В.А. Сорвачева. Сыктывкар, 1961.*
- Кельмаков 2004 – *В.К. Кельмаков. Диалектная и историческая фонетика удмуртского языка. Ижевск, 2004. Ч. 2.*
- Керт 1971 – *Г.М. Керт. Саамский язык. Л., 1971.*
- Лыткин 1964 – *В.И. Лыткин. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964.*
- Лыткин, Гуляев 1999 – *В.И. Лыткин, Е.С. Гуляев. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999.*
- Майтинская 1964 – *К.Е. Майтинская. Местоимения в мордовских и марийских языках. М., 1964.*
- Майтинская 1969 – *К.Е. Майтинская. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.*
- Майтинская 1987 – *К.Е. Майтинская. Об одной модели парных местоименных слов в финно-угорских языках // Сущность, развитие и функции языка. М., 1987.*

³ Интересно, что Р. Бартенс, отмечая, что в обоих пермских языках имеются усилительно-индивидуализирующие формы указательных местоимений, в качестве функционально-семантического эквивалента коми формам с префиксом *e-* приводит удмуртские указательные местоимения с 3Рх.sg.: коми *etajö, esijö*, удм. *taiz, soiz* [Bartens 2000: 164].

- Майтинская 1989 – К.Е. Майтинская. Местоимения и служебные слова // Финно-волжская языковая общность. М., 1989.
- Насибуллин 1978 – Р.Ш. Насибуллин. Наблюдения над языком красноуфимских удмуртов // О диалектах и говорах южноудмуртского наречия: Сб. науч. ст. Ижевск, 1978.
- ОФУЯ 1974 – Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974.
- Сахарова, Сельков 1976 – М.А. Сахарова, Н.Н. Сельков. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар, 1976.
- Серебренников 1963 – Б.А. Серебренников. Историческая морфология пермских языков. М., 1963.
- Тепляшина 1970 – Т.И. Тепляшина. Нижне-чепецкие говоры северно-удмуртского наречия // Записки Удм. науч.-исслед. ин-та истории, экономики и языка. Вып. 21. Филология. Ижевск, 1970.
- Фасмер 1986–1987 – М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986–1987.
- Федюнева 2007 – Г.В. Федюнева. Указательные местоимения и их производные в пермских языках. Сыктывкар, 2007.
- Черных 1952 – П.Я. Черных. Историческая грамматика русского языка. М., 1952.
- Bartens 2000 – R. Bartens. Permläisten kielten rakenne ja kehitys // Mémoires de la Société Finno-ougrienne. 238. Helsinki, 2000.
- Rédei 1986–1988 – K. Rédei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Budapest, 1986–1988.
- Zayzon 2005 – R. Zayzon. Überlegungen zu den vokalischen Demonstrativstämmen in den uralischen Grundsprache // Congressus decimus internationalis fennougristarum. Joshkar-Ola 15.08.–21.08. 2005. Pars II. Linguistica. Joshkar-Ola, 2005.

СОКРАЩЕНИЯ

кз. – коми-зырянский язык; **кп.** – коми-пермяцкий язык; **круф.** – красноуфимский говорperiферийно-южного диалекта удмуртского языка; **кя.** – коми-язывинское наречие; **лл.** – лузско-летский диалект коми-зырянского языка; **манс.** – мансийский язык; **мар.** – марийский язык; **морд.** – мордовский язык; **М.** – мокша; **ив.** – нижневычегодский диалект коми-зырянского языка; **печ.** – печорский диалект коми-зырянского языка; **рус.** – русский язык; **саам.** – саамский язык; **сев-рус.** – северно-русские диалекты; **сс.** – среднесысолльский диалект коми-зырянского языка; **уд.** – удорский диалект коми-зырянского языка; **удм.** – удмуртский язык; **фин.** – финский язык; **хант.** – хантыйский язык; **чув.** – чувашский язык; **Э.** – эрзя.

© 2009 г. Ю.В. НОРМАНСКАЯ

РАЗВИТИЕ ВОКАЛИЗМА В МОРДОВСКОМ ЯЗЫКЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАМОРДОВСКОГО УДАРЕНИЯ*

Статья посвящена реконструкции прамордовского ударения и его влиянию на развитие вокализма первого слога в современных мордовских языках. Оказывается, что рефлексация прауральских гласных первого слога в **a*-, **o*-, **i*-, **ä*-основах в мордовских языках зависит практически исключительно от качества прамордовского гласного второго слога и места прамордовского ударения, которое без изменений сохранилось в мокшанском языке.

Одной из самых трудноразрешимых проблем в уралистике является реконструкция системы вокализма. Родство уральских языков считается общепризнанным, в этимологический словарь уральских языков (UEW), по мнению специалистов, вошли этические с очень надежными консонантными и семантическими рефлексами по языкам. Однако даже на материале этимологии UEW в настоящее время не сделано системное описание развития системы вокализма.

В частности, в книге Г.С. Ивановой [Иванова 2006: 127], посвященной историческому описанию вокализма в мокшанском языке, схема развития гласных от финно-угорского языка к мокшанскому выглядит следующим образом:

ФУ	ПМ	морд (I ¹)	морд (II, III)
* <i>ü</i>	<i>e, i, u, o, ə</i>	<i>e, i, u, o, ə</i>	<i>i, i//ə, u, ə, o, ə</i>
* <i>i</i> , * <i>ɪ</i> ,	<i>e, ə</i>	<i>i, e, ə</i>	<i>i, ə</i>
* <i>ä</i>	<i>ä, a, e, i</i>	<i>ä, a, e, i</i>	<i>e, a, i, i//ə</i>
* <i>e</i>	<i>e, i</i>	<i>e, i</i>	<i>i, i//ə</i>

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-04-00201а. Пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность Е.А. Хелимскому за активное участие в обсуждении этой работы, в частности, за идею о том, что предложенное мною правило о связи места ударения в мордовском языке и развития гласных первого слога, распространяется не только на ПУ **a*-, *ü*-основы, но и на ПУ **o*-, **i*-основы, которые реконструируются на основании финских рефлексов гласной второго слога. Хочу поблагодарить А.И. Кузнецова за то, что она указала мне на недавно опубликованную работу Г.С. Ивановой [Иванова 2006].

¹ I тип говоров – акающий (традиционно центральный диалект и северо-западная группа говоров западного диалекта) характеризуется наличием в фонологической системе фонемы *ä*. Территориально занимает северную и центральную части Мордовии. Охватывает Красносльбодский, Ковылкинский (частично), Рузасевский (частично), Темниковский, Атюрьевский (частично), Старошайговский, Торбесевский, Зубово-Полянский (частично) районы.

II тип говоров – йкающий (традиционно юго-восточный диалект и юго-западная группа говоров западного диалекта). Он охватывает территорию Инсарского, Кадошкинского, Ковылкинского (частично), Ельниковского, Зубово-Полянского (частично), Атюрьевского (частично) района. Во II типе в непервом слоге гласный *a* восходит к такому же **a* прамордовского периода, *ə*, *ě* – к прамордовскому **ə*, который в конце слова расширился до *ě*, вероятно, через промежуточную ступень *ä*, *ə*, *ä* к прамордовскому *ə*, полуширокий *e* появился в результате сужения прамордовского **ä*, а узкий гласный верхнего подъема *i* восходит к **e*.

III тип говоров – экающий или переходный. Он распространен на территории Рузаевского, Инсарского, Торбесевского, Старошайговского районов.

* <i>a</i>	<i>a, i</i>	<i>a, i</i>	<i>a, i//ə</i>
* <i>o</i>	<i>o, i</i>	<i>o, i, ə</i>	<i>o, i//ə</i>
* <i>u, ī</i>	<i>u, o, ə</i>	<i>u, o, ə</i>	<i>u, i//ə, o, ə</i>
* <i>ē</i>	<i>ä, i</i>	<i>ä, i</i>	<i>e, i</i>
* <i>ō</i>	<i>a, u</i>	<i>a, u</i>	<i>a, u</i>

Часто финно-угроведы даже не пытаются предложить системные объяснения для появления всех рефлексов прайзыковых гласных, а удовлетворяются тем, что отмечают наиболее частотный рефлекс. Наглядным примером такого подхода является докторская диссертация М.В. Мосина [Мосин 1987]. Автор определил процентное соотношение мордовских этимологий, в которых рефлекс соответствует традиционным правилам, и общего количества мордовских этимологий. Получился следующий результат: развитие рефлексов ФУ **a* в мордовских языках удается объяснить в 72% случаев, ФУ **ä* – 48%, ФУ **e* – 53.3%, ФУ **i* – 34.7%, **o* – 51%, **u* – 30%. «Сделать какие-либо заключения о причинах переходов этих гласных в других случаях не представляется возможным», отмечает М.В. Мосин [Мосин 1987: 7].

Действительно ли системное описание развития прауральского вокализма неосуществимо? Правы ли те исследователи, которые утверждают, что в основном фонетические переходы в системе уральского вокализма были спонтанными и аналогическими? Или все-таки возможно системно описать изменения вокализма от прауральского к современным языкам, принимая во внимание какие-то ранее неучтенные лингвистические факторы?

В настоящей статье на примере мордовских языков мы попытались доказать последнее утверждение. Факторы, принятие во внимание которых, на наш взгляд, делает возможным системное описание (с минимумом исключений²) развития от прауральской системы вокализма к современным мордовским языкам, – это влияние гласных второго слога и места ударения на развитие вокализма первого слога.

Фактор ударения, насколько нам известно, вообще ранее не учитывался при анализе развития гласных фонем первого слога в уральских языках. Относительно финно-угорского ударения существуют различные предположения. По мнению [Szinneyei 1922], оно было синтагматически подвижным. В.И. Лыткин в своих работах [Лыткин 1964; 1965; 1970а] предполагает, что для финно-угорского прайзыка следует восстанавливать свободное нефиксированное ударение. Однако, по мнению подавляющего большинства ученых, в финно-угорском языке ударение было фиксировано на первом слоге (см. например [Itkonen 1955; Hajdú 1966; Rédei 1968] и подробную библиографию в этих работах).

Традиционно считается, что в прямордовском языке в системе ударения появилась новая закономерность: с узких гласных первого слога оно стало переходить на непервый слог, если там находился широкий *a* или *ä* (см. [Надькин 1988; Иванова 2006]). Из этого положения следует, что **разноместное ударение, наблюдаемое в современном мокшанском языке, является вторичным и автоматическим по отношению к фонологической системе языка**. Ниже мы покажем, что предположение о **первичности разноместного ударения в мокшанском и его влиянии на развитие рефлексов гласных первого слога** позволяет описать историю вокализма в мордовских языках с несравненно меньшим количеством исключений (менее 8%, ср. выше статистику М.В. Мосина, де-

² Предложенная гипотеза проверена на полном материале UEW и личной картотеке Е.А. Хелимского, суммарный корпус которых насчитывает более 200 мордовских этимологий. В предложенную нами концепцию развития мордовского вокализма не вписывается 16 этимологий. Они полностью приведены в сносках в настоящей статье. Таким образом, количество исключений из полученного правила менее 8%. Большинство этих исключений могут быть проинтерпретированы как индоиранские заимствования, звукоподражательные слова, ошибочные или ненадежные этимологические сближения.

монстрирующую эффективность традиционного описания, – в среднем 48% исключений).

В работах Е.А. Хелимского неоднократно отмечалась важность влияния гласных второго слога на развитие первого (ср. [Хелимский 2000, неопубликованный доклад на конференции памяти С.А. Старостина в Москве 23–25 марта 2006 года]). Однако существует лишь несколько описаний исторического развития отдельных уральских языков, в которых в полной мере проанализировано влияние гласных второго слога. В частности, при описании хантыйского языка [Helimski 2001] Е.А. Хелимский предложил систему с тремя гласными второго слога (*A*-, *I*-, *U*-). В зависимости от их качества принципиально меняется рефлексация гласных первого слога. В кандидатской диссертации М.А. Живлова [Живлов 2006] была сделана попытка реконструировать праобскоугорскую систему вокализма, в которой насчитывается десять гласных второго слога, влияющих на развитие вокализма первого слога. В ряде других работ не предлагается системная реконструкция с учетом влияния гласных второго слога на развитие первого, но отмечаются некоторые доказательства того, что по данным отдельных языков (мордовских³, пермских) следует реконструировать большее количество финно-угорских гласных второго слога, чем это общепринято⁴ (подробный анализ этих работ см. в [Itkonen 1971]). Надо сказать, что в большинстве работ исследования ведутся с минимальным учетом гласных второго слога.

Отдельные аспекты синхронного и диахронического вокализма мордовских языков были объектом специального или попутного исследования в трудах таких отечественных и зарубежных лингвистов, как [Szinneyei 1922; Ravila 1973; Трубецкой 1987; Бубрих 1937; 1953; Миронов 1936; Itkonen 1946; Коляденков 1948; Рот 1964; Серебренников 1967; Лыткин 1970б; Деваев 1970; Феоктистов 1974; Надькин 1988; Ермушкин 1997; Мосин 1989; Иванова 2006]. Как отмечается в [Вегечжи 1988], работа [Itkonen 1946] и в наше время – одно из наиболее полных описаний истории становления вокализма мордовских языков. Полученные в этой работе правила регулярных переходов в системе вокализма мордовских языков можно схематически представить следующим образом⁵: ПУ **a* > морд. *a*; ПУ **o-a* > морд. *i*; ПУ **o-e* > морд. *o*; ПУ **u* > морд. *o*; ПУ **ä* > морд. *ä* (М), *e* (Е); ПУ **e-ä* > морд. *i*; ПУ **e-e* > морд. *e*; ПУ **i-a* > морд. *o*; ПУ **i-e, ä* > морд. *e*; ПУ **ä* > морд. *e*; ПУ **i* > морд. *o*. Те случаи, которые не удается проинтерпретировать подобным образом, Э. Итконен считает спорадическими изменениями, которые возникают, однако, в определенном консонантном окружении, например: ПУ **läkte-* ‘уходить’ (Samm.⁶ ФП **läkti-*)⁷ 239⁸ > морд. *livé-, lifte-* (Е) ‘выносить’, *lište-, liJte-* (М) ‘вытекать, бить ключом’, ПУ **sikše* (**sükše*) ‘осень’ (Samm. **s'üks'i* (**s'-!*)): 443 > морд. *śokś, sokś, śoks* (Е), *śokś, śoks* (М)⁹. Количество таких примеров легко умножить. Развитие вокализма в 30% мордовских этимологий по UEW с помощью концепции Э. Итконена системно не объясняется.

³ Анализ работ, посвященных гласным второго слога в мордовском языке, см. ниже.

⁴ По UEW во втором слоге прауральского слова могут встречаться следующие гласные: **ä*, **a*, **e*. Для второго слога [Janhunen 1981; Sammallahti 1988] реконструируют следующий набор гласных: *i*, *i*, *å*, *ä*, предполагая, что **i* ~ **i*, **ä* ~ **å* были распределены в зависимости от ряда гласного первого слога.

⁵ Здесь и далее речь идет о кратких прауральских гласных. Рефлексы долгих прауральских гласных подробно описаны в [Itkonen 1946].

⁶ Здесь и далее (Samm.) обозначает работу [Sammallahti 1988]; (Paas.) – работу [Paasonen 1990–1996]; (Jah.) – работу [Janhunen 1981].

⁷ Е.А. Хелимский предлагает добавить в эту этимологию сравнение с прасамодийским **jatə*.

⁸ Здесь и далее эти цифры указывают на страницу в UEW, где рассматривается соответствующая этимология.

⁹ Авторы UEW предполагают, что в мордовском исконно палatalный гласный под влиянием соседнего *-k-* > *ö*.

Развитие вокализма второго слога в ФУ **a*-основах подробно описано в [Ravila 1929]. П. Равила показал, что ФУ **a*-основы имеют в прамордовском двойную рефлексацию (**a*-основы и **ə*-основы). Прамордовские **ə*-основы имеют весьма разнообразную рефлексацию в современных мордовских диалектах. В ауслауте рефлексы **ə* > -*o* (Е), -*a* (М), возможно также появление консонантного ауслаута в одном или обоих диалектах¹⁰. Например, ПУ **kola* ‘умирать’ (Samm. **kaxli-*) 173 > морд. *kulo-* (Е, М), *kulo* (Е), *kula* (*kulə-*) (М) (Paas.: 942).

В инлауте в мокшанских диалектах рефлексом **ə* в основном является -*ə*. В эрзянских диалектах рефлексы **ə* непервого слога различаются в зависимости от группы диалектов. П. Равила на основании рефлексации **ə* выделяет две основных группы эрзянских диалектов: 1) *o*-диалекты (д. Калейкино, Вечканово, Нов. Суркина и т.д.), 2) *a*-диалекты (наиболее южные) (д. Баевка, Ширамасово, Каляево и т.д.), см. подробную классификацию диалектов [Ravila 1929: 86–87]. В *o*-диалектах рефлексом прамордовского **ə* непервого слова в инлауте является -*o*-, в *a*-диалектах – -*o*-, -*u*-, -*j*-, -*i*-. Вот несколько примеров развития прамордовского **ə* в инлауте: ФУ **kaswa* ‘расти, увеличиваться’ 129 > морд. *kašoms* (Е), *kašəms* (М) ‘расти, увеличиваться’ (Paas.: 637).

Как показывает П. Равила, после мягких согласных рефлексы **ə* в ряде случаев также упередняются, например: ФУ **arwa* (**arja*) ‘цена, ценность’ (Samm. **arwa*) 16 > морд. *arćəms* (Е), *arśəms* (М) ‘думать, быть расположенным (?)’ (Paas.: 68). Рефлексы прамордовских **a*-основ выглядят абсолютно единообразно. Это -*a*- в мокшанских и эрзянских диалектах в инлауте и ауслауте. Например, ФУ **waja* ‘падать, опускаться’ 551 > морд. *vajams* (Е), *vajams* (М) (Paas.: 2511). В ряде случаев также рядом с мягкими согласными рефлексы *-*a*- упередняются, например, ФУ **orpa* ‘родственник’ 722 > морд. *irvā* (Е), *ər-vā* (М) ‘невестка (Е), жена (М)’, *irvaksto-* (Е) (Paas.: 2476).

П. Равила вслед за Э.Н. Сетяля обратил внимание на то, что рефлексы гласных **o*, **u* первого слога могут зависеть от рефлексации прафинно-угорского (прафинно-волжского) **a* непервого слога, как **a* или **ə* в прамордовском¹¹. П. Равила предлагает следующее распределение прафинно-волжских «*o*-образных гласных»:

¹⁰ В работе [Надькин 1988] предлагается также различать основы на стабильный (невыпадающий) редуцированный и основы на беглый (выпадающий) редуцированный. Основы на стабильный редуцированный сохраняют **ə* во всех формах. Основы на беглый редуцированный имеют два алломорфа: вокалический и консонантный. Консонантный алломорф выступает перед определенными аффиксами (например, перед показателем множественного числа -*t* в именах и перед аффиксами 1-го и 2-го лица мн. числа настоящего времени в глаголах) и (в части случаев) в ауслаутной позиции. Основы на стабильный и беглый редуцированный противопоставлены друг другу как в именах, так и в глаголах. Однако в глаголах основы на стабильный редуцированный встречаются довольно редко. В именах, напротив, оба типа основ на редуцированный встречаются с равной частотой. Если перед **ə* находится одиночный согласный (кроме согласных -*p*-, -*t*-, -*k*-, происходящих из старых геминат) или кластеры -*kš*- и -*kř*-, то в основах на беглый редуцированный **ə* выпадает в ауслауте (то есть в им. пад. ед. числа). В основах на стабильный редуцированный сохраняется. Но в результате проведенного анализа выяснилось, что качество редуцированного гласного второго слога (различение выпадающих и невыпадающих) не было релевантно для развития гласных первого слога.

¹¹ Надо отметить, что эти достаточно интересные закономерности, выявленные П. Равила, не были учтены последующими исследователями. Как было показано выше, Э. Итконен и Г. Берецки, считают что ФУ **o* в **a*-основах переходит в (Е, М) *u*, а **u* в (Е, М) *o*, не обращая внимание на такие примеры, как ФВ **tokka* ‘втыкать’ 796 > фин. *tokkaa-* ‘втыкать, неожиданно делать’, морд. *tokams* (Е), *tokams* (М) ‘касаться, толкать, попадать о пуле’ (Paas.: 2302). ПУ **kunta* ‘ловить, находить’ 207 > фин. *kunne*, Род. *kunteen* ‘след от нажатия, давления, шишка, углубление’, *kunti-* ‘брать, рвать, срывать’, морд. *kundams* (Е), *kundams* (*kundáms*) (М) ‘трогать, ловить’ (Paas.: 956). ФВ **luša* ‘разрушать, обрушивать’ 694 > фин. *luhi*, *luho* ‘раздавленная вещь, обломок’, *luhisti-*, *luhistu-* ‘сбрасывать, уничтожать’, морд. *lužavioms* (Е), *lužáftəms* (М) ‘разрушать, обрушивать’ (Paas.: 1090).

ПМ. I-о-образный гласный (ФУ **u*): морд. *и-а*; морд. *о (и // о)-а* (< **э* на основании того, что ПУ **и* > морд. *о* в ПУ **e*-основах (> -*э*)).

ПМ. II-о-образный гласный (ФУ **o* или **ü*): морд. *и-э* (< **a*); морд. *о-а* (< **э*)).

Некоторая натянутость объяснения П. Равила, из-за которой, вероятно, его интерпретация и не была принята последующими исследователями, заключается в следующем. Как можно видеть из его объяснения, фактически распределения рефлексов ФУ **u*, **o* в зависимости от типа основы П. Равила не нашел. I-о-образный гласный дает *и* (сильная ступень по П. Равила) или *о* (с диалектными колебаниями *и // о*) (слабая степень) при реально наблюдаемом втором гласном *-а-* в мордовских диалектах. Однако во втором случае П. Равила предполагает, что это *-а-* возникло вторично из морд. **э*, проводя параллели с развитием ПУ **и* в **e*-основах. Это объяснение кажется правильным. Нет оснований предполагать, что *а* в этом случае возникло вторично.

Аналогично ситуация и II-о-образным прамордовским гласным. П. Равила находит некоторое распределение. Но он часто смешивает ФУ **o* и **ü*, и, по его мнению, и *a*, и *э* возникли вторично из прамордовских **э* и **a* соответственно. Таким образом, действительно ценная гипотеза П. Равила о развитии гласного первого слога в зависимости от второго не была принята во внимание последующими исследователями, вероятно, из-за некоторой путаницы во внешних (финно-волжских) сравнениях и интерпретации, чрезмерно нагруженной предполагаемыми вторичными и аналогическимииями. Насколько нам известно, после публикации работы П. Равила в 1929 г. никто больше не пытался исследовать развитие гласных первого слога в мордовских языках в зависимости от типа основы. В обзорной статье [Bereczki 1988] вскользь упоминается работа П. Равила и отмечается, что единственными примерами, где усматривается влияние типа основы на развитие рефлексов вокализма первого слога являются случаи с выпадением первого гласного, например: ФВ *šišna ‘пояс, ремень’ 786 (из прабалтийского *šikšna-) > морд. šna (Е, М), kšna (Е); ФВ *kūrsä ‘хлеб’ 679 > морд. kši ~ kše (Е), kši, Род. kšiń (М) (Paas.: 907). В этих примерах Г. Берецки реконструирует прамордовскую форму с ударным вторым гласным **a* и **ü* соответственно. В таких случаях, пишет Г. Берецки, иногда происходит редукция первого безударного гласного.

В настоящей статье проанализируем развитие гласного первого слога в мордовских языках в ФУ **a*-, **o*¹²-, **u*-, **ü*-основах в зависимости от рефлексов гласного непервого слога. Мы рассмотрели рефлексы прауральских (финно-угорских, финно-пермских, финно-волжских) гласных в мордовских языках на полном материале мокшанских слов¹³ по словарям [Paas.; UEW], имеющих соответствие в финском языке¹⁴. Далее, отбирая иллюстративный материал, мы отдавали предпочтение наиболее надежным этимологиям, отобранным в работах [Janhunen 1981; Sammallahti 1988].

После рассмотрения полного списка рефлексов вокализма первого слога в мордовских языках в ПУ **a*-, **o*-, **u*-основах становится ясно, что прамордовское ударение, восстановливающееся на основе места современного ударения в мокшанских диалектах, является решающим фактором развития гласных. Для интерпретации прауральных (финно-угорских) в **a*-основах выделяется четыре релевантных типа прамордовских основ: 1) *-á-, 2) *-a-, 3) *-əl- 4) *-ə2-. Ударение в рефлексах прамордовских **a*-основ сохранилось без изменения в мокшанских диалектах. Ударение в рефлексах

¹² В настоящей работе мы специально выделяем ПУ **o*, **u*-основы на основании рефлекса гласной второго слога в финском языке. Рефлексация второго слога в мордовском языке в ПУ **o*, **u*-основах совпадает с ПУ **a*-основами.

¹³ По нашей гипотезе (обоснование см. ниже), место ударения в **a*-основах в мокшанском языке является решающим фактором для рефлексации финно-угорских гласных первого слога в мордовских языках, поэтому мы привлекаем к рассмотрению лишь те прамордовские слова, которые имеют рефлекс в мокшанском.

¹⁴ См. в начале статьи замечание о том, что реконструкция вокализма базируется в основном на финском материале.

прамордовских *э-основ в современном мокшанском языке унифицировалось на корне. Однако по рефлексам вокализма первого слога видно, что существовали *эI-основы, в которых развитие вокализма проходило аналогично *a-основам, и *э2-основы, по развитию вокализма первого слога аналогичные *á-основам.

В мордовском языке в ПУ *a-, *o-, *i-основах наблюдаются следующие рефлексы ПУ гласных первого слога¹⁵ (см. Таблицу 1).

Таблица 1

ПМ *V (2 слог)	*a	эI	-á	э2
ПУ *V (1 слог)				
*a	a	a	u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E) ¹⁶	и
*o	o	o	u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E)	и
*u	o ¹⁷	o	u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E)	и
*i	o/e(_C)	o/e(_C)	u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E)	и

ПУ *a-основы:

I. Основы на ПМ *a (или их мягкий вариант) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 27 примеров)¹⁸:

¹⁵ Из дальнейшего рассмотрения исключаются шесть этимологий, потому что

- 1) морд. *kilej* (E), *kelu*, Род. *keluväni* (M) 'береза' (Paas.: 758) не является, вероятно, рефлексом ПУ *kojwa 'береза' (Janh., Samm. *koxjɪ) 169.
- 2) ФП *orja 'раб' 721 (из праиндоиранского *ōryo- ?) > морд. *urē* (E), *urā* (M) (Paas.: 2473).
- 3) ФВ *wasara 'топор' 815 (из праиндоиранского *vazra-) > морд. *uzer* ~ *vizer* (E), *uzər/*uzer (M) (Paas.: 2498).
- 4) ФП *jewä (> ФВ *jūwā) 'зерно' 633 (из праиндоиранского *jeza-) > морд. *juv* (M) 'мякина', *juväni* (M) 'сделанный из мякоти' (Paas.: 555).

В этих трех случаях мордовское слово имеет нестандартное развитие вокализма, присущее индоиранским заимствованиям.

5) ФВ *wala 'литься' 812 > фин. *vala-*, морд. *valo-* (E, M) 'лить, литься', *valks*, *valf* (E), *valfkä* (M) 'рубль'.

6) ФУ *śala 'вяз' (Samm. *s'ħliw) 458 > фин. *salava*, *salaja*, (? *halava*, *hala*) 'ива, *salix fragilis*', морд. *sélej*, *sélen* (E), *säli* < *séli*, Род. *śalen* (M) 'вяз' (Paas.: 2126).

В этих этимологиях ФВ, ФУ (соответственно) *a-основа однозначно не реконструируется. В первой этимологии мокшанские данные свидетельствуют скорее в пользу *э-основы, а во второй кажется более правильным вслед за P. Sammallahti восстанавливать ФУ *i (в нотации UEW *e-основу).

¹⁶ По реконструкции прамордовского языка, предложенной в [Иванова 2006; Ермушкин 1997], так выглядят рефлексы ПМ *ä в первом слоге в ФУ *a-основах.

¹⁷ В результате анализа мы пришли к выводу, что рефлексы ПУ *o, *u в *a-основах в мордовском совпадают, ср. выше концепцию Э. Итконена, по которой они различаются.

¹⁸ Мы не рассматриваем в этом разделе две этимологии, потому что, как отмечают авторы UEW (для первой этимологии) и Sammallahti (для второй), однозначно реконструировать прауральский гласный не удается: ФУ *puška (*paška) 'жидкие нечистоты, кал' 396 > фин. *paska* 'дермо, испражнения', *paskanta-* 'испражняться', саам. *peške (Lehtiranta 1989: 871), *bâi'kâ -ik-* 'эксременты, грязь' (N), *pai'hka* (L) 'дермо', *paške* (T) 'дермо', морд. *pskino* (E), *pskin*, Род. *pskinäni* (M) 'иметь понос' (Paas.: 1824).

ПУ *kojwa 'копать, рыть, вычертывать' (Samm. ФП *ka/ojwa-), по финскому языку *kajwa 170 > фин. *kaiva-* 'копать, рыть', саам. *goai'vo- -iv-* (N) 'вычертывать', *kâivo-* (L) 'копать, вы-

ПУ *a: ФУ **ađa* ‘разделять, раскрывать’ (Samm. **iđa*) 11 > фин. *avaa*¹⁹ ‘открывать’; морд. *aŋkšima* ~ *avšima* (E), *ańcīma*, Род. *ańcīmań* (M) ‘прорубь, лунка’ (Paas.: 45). ПУ **sala* ‘прятать, воровать, вор’ (Janh., Samm. **sala*) 430 > фин. *sala-* ‘скрывать, утаивать’; морд. *salams* (E, M) ‘воровать’ (Paas.: 1937). **ПУ *o:** ФВ **kočka* (**kočke*) ‘угол’ 668 > фин. *kotkas*, Род. *kotkaksen* ‘согнутый конец иголки’; морд. *kočkaŕa* (E), *kočkāŕä* (M) ‘пятка, уголковая сталь, плуг’ (Paas.: 788). **ПУ *u:** ПУ **kuma* ‘поворачивать; кланяться’ (Janh., Samm. **kuma*) 201 > фин. *kumo-ssa*; морд. *komams* (E, M) ‘нагибаться’, *komafto-* (E) ‘опрокидывать’ (Paas.: 839). ПУ **tuna* ‘яйцо, яички’ (Janh., Samm. **tuna*) 285 > фин. *tuna*; морд. *tona* (E) ‘яичко’ (Paas.: 1282). **ПУ *i²⁰:** ФВ **nila* ‘что-то скользкое, сок, живица’ (Samm. **n'ila*) 318 > фин. *nila*; морд. *nola* (E) ‘шплинт’, *nola* (M) (Paas.: 1343). ФВ **iša* ‘рукав’ 629 > фин. *hiha*; морд. *oža* (E), *oža* (M) ‘рукав одежды’ (Paas.: 1489).

II. Основы на ПМ *əl (безударное) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 45 примеров):

ПУ *a: ФУ **akta* ‘повесить, поднимать (капкан, сеть)’ (Samm. **ikta*) 5 > фин. *ahta-* ‘набивать, грузить’; морд. *avtoms* ~ *avtēms* ~ *aftēms* (E), *aftəms* (M) ‘поставить сеть, капкан’ (Paas.: 94). ПУ **kala* ‘рыба’ (Janh., Samm. **kala*) 119 > фин. *kala*; морд. *kal* (E), *kal* (M) (Paass.: 574). **ПУ *o²¹:** ПУ **woča* ‘забор, невод, ловить рыбу неводом’ (Janh., Samm. (14) *woča*) 577 > фин. *Otava* Большая медведица’; морд. *oš* (E, M) ‘город’ (Paas.: 1472). **ПУ *u:** ПУ **kumra* ‘вал, волна’ (Janh., Samm. **kompra*) 203 > фин. *kumri* ‘холм’; морд. *komba*, Род. *kombəń* (M) ‘кочка, плывущий островок’, *kumboldo*²², *kopildi-* (E) ‘быть в бурлящей воде, бурлить’ (Paas.: 950). ФУ **kirppa* ‘возвышение, кипение’ 213 > фин. *kirppa* ‘пузырь’; морд. *koro* (E) ‘шишка, желвак, под столом, в лобковой области’, *kora*, Род. *korəń* (M) ‘шишка, желвак’ (Paas.: 853). **ПУ *i²³:** ФП **pinta* ‘поверхность, покрытие’ (Samm. **pinta*) 730 > фин. *pinta* ‘поверхность’; морд. *pondakš* (E) ‘лохматый’, *ponda*, Род. *pondəń* (M) ‘тело’ (Paas.: 1747). ФП **wiša* ‘яд’ (>‘зеленый, желтый’) (Samm. **viša*) 823 > фин. *viha* ‘ненависть, гнев’; морд. *ožo* (E), *ožə* (M) ‘желтый’ (Paas.: 1492).

III. Основы на ПМ *á (или их мягкий вариант) в эрзянском и мокшанском диалектах: все ПУ гласные переходят в М и //-(// i//ə), Е и //-(// i//o) (всего 17 примеров):

ПУ *a: ПУ **śajma* ‘из дерева сделанный сосуд, лодка’ 456 > фин. *saima*; морд. *śuma* ~ *śima* (E), **śəmá* (: *śemá*, Род. -ń) (M) ‘колода’ (Paas.: 2195). **ПУ *e:** ФВ **kerta* ‘ряд, срез, порядок, время’ 659 > фин. *kerta* ‘раз, комплект, набор’; морд. *kirda* (E), *kərdá* (M) (Paas.: 763). ФВ **werča* ‘одежда, одеваться’ 820 > фин. *verho* ‘ занавес, портьера’; морд. *orštams*

чеснок’, *kođjva-* (T), *koajve-* (Kld. Not.), *kojvφ-* (A); *goai'vo* -iv- (N) ‘лопатка, совок’, *kâi'vō* (L) ‘лопата’, *koajva* (T), *koajv* (Kld. Not.) ‘лопата, застуш’, морд. *kojme* ~ *kojmä* (ML, E), *kajmä*, Род. *kajməń* (M), *kajmä* (M) (Paas.: 820).

¹⁹ Здесь и далее переводы цитируются по [Елисеев 2002].

²⁰ Нс вполне ясно, как объясняется рефлекс вокализма первого слога в мордовском в этимологии ФУ **pićla* ‘вид ягоды’ (Samm. ФП **pis'la*) 376 > фин. *pihlaja*, *pihlava* ‘рябина, Sorbus aucuparia’, морд. *pízol* (E), *pízel*, Род. *pízeləń* (M) ‘рябина’ (Paas.: 1697).

²¹ Не вполне понятно ударная или безударная прамордовская *ə представлена во втором слоге в словах:

ПУ **jotka-* ‘середина, интервал’ 102 > морд. *jutko* (E), *jutka* (E: Kad), *jotka*, Род. *jotkəń* (M) ‘промежуток’ (Paas.: 552). ПУ **śorwa* ‘рог’ (Samm. **s'orwa*) 486 > морд. *śuro* (E), *śora* (M) (Paas.: 2199).

²² Вероятно, развитие вокализма первого слога в этой форме следует объяснить позднейшими процессами.

²³ Мы не рассматриваем этимологию ФВ **pisa* (**piša*) ‘капать’ 732 > фин. *pisara* ‘капля, капать’, *pisaa-* ‘сочиться, капать’, морд. *pízems* (E), *pízəms* (M) ‘идет дождь’ (Paas.: 1694), потому что она крайне ненадежная. При идеальном семантическом соответствии рефлексы консонантизма и вокализма определенно восходят к разным уральским праформам. Вместе с тем слово имеет явно звукоподражательный характер.

(E), *štšams* (M), *urštáms* (M) (Paas.: 1463). **ПУ *o:** ФУ **čonča ~ čoča*²⁴ ‘блоха’ 39 > фин. *sonsar*, *sonsari*, Род. *sonsaren* ‘блоха’; морд. *čičav* (E), *čičav* (E), *šičáv* (~ *šečáv* < *šičáv*), Род. -*ən* (M) (Paas.: 258). ПУ **korta* ‘палить, жечь’ 186 > фин. *korttaa-*; морд. *gurnoms* (E), *gurnáms* (M) ‘жечь, обжечь’ (Paas.: 431).

ПУ *i²⁵: ПУ **kunta* ‘ловить, находить’ 207 > фин. *kunne*, Род. *kunteen* ‘след от нажима’; морд. *kundams* (E), *kundams* (*kundáms*) (M) ‘брать, ловить’ (Paas.: 956). ФП **turpa* ‘губа, пасть’ (Samm. ФУ **turpa*) 801 > фин. *turpa* ‘морда’; морд. *turva ~ torva* (EM), *tərvá* (M) ‘губа’ (Paas.: 2354). **ПУ *i:** ФВ **šišna* ‘ремень’ 786 > фин. *hihna* ‘ремень, ремешок’; морд. *šna* (E, M), *kšna* (E).

IV. Основы на ПМ *ə2 (ударное) в эрзянском и мокшанском диалектах: все ПУ гласные переходят в М, Е -и- (всего 25 примеров):

ПУ *a: ФВ **ajta* ‘конструкция типа амбара, стоящая на сваях’ 605 > фин. *aita* ‘забор, ограда’; морд. *itomo* (E), *itəm* (M) (Paas.: 2492). ФВ **lajwa* ‘лодка, баржа’ 682 > фин. *laiva* ‘корабль, судно’; морд. *luv* (E:Kad) ‘ясли’ (Paas.: 1087). **ПУ *o:** ФУ **ora* ‘шило’ (Samm. **ora*) 342 > фин. *ora* ‘огневое бурение’; морд. *uro* (E), *ura*, Род. *urən* (M) (Paas.: 2467). **ПУ *i:** ФУ **tija* ‘прикасаться’ 284 > фин. *tiista-* ‘вспоминать, понимать’; морд. *tijemts* (E), *tijəmts* (M) ‘находить’ (Paas.: 1292). ФВ **luppa* ‘лишайник, мох’ 694 > фин. *luppa*, *luppo*, *luppi*; морд. *piroń ~ lupoń* (E), *piреń*, Род. *piреńen* (M) ‘мох’ (Paas.: 1367). **ПУ *i:** ФВ **tika* ‘свинья’ 796 > фин. *sika*; морд. *tuvo* (E), *tuv*, Род. *tuvən* (M) (Paas.: 2358).

ПУ *o-основы:

I. Основы на ПМ *a (или их мягкий вариант) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 10 примеров):

ПУ *a: ФВ **šamV* ‘вид, форма, лицо’ 782 > фин. *hahmo* ‘образ, фигура, контур’; морд. *čama* (E), *šama*, Род. *šamań* (M) ‘лицо’ (Paas.: 204). ФВ **mala* ‘край, предел’ 698 > фин. *ma-lo* ‘трещина’; морд. *malaso* (E), *malasa* (M) ‘поблизости’ (Paas.: 1166). **ПУ *i:** ПУ **kuma* ‘поворачивать; кланяться’ (Janh., Samm. **kuma*) 201 > фин. *kumo-ssa* (olla) ‘быть разрушенным’; морд. *kotams* (E, M) ‘нагибаться’, *komafto-* (E) ‘опрокидывать’ (Paas.: 839). ПУ **ripa* ‘вертеть, вращать’ (Janh., Samm. **ripa/ti*) 402 > фин. *ripo-*; морд. *ronams* (E, M) (Paas.: 1746). **ПУ *i:** ФВ **šida* ‘заострять, точить’ 784 > фин. *hio-* ‘наточить’; морд. *čovams* (E), *šovams* (M) (Paas.: 286). ПУ **niwa* (**nida*) ‘удалять волосы, остригать’ (Samm. ФУ **niwa-*) 306 > фин. *nivo-* ‘удалять волосы, очищать шкуру от волос, терять волосы’; морд. *neveldems* (E) ‘очищать от чешуи, обваривать кипятком’, *nevəldəms* (M) ‘оцишивать’ (Paas.: 1396).

II. Основы на ПМ *əI (безударное) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 4 примера):

ПУ *a: ФУ **arwa* (**arγa*) ‘цена’ (Samm. **arwa*) 16 > фин. *arvo* ‘ценность, стоимость, достоинство’; морд. *ařćems* (E), *ařśəms* (M) ‘думать, быть расположенным (?)’ (Paas.: 68). **ПУ *i:** ФВ **sitV* ‘связывать’ 762 > фин. *sito-* ‘завязывать’; морд. *sodo-* (E, M), *sotəms* (M) ‘связывать’ (Paas.: 2003). **ПУ *i:** ФП **kiđa* ‘ткать, плести’ (Samm. **kiđa-*) 675 > фин. *ku-to-*; морд. *kodams* (E, M) (Paas.: 814).

III. Основы на ПМ *á (или их мягкий вариант) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 5 примеров):

ПУ *o: ПУ **oča* ‘смотреть, будить, охранять, защищать, ждать’ 334 > фин. *odonta* ‘ждать’; морд. *utšoms* (E), **utšəms*, *icán* (M) ‘ждать’ (Paas.: 2426). ФУ **towkV* ‘весна’ 532 > фин. *touko-* ‘весенний месяц’; морд. *tundo* (E), *tundá* (M:P) ‘весна’ (Paas.: 2350). **ПУ *i:** ФУ **kiškV* ‘разрывать’ (Samm. ФП **kis'ka-*) 162 > фин. *kisko-* ‘тащить, дергать’; морд. *škiřa-* (E), *kšteřa-* (M), *kəskərdáms* ~ *kiskərdáms* (M:P) ‘щипать, хватать’ (Paas.: 2167). ФВ **sira-kta*

²⁴ Е.А. Хелимский предлагает реконструировать праформу **čo(n)c'a*.

²⁵ Вероятно, этимологии ПУ **kunta* ‘родня, сообщество’ 206 > морд. *końdä* (M), *kuńdä* (M) ‘друг, товарищ?’ (Paas.: 849). ПУ **cira* ‘тонкий, тощий’ (Samm. **cira-*) 64 > морд. *čova* (E), *šová* (M) ‘тонкий’ (Paas.: 284) тоже относятся к этой группе; в мокшанском представлен регулярный рефлекс, но неясно, как объяснить развитие вокализма первого слога в эрзянском.

‘сыпать, рассыпать’ 760 > фин. *sirotella* ‘рассыпать’; морд. *stradoms* ~ *sradoms* (E), *sərādəms* (M) (Paas.: 2034).

IV. Основы на ПМ *ə2 (ударное) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 3 примера):

ПУ *a: ФУ *aj̥e ‘висок’ (Samm. *aj̥i) 5 > фин. *aivo(t)* ‘мозг’; морд. *ij* (M) ‘мозг’ (Paas.: 2440). **ПУ *o:** ФУ *orpa(sV) ~ *orwa(sV) ‘сирота, вдовец’ (Samm. *orpa) 343 > фин. *orpo* ‘сирота’; морд. *uros* ~ *urus* (E), *urəs* (M) ‘сирота’ (Paas.: 2468).

ПУ *i-основы:

I. Основы на ПМ *a (или их мягкий вариант) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 4 примера):

ПУ *a: ФВ *kačkV ‘дым, запах’ 641 > фин. *katku*; морд. *kačamo* (E), *kačam*, Род. *kačatən* (M) ‘дым’ (Paas.: 560). **ПУ *i:** ПУ *luwe (Jah. *l̥ixi/*luxi, Samm. *l̥ixi) ‘кость’ 254 > фин. *luu*; морд. *lovaža* (E) ‘кость’, *lovaža*, Род. *lovažań* (M) ‘труп’ (Paas.: 1066). ФУ *šiđe ‘душа умерших, дух’ (Samm. *šoŋi) 503 > фин. *hii*; морд. *čov* (E) ‘человеческая душа’, *čo-pača* (E), *šo-pača* (M) ‘дух’ (Paas.: 283).

II. Основы на ПМ *ə1 (безударное) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 4 примера):

ПУ *a: ФВ *kajkV ‘звонко звучать, звенеть’ 643 > фин. *kaiku-* ‘эхо’; морд. *kajgəms*, *ga-jəms* (E), *kajgəms* (M) ‘звонко звучать, звенеть’ (Paas.: 405). **ПУ *i:** ФУ *ulke ‘кол’ (Jah., Samm. *ulki, ФУ *ulki) 543 > фин. *ulki*; морд. *olga*, Род. *olgən* (M:P) ‘кол’ (Paas.: 1443). ПУ *küđe ‘месяц, луна’ (Jah. *kijii/*küŋji, Samm. *kixi) 211 > фин. *kii*; морд. *kov*, *koŋ* (E), *kov* (M) ‘месяц’ (Paas.: 883).

III. Основы на ПМ *á (или их мягкий вариант) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 4 примера):

ПУ *a: ФВ *sawe ‘дым’ 754 > фин. *savu* ‘дым’; морд. *sufta-* (E, M), *səftáms, *səftán* (M:P) ‘окуривать, закоптить’ (Paas.: 2072). **ПУ *i:** ПУ *purkV ‘снежный вихрь’ (Samm. ФУ *purki) 406 > фин. *purku*, Род. *purun*; морд. *porgams*, *purgams* (E), *purgams* (M), *pr̥gáms (:pr̥gán, pr̥gáj) (M:P) ‘брьзнуть, брызгать’ (Paas.: 1850). ФВ *kurk(k)V ‘горло’ 676 > фин. *kurkki*; морд. *kirga*, *kiřga*, *korga* (E), *kārgá* (M) ‘шея’? **ПУ *i:** ФВ *sira ‘осколок’ 759 > фин. *siru*; морд. *soradu-*, *srado-*, *strado-* (E), *sərādəms* (M) ‘разойтись, рассеяться’ (Paas.: 2034).

IV. Основы на ПМ *ə2 (ударное) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 2 примера):

ПУ *a: ФВ *sose (*sase) ‘снежная крупа, трещинка’ 766 > фин. *sasu* ‘щека’?; морд. *suz* (M) ‘трещинка в коре лиственного дерева’, *suzəjams* (M:P) ‘становиться неровным, шероховатым’ (Paas.: 2077). **ПУ *i:** ФВ *sume ‘туман’ 767 > фин. *sumi* ‘туман, мгла’; морд. *suv* (E, M), *suvənä* (M:P) ‘туман’ (Paas.: 2071).

Как отмечается в [Вегечжи 1988], у ПУ *ə-основ существовали два возможных рефлекса в прамордовском *ə и *ə-основы.

Анализ полного материала ПУ (ФУ, ФВ) этимологий с ПУ *ə-основой, имеющих соответствие в мокшанском и финском языках по [UEW] и [Paasonen 1990–1996], дает результат очень схожий с гипотезой о развитии вокализма в ПУ *a-, *o-, *i-основах.

В мордовских языках в ПУ *ə-основах наблюдается следующие рефлексы ПУ гласных²⁶ (см. Таблицу 2).

²⁶ Пять этимологий, в которых авторы [UEW] реконструируют праязыковую *ə-основу, далее не привлекаются к анализу. В этимологиях ФВ *lypsä ‘молоко, давать молоко’ 695 > фин. *lypsä-* ‘доить’, морд. *lovšo*, *lovco* (E), *loftsä* (M) ‘молоко’ (Paas.: 1067). ПУ *elä- ‘жить’ (Jah., Samm. *elä-) 73 > фин. *elä-* ‘жить’, саам. *ælle-* *æl-* (N), *iellē-*, *ällē-* (L), *jielle-* (*jea-*) (T), *ie, lle-* (Kld.), морд. *eráms*, *äráms* (E), *eráms* (M) ‘жить’?? (Paas.: 368) по мордовским данным следует скорее реконструировать *a-основу.

В этимологиях ФУ *tälwä ‘зима’ (Samm. *tälwä) 516 > фин. *talvi*, Род. *talven*, саам. *dal've -lv-* (N), *tälvé* (T), *tailv* (Kld. Not.), морд. *tele* (E), *talā*, Род. *talən* (M) (Paas.: 2386). ФУ *šedä ‘хороший, здоровый’ 499 > фин. *hyvä* ‘хороший’ (> саам. *N hivve* ‘хорошо себя чувствующий’), *hyvin* ‘хороший, очень, полностью, правый’, саам. *sevē (Lehtiranta 1989: 1096) *sâvve- -v-* (N) ‘зажи-

ПМ *V (2 слог)	*ä	ə ²⁷	-ā	ə ⁴
ПУ *V (1 слог)				
*ä	ä(M), e(E)	e(ä)	i-(E) i/ə/-(M) ²⁸	i-(E) i/ə/-(M)
*e	i	e(ä)	i-(E) i/ə/-(M)	i-(E) i/ə/-(M)
*i	o? ²⁹	e(ä)	i-(E) i/ə/-(M)	i-(E) i/ə/-(M)
*ü	e/(ä)	e(ä)	i-(E) i/ə/-(M)	i-(E) i/ə/-(M)

I. Основы на ПМ *ä в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 18 примеров)³⁰:

ПУ *ä: ФУ *säppä ‘желчь’ (Samm. *säppä) 435 > фин. *sappi*, Род. *sapen*; морд. *sepe* (E), *säpä*, Род. -en (M) (Paas.: 1968). ФУ *säärkä ‘вид рыбы’ 436 > фин. *särki*, Род. *särjen*; морд. *seérge* (E), *särgä*, Род. *sárge* (M) (Paas.: 1974). **ПУ *e:** ПУ *enä ‘большой, много’ (Samm. (ФУ?) *e/inä) 74 > фин. *enää* ‘больше, дальше’; морд. *iñe* (E), *ińä*, Род. *ińän* (M) ‘большой’ (Paas.: 463). ФУ *neljä (*neljä) 316 > фин. *neljä*; морд. *nile* (E), *nílă* (M), *nílənəst* ~ *nileńəst* (M) ‘вчетвером’ (Paas.: 1402). **ПУ *i:** ПУ *icä ‘отец’ (Samm. ФУ *is'ä) 78 > фин. *isä*, *iso* ‘отец’; морд. *osä*, Род. *osän* (M) ‘старший брат со стороны отца’ (Paas.: 1416). **ПУ *ü:** ФП *kilmä (*külmä) (Samm. *külmä) ‘холодный, холодить’ 663 > фин. *kylmä*; морд. *kelme* (E), *kelmä* (M) (Paas.: 693).

II. Основы на ПМ *ə³ (безударное) в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 11 примеров):

ПУ *ä: ПУ *kämä ‘жесткий’ (Samm. (ФУ) *kämä) 137 > фин. *kämä*; морд. *kemé* (E), *kemä* (M) ‘жесткий’, *keməts* (M) ‘доверять’ (Paas.: 697). **ПУ *e:** ФУ *wetä ‘вести, руководить’ (Samm. *wetä-) 569 > фин. *vetä-* ‘тянуть, тащить’; морд. *vétam* ~ *védams* ~ *vítims* (E), *vätəms* (M) (Paas.: 2633). **ПУ *i:** ФУ *pitä ‘держать’ (Samm. *pitä- + ФП *pitä-) 386 > фин. *pitä-*;

вающий (о ране)’, *savvō-*, *savvu-* (L) ‘лечить?’, морд. *čiv* (E:Kažl) ‘хороший, смелый’, *čiva*, Род. *čivaní* (M) (Paas.: 272). ПУ *siδä (-mV) [*śiδä (-mV)] ‘сердце’ (Jah., Samm. *s'ä/üd'ä-) 477 > фин. *sydän*, Род. *sydämen*, диал. *syvǟm*, *sy(v)än*, *syȫn* ‘сердце’, саам. *cēdēm (Lehtiranta 1989: 100) cādā (N) (postpr.) ‘через, по пути’ *tjatā* (L), морд. *šeđej*, *šeđeŋ* (E), *šeđi*, Род. *šeđin* (M) ‘сердце’ (Paas.: 2116) представляется, что однозначно реконструировать гласный второго слога не удается.

²⁷ Помимо влияния на развитие вокализма первого слога ə³ и ə⁴ различаются следующим формальным образом: в ауслайте в мокшанском языке ə³ имеет рефлекс ä, ə⁴ – другие рефлексы.

²⁸ По реконструкции прамордовского языка, предложенной в [Иванова 2006; Ермушкин 1997], так выглядят рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ФУ *ä-основах.

²⁹ Реконструкция рефлекса ПУ *i в ПМ *a-основах ясна не до конца. На эту позицию представлен лишь один пример – ПУ *icä ‘отец’ (Samm. ФУ *is'ä) 78 > фин. *isä ‘отец’, *iso ‘дед, отец’; морд. *osä*, Род. *osän* (M) ‘брать отца, который старше отца’ (Paas.: 1416), – в котором реконструкция прауральской основы не вполне однозначна (ср. колебания второго гласного в финском языке).

³⁰ Мы не рассматриваем в этом разделе ПУ *pälä ‘половина, сторона’ [Samm. *pexli, *pälä] 362 > фин. *pieli*, Род. *pielen* в *suu-pieli* ‘уголок рта’, *poski-pieli* ‘челюсть’, *pielos*, *pielus* ‘край, предел, грань’, *pieltää* ‘нагибаться в сторону’, саам. *pelē (Lehtiranta 1989: 907) *bælle* -æl- ~ *bællē* -æl- ‘сторона, половина, один из пары’ (N), *piellē* ~ *pällē* (L) ‘сторона, половина’, *pie, lle* (T), *pie, ll* (Kld. Not.), *be, l* (A) ‘половина, сторона’, морд. *péł* (E), *päl* (M) ‘сторона’, *péle* (E), *pälä* (M) ‘половина’ (Paas.: 1597), потому что в этом слове, вероятно, как указывает Sammallahki, следует реконструировать ПУ *ē.

морд. *rédams* (E, M) ‘закрываться, приклеивать, становиться упрямым’ (Paas.: 1582). ПУ **silmä* ‘глаз’ (Jah., Samm. **s'ilmä*) 479 > фин. *silmä*; морд. *šelme* (E), *šelmä* Pl. *šelmǣ* (M) (Paas.: 2128). **ПУ *ü³¹:** ПУ **wilä* (**wülä*) ‘верхнее покрытие’ (Jah., Samm. **üli*) 573 > фин. *yllä* ‘выше’; морд. *vélks* (E), *velks* (M) ‘верхний’, *véilde* (E) ‘через, посредством’, *véldä* (*véldə-*) (M) ‘благодаря, посредством’ (Paas.: 2605). **ФВ *nükta** ‘выщипывать, выдергивать’ 715 > фин. *nuhtä-* ‘рвать, вырывать’; морд. *névitams* (E), *näftims* (E), *neftäms* (M) (Paas.: 1397).

III. Основы на ПМ *ä в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 3 примера):

ПУ *e: ПУ **céčä* ‘дядя’ (Jah., Samm. **cесä*) 34 > фин. *setä*; морд. *čiče* (E) ‘муж сестры, который старше, чем я’, *ščená*, *ščená-* (M) ‘бабушка со стороны матери’ (Paas.: 259). **ФУ *kerä** ‘связка, узел’ (Samm. **kelärä*) 147 > фин. *kerä* ‘клубок, кочан’; морд. *kiré* (E), *kärä* (M) (Paas.: 779).

IV. Основы на ПМ *ä в эрзянском и мокшанском диалектах (всего 12 примеров):

ПУ *ä: ФУ **säkä* ‘вид рыбы’ 469 > фин. *säkä*, *säke*, Род. *säkeen*, *säe*, Род. *säkeen*; морд. *šije* (E), *si* (M) ‘сом, налим’ (Paas.: 2151). **ПУ *e:** ФУ **kečä* ‘круг’ (Samm. ФП **keččä*) 141 > фин. *kehä*; морд. *či* (E), *si* (M) ‘солнце, день’ (Paas.: 249). **ПУ *i:** ФУ **jikä* (**ikä*) ‘возраст, год’ (Samm. **ikä*) 98 > фин. *ikä*; морд. *ije* (E), *ij* (M) (Paas.: 441). **ПУ *ü:** ФВ **kürsä* ‘хлеб’ 679 > фин. *kyrsä*; морд. *kši ~ kše* (E), *kši*, Род. *kšin* (M) (Paas.: 907). ФВ **sürjä* ‘сторона, край’ 779 > фин. *syrjä*; морд. *čiré*, *šíre* (E), *širä*, Род. *šíren ~ šir* (M)³² (Paas.: 269).

ВЫВОДЫ

1. В прамордовских *a-, *o-, *i-, *ä-основах ударение без изменений сохранилось в мокшанских диалектах. В прамордовских *ä-основах в современных мокшанских диалектах ударение центрировалось на корне, но его место в прамордовском языке может быть реконструировано по рефлексам вокализма первого слога.

2. ПУ (ФУ, ФВ) вокалические различия в первом слоге сохраняются в прамордовском в весьма усеченном виде³³ – только в тех словах, где ударение падало на первый слог. В словах с ударением на непервом слоге все ПУ (ФУ, ФВ) гласные совпадают в одном прамордовском гласном в зависимости от типа основы.

Таким образом, очевидно, что рефлексация прауральских гласных первого слога в ПУ *a-, *o-, *i-, *ä-основах в мордовских языках зависит практически исключительно от качества прамордовского гласного второго слога и места прамордовского ударения, которое без изменений сохранилось в мокшанском языке.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

диал. – диалект

морд. – мордовский

Е – эрзянский

Е:Кад – диалект Кадом Теньгушевского района Мордовской АССР

Е:Кайл – диалект села Кажлодка Торбеевского района Мордовской АССР

³¹ Не вполне понятно, как объясняются рефлексы вокализма первого слога в мордовском языке в этимологии ПУ **cikl(́)ä* (*cäkl(́)ä*) ‘бородавка’ (Samm. (ФУ?) **s'üklä*) 36 > морд. *šilge*, *šilgä* (E), *šilgä* (*šilgə-*) (M), *čilgä*, Род. *čilgən* (M) (Paas.: 2153). Такой рефлекс характерен для ПУ *ü перед прамордовским *-ä. Однако в этой этимологии ауслаутное -ä в форме *šilgä* (M:P) однозначно свидетельствует в пользу реконструкции прамордовского *-äз во втором слоге.

³² Судя по мокшанским рефлексам, в этом слове присутствует чередование основ *ä vs. *ä. Но рефлексы первого слога отражаются, как в ПМ *ä-основах.

³³ Как было показано, в ПУ *a-, *o-, *i-основах все гласные первого ударного слога, за исключением ПУ *a, совпадают и развиваются в мордовское o. Хорошо сохраняется различие ПУ гласных первого слога лишь в ПУ *a-основах с ударением на первом слоге.

М – мокшанский
М:Р – диалект Пензенской области, (без западных районов) Мордовской АССР
ПМ – прамордовский
ПУ – прауральский
Род. – родительный падеж
саам. – саамский
А – Аккала
I – Инари
Kld – Килдин
L – Люле
N – норвежско-саамский
Not – Нотозеро
Pitä – Пите
T – Тер
ФВ – прафинно-волжский
фин. – финский
ФП – прафинно-пермский
ФУ – прафинно-угорский

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бубрих 1937 – *В.Д. Бубрих. Из истории мордовского вокализма // Советское языкознание. № 3. Л., 1937.*
- Бубрих 1953 – *В.Д. Бубрих. Историческая грамматика эрзянского языка. Саранск, 1953.*
- Девасев 1970 – *С.З. Деваев. Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянских) литературных языков. Саранск, 1970.*
- Елисеев 2002 – *Ю.С. Елисеев. Финско-русский и русско-финский словарь. М., 2002.*
- Ермушкин 1977 – *Г.И. Ермушкин. Развитие фонетической системы диалектов эрзя-мордовского языка: Научн. докл. по дис. ... д.-ра филол. наук. М., 1997.*
- Живлов 2006 – *М.А. Живлов. Реконструкция праобскоугорского вокализма: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.*
- Иванова 2006 – *Г.С. Иванова. Система гласных в диалектах мокшанского языка в историческом освещении. Саранск, 2006.*
- Коляденков 1948 – *М.И. Коляденков. К вопросу об ё и э в первом слоге слова в говорах эрзя-мордовского языка // Филологические доклады. Саранск, 1948. Т. 2.*
- Лыткин 1964 – *В.И. Лыткин. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964.*
- Лыткин 1965 – *В.И. Лыткин. Вопросы акцентуации пермских языков // Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Berlin, 1965.*
- Лыткин 1970а – *В.И. Лыткин. Проблема лексического ударения в финно-угорских языках // ALN. 1970. № 4.*
- Лыткин 1970б – *В.И. Лыткин. О вокализме непервого слога финно-угорских языков // СФУ. 1970. № 3.*
- Миронов 1936 – *Т.П. Миронов. Теньгушевский (шокша) диалект как результат скрещивания. Саранск, 1936.*
- Мосин 1987 – *М.В. Мосин. Эволюция структуры финно-угорской основы слова в мордовских языках: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Тарту, 1987.*
- Мосин 1989 – *М.В. Мосин. Фонетическая структура финно-угорской основы слова в мордовских языках. Саранск, 1989.*
- Надькин 1988 – *Д.Т. Надькин. Проблема редуцированного гласного и особенности развития ударения в мордовских языках // Актуальные вопросы мордовских языков. Саранск, 1988.*
- Рот 1964 – *А.М. Рот. О гармонии гласных в финно-угорских языках // Вопросы финно-угорского языкознания. М.; Л., 1964.*
- Серебренников 1967 – *Б.А. Серебренников. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967.*
- Трубецкой 1987 – *Н.С. Трубецкой. Мордовская фонологическая система в сравнении с русской // Н.С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987.*

- Феоктистов 1974 – А.П. Феоктистов. К обоснованию фонематичности мокша-мордовского шва с учетом функциональной нагрузки // *Acta linguistica... Hungarical*. Budapest, 1974.
- Хелимский 2000 – Е.А. Хелимский. Компаративистика. Уралистика. Лекции и статьи. М., 2000.
- Bereczki 1988 – G. Bereczki. Geschichte der wolgafinnischen Sprachen // *The Uralic languages: Description, history, and foreign influences*. Brill, 1988.
- Hajdú 1966 – P. Hajdú. Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest, 1966.
- Helimski 2001 – E. Helimski. Ablaut als Umlaut im Ostjakischen: Prinzipien und Grundzüge der lautgeschichtlichen Betrachtung // Fremd und Eigen: Untersuchung zur Grammatik und Wortschatz des Uralischen und Indogermanischen / In memorium Harmut Katz. Wien, 2001.
- Itkonen 1946 – E. Itkonen. Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen. // *FUF*. 1946. № 29.
- Itkonen 1955 – E. Itkonen. Über die Betonungsverhältnisse in den finnische-ugrischen Sprachen // *ALH*. 1955. № 5.
- Itkonen 1957 – E. Itkonen. Suomalais-ugrilaisen kantakielen aanne- ja muotorakenteesta // *Vir* 61. 1957.
- Itkonen 1971 – E. Itkonen. Betrachtung zur zeitgenössischen Forschung der finnisch-ugrischen Laut- und Formlehre // *СФУ*. 1971. XVII / 2.
- Janhunen 1977 – J. Janhunen. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki, 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
- Janhunen 1981 – J. Janhunen. Uralilaisen kantakielen sanastosta // *JSFOU*. Bd. 77. 1981.
- Korhonen 1988 – M. Korhonen. The history of the Lapp language // *The Uralic languages: Description, history, and foreign influences*. Brill, 1988.
- Lehtiranta 1989 – J. Lehtiranta. Yhteissaaamelainen sanasto // *Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia* mémoires de la société finno-ougrienne 200. Helsinki, 1989.
- Paasonen 1903 – H. Paasonen. Mordwinische Lautlehre // *MSFOU*. 22. 1903.
- Paasonen 1990–1996 – H. Paasonen. Mordwinisches Wörterbuch. I–IV. Helsinki, 1990–1996.
- Ravila 1929 – P. Ravila. Über eine doppelte Vertretung des urfinnischwolgaischen *a der nichtersten Silbe im Mordwinischen // *FUF*. № 20. 1929.
- Ravila 1973 – P. Ravila. Der Akzent im Erza-Mordwinischen // *FUF*. № 56. 1973.
- Sammallahti 1988 – P. Sammallahti. Historical phonology of the Uralic languages // *The Uralic languages: Description, history, and foreign influences*. Brill, 1988.
- Rédei 1968 – K. Rédei. A permnyelvek első szótági magánhangzóinak a történetéhez // *NyK*. 1968. Bd. LXX.
- Szinneyei 1922 – J. Szinneyei. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Berlin; Leipzig, 1922.
- UEW – K. Rédei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986–1989.

© 2009 г. Н.В. КАБИНИНА

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ РЕЛИКТЫ НИЖНЕГО ПОДВИНЬЯ (Лодьма, Оногра, Соломбала)

В статье рассматривается ряд географических названий финно-угорского происхождения, представляющих древнейший топонимический субстрат нижнего Подвина. Автор затрагивает дискуссионные вопросы этимологизации реликтов, предлагает и обосновывает новые версии их этноязыковой интерпретации.

Финно-угорский топонимический субстрат Русского Севера – одна из самых обсуждаемых и одновременно одна из самых этимологически трудных областей отечественной исторической ономастики. При несомненных успехах, достигнутых к сегодняшнему дню в этноязыковой интерпретации целого ряда «типичных» субстратных названий Русского Севера, неразгаданной остается пока значительная часть редких и единичных топонимов – в то же время именно они во многих случаях таят в себе голос наиболее глубокой древности. Подтверждением тому служит субстратная топонимия низовий Северной Двины, фиксируемая историческими источниками с XIV–XV веков: многие субстратные названия этой территории имеют уникальный для Русского Севера фонетико-морфологический облик, который лишь в единичных случаях дал исследователям основания для убедительных этимологических гипотез. Ни в коей мере не претендую на конечность результата, автор настоящей статьи предлагает вниманию читателя три этимологических этюда, посвященных финно-угорским топонимическим реликтам Русского Севера – нижнедвинским названиям *Лодьма*, *Оногра* и *Соломбала*, которые известны многим поколениям филологов и историков по замечательным публикациям «двинских грамот» в работах А.А. Шахматова и целом ряде других изданий.

ЛОДЬМА

Река Лодьма впадает в Северную Двину в 15 километрах к северо-востоку от Архангельска, длина ее – около 100 километров. Река берет начало из озера *Лодьмозеро* и имеет достаточно разветвленный бассейн с крупными притоками *Сумара*, *Куропалда* и *Колозьма*. В историческом отношении река Лодьма примечательна тем, что с ней связаны особенно устойчивые и многочисленные предания о древней «чуди» – этот факт отмечает один из первых архангельских краеведов, исследователь XVIII в. В.А. Крестинин [Крестинин 1792: 7].

Письменные источники свидетельствуют о том, что постоянное русское население появилось на Лодьме не позднее середины XV века. Во всяком случае, по дошедшим до нас документам ясно, что к концу этого столетия на Лодьме уже сложилась система хозяйствования, включавшая не только промыслы, но и земледелие. В 1503–1504 гг. на реке известны *Коровкин погост*, *Онекеевская* и *Гришинская* деревни [АЛЦ 1908: 6], чуть позже фиксируются деревня *Фофановская* и местность *Бабин наволок* [СГКЭ 1922: 51]. В XV в. на Лодьме была построена *Георгиевская церковь*, далее нередко именуемая *Лодомской* или *Лодемской*. Она находилась примерно в 25 километрах выше устья реки и долгое время являлась одним из важнейших центров, контролировавших социальную жизнь нижнедвинского региона.

Несмотря на давнюю известность гидронима, серьезно обоснованных этимологий для него пока не предлагалось. В устном общении с коллегами автору не раз доводилось слышать о том, что название *Лодьма* с некоторым сомнением может быть сопоставлено с фин., карел. *lotma*, люд. *lodm(o)* ‘долина, ложбина, низина’ [SSA 1995: 95]; ср. также явно заимствованное из приб.-фин. источника новг. *лôдма* ‘ложбина с известняковым днищем’ [Мурзаев 1999: 22]. Лексема известна в прибалтийско-финской топонимии: в Карелии с ней связывается название урочища *Lotma* [Мамонтова, Муллонен 1991: 55], а в топонимии Финляндии есть даже как будто прямая параллель северорусскому гидрониму – река *Lodmaioki* (другие варианты записи *Lodhmaikj*, *Loimijoki*) [SSA 1995: 95]. Финские этимологи не исключают связь этого гидронима с ландшафтным термином *lotma*, однако указывают на сложность исторического взаимодействия схожих лексем *lotma* (в приведенном выше значении) и *loima*, *loihma*, *loim* ‘углубление, дупло; ложбина’, по историческим словарным данным также ‘пески, песчаник’ [SSA 1995: 87].

Как бы ни решался в конечном итоге вопрос о лексическом источнике финского названия, для северорусской *Лодьмы* сопоставление с приб.-фин. *lotma* не имеет достаточных семантических оснований, поскольку примеры употребления подобных терминов в гидронимии Русского Севера известны пока лишь для малых объектов – например, речных заливов или оврагов с протекающими по дну ручьями, к каковым река *Лодьма*, безусловно, не относится.

В данной статье предлагается иная этимология гидронима. Ее исходным импульсом послужили языковые факты, засвидетельствованные А. Генецем и Т. Итконеном в их лексикографических описаниях диалектов саамского языка¹.

А. Генец, фиксировавший саамские диалектные данные во второй половине XIX в., приводит в их числе две лексемы, засвидетельствованные только в терском диалекте: имя *lîhte* и глагол *lîhtede*. Согласно транскрипции Генеца, графема *î* обозначает долгий сдвинутый назад *i*, а графема *h* – слабый придыхательный звук (подобная основа передавалась бы на русский язык как **льт-*). Значения лексем в терском диалекте следующие: *lîhte* ‘жертва; саамская языческая вера’, *lîhtede* ‘приносить в жертву, совершать языческий обряд’. Кроме этих слов, А. Генец фиксирует также одну производную лексему: *lîht-pâlle* ‘время совершения жертвенных обрядов (= фин. *tammikuu* «январь»)’.

Через несколько десятилетий Т. Итконен, составлявший свой словарь в условиях длительной экспедиции на Кольский полуостров, уже не обнаруживает в терском диалекте лексем, записанных Генецем – факт неудивительный, если принять во внимание социальные перемены, принесенные в жизнь северного края XX веком. Однако Т. Итконену удается подтвердить данные Генеца фиксацией новой производной лексемы *lûk'-tuut*, обозначающей важную часть саамского языческого обряда – деревянный остов, обтянутый оленьей шкурой (обрядовая имитация живого жертвенного оленя). Кроме того, сославшись на данные Г. Хальстрэма (нач. XX в.), Т. Итконен отмечает следы исходной лексемы в других саамских диалектах Кольского полуострова: *luoth-poadz* ‘жертвенный олень’ и *luoth-virr* ‘место поклонения богам и жертвоприношений’ [KKLS 1958: 213].

Специальный фонетический комментарий к этим данным почти не требуется: хорошо известно, что терское *l* (или *î* по Генецу) во множестве случаев соответствует дифтонгам типа *uo* в других диалектах кольских саамов (в кильдинском диалекте нередко также *ii*). Несмотря на осколочность фактов, по ним вырисовывается возможность реконструкции древней саамской основы **lōt-*, которую, вероятно, исходно следует считать глагольной, как и многие основы с подобным «ритуальным» значением. Тем самым в топонимии при данной основе возможен формант -(V)m-, восходящий, по мнению большинства исследователей, к древнему финно-угорскому суффиксу причастий и прилагательных (см. подробнее: [Матвеев 2004: 23–24]). Этот формант известен в некоторых архаичных саамских топонимах, поэтому название *Лодьма* вполне может иметь

¹ Далее данные А. Генеца приводятся по работе Т. Итконена [KKLS 1958: 213].

собственно саамское происхождение. В этом случае оно должно толковаться как «Река совершения жертвенных обрядов», т.е. в языческом смысле «Святая, Священная река», объект с древним культовым значением, каких, судя по иным топонимическим данным – например, по названиям на *Пыши-/Паши-* – на Русском Севере было достаточно много [Матвеев 2004: 234–238].

В связи с этой этимологией заслуживают внимания приб.-фин. лексемы, со знаком вопроса приводимые авторами SSA в качестве соответствий к саамским. Развиваясь, по-видимому, из некоего древнего «языческого» источника, эти приб.-фин. слова имеют ныне целый ряд далеких от него значений, ср. фин. *luote*, *luoteet* '(стиховой) заговор; уловка, каверза; проделка, проказа; отговорка; упрек, хула', *luode* 'то же; судьба, рок', *luotella* 'упрекать, осуждать; клеветать', *luotattaa* 'ворчать, бурчать', карел. *luote* 'заговор, заклинание; упрек, осуждение' [SSA 1995: 110]. Возможно, в далекой древности эти слова имели значение, близкое к значению саамских диалектизмов – тогда для названия *Лодьма* можно допустить и финское происхождение. При этом, однако, саамские данные следует признать более убедительными – в частности и потому, что они, в отличие от «темных» финских, уверенно возводятся авторами SSA к древнегерманским этимонам с топонимическими и предельно близкими к саамским значениями (**blōta-*, ср. др.-норв. *blót* 'языческий праздник', *blóttre* 'жертвенное дерево' [Там же]: саам. *lūč̄-tugt* является, видимо, точной калькой этого германского слова). Разумеется, вполне вероятно и то, что гидроним *Лодьма* принадлежал древнему вымершему наречию, в котором совмещались прибалтийско-финские и саамские черты.

Несмаловажно, что гипотеза, предполагающая «культовую» семантику гидронима, находится в отношениях взаимной аргументации с отмеченными выше фактами исторического порядка: как с фактом особой устойчивости связанных с Лодьмой преданий о «чуди», так и с фактом раннего строительства самой крупной и влиятельной церкви нижнего Подвиная именно на реке Лодьма – в неудобном для хозяйствования месте, в глухих и заболоченных лесах, примерно в 50 километрах от новгородских административных центров нижнедвинского региона. Основание церкви на Лодьме, видимо, в первую очередь служило задачам борьбы с языческими традициями аборигенного населения – разумеется с его сопутствующим религиозным и экономическим подчинением. Как отмечает А.Л. Шилов, основание церквей на местах языческих святилищ было в средневековой Руси не только обычной «местной» практикой, но и неотъемлемой частью сознательной политики церковной и светской властей [Шилов 2006: 53]. В Поморье XV в. эту ситуацию можно видеть и в другом, более известном случае – основании Соловецкого монастыря на месте языческого святилища, в тесном окружении «дикой лопи».

В связи со сказанным нельзя не обратить внимание на официальное название Лодомской церкви – *Георгиевская* (в ранних документах есть и более полное ее наименование: церковь Георгий Страстотерпец [САС 1972: 242; 1587–1588 гг.]). Для Архангельского Поморья именование церкви в честь великомученика Георгия – явление весьма редкое² и в случае с Лодомской церковью, вероятно, «знаковое», поскольку святой Георгий в русской христианской культуре персонифицирует прежде всего идею победоносной борьбы с язычеством. В русских духовных стихах он под именем Егория Храброго побеждает на поединке язычника «царища Демьянища» [СД 1995: 496–498; Хлыбова 2003: 130–133], тот же мотив победы Георгия над «поганым змием» ярко выражен в русской иконографии (из новгородских образцов широко известна, к примеру, икона «Чудо Георгия о змие» (нач. XV в.), хранящаяся ныне в Третьяковской галерее).

Возвращаясь к этимологии гидронима, в частности, к ее типологическому обоснованию, отметим на основе данных Т. Итконена собственно саамские названия, которые, вероятно, родственны севернорусскому *Лодьма*. На Кольском полуострове (зона сон-

² Еще одна поморская церковь святого Егория с нач. XVI в. известна в Кехте (Кехотской волости Двинского уезда) [АСМ 1988: 38].

гельского диалекта) это река *Ljōott-tjorr-joskk*^(A), за его пределами – гора *Luotti-muruoiva* [KKLS 1958: 990]. Редкость и идиоматическая связанность рассматриваемой основы в собственно саамской топонимии позволяют еще раз убедиться в том, что основа эта весьма древняя и, возможно, на Русском Севере восходит не к непосредственно саамскому источнику, а к какому-либо близкородственному наречию.

ОНОГРА

Озеро *Оногра* находится в окрестностях города Холмогоры, близ левого берега Северной Двины. Название это, очевидно, двухкомпонентное: финаль -гра как по фонетическим, так и по смысловым показаниям следует считать рефлексом детерминанта *-ягр (< **jagr*, **jaⱡr*, **jägr*, **jäyr* ~ приб.-фин. *järvi*, прасаам. **jävrē*, мар. *jär*, *jer* ‘озеро’), который, по мнению А.К. Матвеева, наиболее близок к древним саамским или северо-финским данным [Матвеев 2001: 288–289].

Интересно, однако, что в текстах исторических документов *Оногра* квалифицируется то как *озеро*, то как *река*, ср.: «у озера у *Оногра* пожня» [СГКЭ 1929: 22; 1653 г.], «а когда де бывает вешняя великая вода, тогда ту пожню Батюрмолу с краю, что от *Оногры* реки, песком засыпает, льдом здирает» [СГКЭ 1929: 245; 1690 г.], «в Матигорской волости поженка Батермоля до *Оногры* озера» [СГКЭ 1929: 272; 1691 г.], «а оное судно стояло на реке на *Оногре*» [ДЛ 1977: 113; 1698–1699 гг.] и т. п. На карте 1792 г. [Челищев 1886: 122] *Оногра* показана как узкая протока, отделяющая Холмогоры от западной части Курейско-Матигорского острова; вдоль нее обозначено несколько небольших озер, одно из которых называется *Плауча*. Это название известно до наших дней – местные жители объясняют его тем, что озеро «плавает», т.е. перемещается и меняет форму при изменениях уровня воды в Северной Двине.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что в данной местности, на островах и близ двинских берегов, которые здесь низменны, гидрообъекты «озерного» типа вообще очень тесно связаны с Северной Двиной. При подъеме воды многие из них превращаются в протоки («полои») или заливы, а при спаде воды могут полностью пересыхать. Эта особенность неоднократно отражена в номинациях озер: близ *Оногры* известны, к примеру, озера *Первая* и *Вторая Пересуха* (почти полностью обсыхают при малой воде), озеро *Затоплявка* (весной – озеро, летом – покос), озера *Речка* и *Курья* (при *курья* ‘залив’ [КСГРС]), озеро *Вялахта* (при *лахта* ‘залив’ [КСГРС]), оз. *Хурдуга* (судя по форманту, в прошлом река, теперь – узкое и длинное озеро). Несколько озерных заливов показано на карте 1792 г. [Челищев 1886: 122] в ближайшем соседстве с *Оногрой* – один из них имеет характерное название *Кутозеро* (ср. кут ‘небольшой залив’ в лексике местных говоров [КСГРС]). На основании этих данных возможно предположить, что в названии *Оногра* при его возникновении также отразился специфический местный тип географической реалии – озерный залив, превращающийся в протоку при подъеме уровня воды в Северной Двине. В таком случае основа названия *Оногра* может быть сопоставлена с прасаам. **vōnq* [YS 1989: 154], саам. патс. *vuonq^a*, нотоз. *vuon-*^a, кильд. *vūnn^(A)* ‘узкий и длинный залив (моря, озера)’; саам. > фин. *vuono* ‘то же’ [KKLS 1958: 788; SSA 2000: 474]. Утрата начального *v* может объясняться на русской почве в системе подобных колебаний начала слова, ср. исторические варианты топонимов *Ождорма/Вождорма, Волховска/Ольховская*, известные в этом же микрорегионе.

СОЛОМБАЛА

Название *Соломбала*, известное с XV века, относится ныне к северной части Архангельска, которая отделена от остальной территории города рекой Кузнецеха. Названию посвящено немало историко-топонимических работ, краткий обзор которых дан А.Л. Шиловым [Шилов 1996: 65].

Этимологические трактовки топонима весьма разноречивы, чему отчасти способствует неопределенность его первоначальной географической квалификации: в истори-

ческих источниках нередко говорится о *Соломбale рекe*, однако некоторые контексты позволяют понимать под Соломбалой также остров или берег (ср.: «в Соломбale деревня Карповская» [СГКЭ 1922: 303; 1586 г.] и т.п.).

Основных версий при объяснении этого топонима две. Согласно первой, в названии выделяется начальный компонент *Co-*, сопоставимый с приб.-фин. *suo* ‘болото’; согласно второй, начальным компонентом является *Сол-* < саам. **suolo* ‘остров’. Относительно второго компонента наиболее обоснованной представляется точка зрения А.Л. Шилова, изложенная в упомянутой выше работе: (**Сол*)-*ломбала* < саам. **lombal* (~ *luobbal*, *lommal*) ‘широкий озерообразный разлив реки’, саам. > фин. диал. *lompolo*. А.Л. Шилов полагает, что топоним *Соломбала* в целом означает «расширение реки с островами», что «как нельзя лучше характеризует рельеф нижней Двины» [Шилов 1996: 65]. Отметим, однако, что эта версия может считаться приемлемой лишь в том случае, если *Соломбалой* некогда называлась вся двинская дельта или значительная ее часть.

Нам представляется, что это не так. Во-первых, тексты исторических источников, не всегда указывая на вид объекта, все же свидетельствуют о некой вполне определенной локализации *Соломбалы* («до Соломбалы реки ловля», «в Соломбale деревня» и т.п.). Во-вторых, в двинской дельте есть еще одна **Соломбала* – детерминант исторического названия, имевшего ранние варианты *Коисоломбала*, *Коисоловала*, *Колсоломбала*, *Комсоломбала* (XVI – нач. XVII в.), позднее *Косоломбала река*, *Косолонбала* (XVII–XVIII вв.). Это совершенно другой объект: согласно историческим привязкам, он находился в западной части дельты – в акватории средней части Никольского устья, близ деревень Бармино, Шихириха и Личка (причем, судя по контекстам, этот объект, как и *Соломбала*, имел сугубо «местный» статус). Ныне в приведенных формах название неизвестно, однако в указанной зоне есть гидроним *Косомбала*, называющий протоку между островами Лясомин и Чубольский. Почти очевидно, что эта *Косомбала* – современный вариант бывшего названия *Коисоломбала*, *Косоломбала река* и др., которое, как видно из всего ряда фонетических вариантов, с течением времени непрерывно трансформировалось и упрощалось.

Важно, что при сопоставлении двух рассматриваемых названий подтверждается фигурирующая в исторических источниках этимологически существенная деталь: *соломбала* квалифицирует относительно небольшой водный объект (*Соломбала река*, *Косоломбала река*, далее протока; оба места источники связывают с «рыбными ловлями»). Это позволяет вернуться к этимологии А.Л. Шилова, однако его версию необходимо уточнить.

Прежде всего, саам. **lombal* (~ не только *luobbal*, *lommal*, но и *lāmbal*, *lumbol*) Т. Итконеном буквально толкуется так: «маленькое внутреннее озеро, через которое течет река, озерообразное образование на реке» (= нем. «ein kleiner binnensee, durch welchen ein flus fliesst, seeartiges gebilde in einem fluss» = фин. *jokijärvi* ‘речное озеро’) [KKLS 1958: 225]. Как следует из этого определения, название *Соломбала* (**Сол-ломбала*) в целом должно толковаться не как «широкий озерообразный разлив реки с островами» (А.Л. Шилов), а как «маленькое островное озеро на реке» (т.е. «маленькое озеро на реке, протекающей по острову»; кстати, отличное место для рыбной ловли). Можно предполагать, что в прошлом это слово было географическим термином – во всяком случае, в собственно саамской топонимии есть «двойник» поморской *Соломбалы* – речное озеро *Suollumbal* [KKLS 1958: 1018]. В русской лексике двинской дельты, где озер на островных протоках немало, этому термину приблизительно соответствует слово *курган*, ср.: *курган* (Арх.-двинск.) ‘бакалдина с водою’ [Даль 1989, II: 221] – при *бакалдина* ‘глухой заливец или ковш (округлый залив с пережабиною, узким проливом)’ [Даль 1989, I: 39].

Обратимся к физико-географическим подтверждениям этимологии. В той части Архангельска, которая ныне называется *Соломбалой*, на протоке *Соломбалка* действительно есть озеро (А.Л. Шилов пишет, что речка *Соломбалка* – это искусственная канава, выкопанная в эпоху Петра I при устройстве верфи, однако это относится, видимо, лишь к южной части нынешней *Соломбалки*; протока же здесь существовала и раньше, ср.: «деревня Соломбала меньшая Федора, на протоке» [Довнар-Запольский 1905: 144–145;

1678 г.]³. На протоке *Косомбала* в месте ее слияния с речкой Шапшала также есть озероподобное расширение русла, превосходящее ширину самой Косомбалы в десятки раз.

Итак, *соломбала*, на наш взгляд, – термин и детерминант саамского происхождения, имеющий значение ‘речное озеро на острове, озеро на островной реке (протоке)’. По всей видимости, архангельское *Соломбала* первоначально относилось именно к такому объекту, но далее вследствие метонимии стало обозначать всю близлежащую местность.

ВЫВОДЫ

Не требуется доказывать, что вероятностная интерпретация небольшого круга реликтовых субстратных названий не может служить основой для построения исчерпывающих выводов этноязыкового порядка. В то же время известная общность нескольких этимологических результатов всегда имеет высокую ценность для дальнейшего поиска и, соответственно, должна быть обозначена.

В нашем случае эта общность видится прежде всего в том, что рассматриваемые топонимические реликты самым теснейшим образом связаны с саамскими данными – при этом в каждом из трех примеров проявляются черты достаточно глубокой языковой архаики. Так, вторая часть названия *Соломбала* не имеет точного фонетического аналога в известных ныне саамских диалектах: по вокализму первого слога она соответствует говорам колтта (*luobbal, lomtal*), однако по наличию консонантной группы *-мб-* исключает прямую связь с этими говорами и сближается с кильдинским *līmbal, lumbol*. Разрешение этого фонетического противоречия видится в том, что название *Соломбала* отражает языковое состояние, близкое к прасаамскому (**lōmb-*). Архаичность субстратного прототипа очевидна и в случае с названием *Лодьма*, основа которого восстанавливается по реликтовым фактам саамской диалектной лексики и, следовательно, также может принадлежать к прасаамской эпохе. Наконец, гидроним *Оногра*, отражая в основе тот же, что и в предыдущих случаях, «*о*-вокализм» (~ прасаам. **ō*), содержит рефлекс детерминанта *-ягр*, для которого, как отмечалось выше, допустимо не только саамское, но и северофинское («*досаамское*») происхождение. Эти наблюдения в целом, с одной стороны, ориентируют дальнейший этимологический поиск, а с другой стороны, подтверждают складывающееся в науке представление о том, что так называемые «*двинские саамы*» отличались от ближайших родственных групп (в том числе – кольских саамов) значительной этноязыковой архаикой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- АЛЦ 1908 – Акты Лодомской церкви Архангельской епархии. СПб., 1908.
АСМ 1988 – Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988.
Даль 1989, I – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1989.
Даль 1989, II – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1989.
ДЛ 1977 – Полное собрание русских летописей. Т. 33. Холмогорский Летописец. Двинский Летописец. Л., 1977.
Довнар-Запольский 1905 – М.В. Довнар-Запольский. Веревные и разрубные книги Северного края // Летопись занятий императорской археографической комиссии за 1902 г. Вып. 15. СПб., 1905.
Крестинин 1792 – В.А. Крестинин. Краткая история о городе Архангельском. СПб., 1792.

³ Этот контекст, датированный 1678 годом, свидетельствует также о том, что А.Л. Шилов ошибается и в другом своем утверждении, согласно которому первое русское поселение на Соломбale возникло не ранее 1693 г., когда Петром I был подписан указ об устроении здесь верфи. Более того, *деревни* (паши, при которых обычно имелись дворы) «в Соломбale» отмечаются документами уже в XVI веке (см., например [СГКЭ 1922: 303]).

- КСГРС – Картотека словаря говоров Русского Севера (хранится на кафедре русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета).
- Мамонтова, Муллонен 1991 – Н.Н. Мамонтова, И.И. Муллонен. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.
- Матвеев 2001 – А.К. Матвеев. Субстратная топонимия Русского Севера. Т. I. Екатеринбург, 2001.
- Матвеев 2004 – А.К. Матвеев. Субстратная топонимия Русского Севера. Т. II. Екатеринбург, 2004.
- Мурзаев 1999 – Э.М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. Т. I. М., 1999.
- САС 1972 – Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда, 1972.
- СГКЭ 1922 – Сборник грамот коллегии экономии. Т. 1. Пг., 1922.
- СГКЭ 1929 – Сборник грамот коллегии экономии. Т. 2. Л., 1929.
- СД 1995 – Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. I. М., 1995.
- Хлыбова 2003 – Т.В. Хлыбова. Духовные стихи о Егории Храбром из собрания А.В. Маркова // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера. Петрозаводск, 2003.
- Челищев 1886 – П.И. Челищев. Путешествие по северу России в 1791 году. Санкт-Петербург, 1886.
- Шилов 1996 – А.Л. Шилов. Чудские мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996.
- Шилов 2006 – А.Л. Шилов. Топонимические свидетельства языческого прошлого Москвы // Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2006. № 3.
- KKLS 1958 – T.J. Itkonen. Koltan- ja kuolanlapin sanakirja. I-II // LSFU XV. Helsinki, 1958.
- SSA 1995 – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Т. 2. Helsinki, 1995.
- SSA 2000 – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Т. 3. Helsinki, 2000.
- YS 1989 – J. Lehtiranta. Yhteissaamelainen sanasto. Helsinki, 1989.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

диал.	диалектный
др.-норв.	древненорвежский язык
карел.	карельский язык
кильд.	кильдинский диалект саамского языка
люд.	людиковский диалект карельского языка
мар.	мариийский язык
нем.	немецкий язык
новг.	новгородские говоры русского языка
нотоз.	нотозерский диалект саамского языка
патс.	диалект Патсайоки саамского языка
прасаам.	прасаамский язык
приб.-фин.	прибалтийско-финские языки
саам.	саамский язык
фин.	финский язык

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2009 г. В.Г. КУЗНЕЦОВ

ЛУИ ЕЛЬМСЛЕВ: РАННЕЕ НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Статья посвящена первой теоретической работе Л. Ельмслева «Принципы всеобщей грамматики», представляющей научно-историографический интерес в плане установления преемственности с его последующим научным творчеством, и как опыт разработки методологических основ лингвистики универсалий – задача, сохраняющая свою актуальность и в настоящее время.

В 2008 г. исполнилось 80 лет со времени выхода в свет первой крупной работы выдающегося лингвиста XX в., основателя глоссематики Л. Ельмслева – «Принципы всеобщей грамматики» (1928) [Hjelmslev 1928], (в 1953 г. вышел испанский перевод). Анализ этой работы представляет историко-методологический интерес, поскольку дает возможность установить логику развития научной мысли ученого, определить степень преемственности с его основным трудом «Пролегомены к теории языка» (1943). Между тем в историографической литературе уделялось незаслуженно мало места изучению раннего научного творчества лингвиста, теория которого получила противоречивые оценки, и которая нуждается в более глубоком анализе с позиции современного гуманистического знания.

Работа Ельмслева представляет интерес для историка языкознания еще и потому, что в ней представлена широкая панорама развития не только лингвистики, но и смежных наук в первые десятилетия XX в. Она была опубликована, когда автору было 29 лет. До этого вышли две небольшие статьи на датском языке. Одна была посвящена вопросам фонетики литовского языка (1922), а другая – научному творчеству О. Есперсена (1923).

Обращает на себя внимание тот факт, что работа была написана не на датском, а на французском языке. Можно предположить, что это было сделано с той целью, чтобы она стала известна широким кругам европейских лингвистов. Это предположение основано на том, что Ельмслев упоминает имя датского лингвиста Х.Г. Вивеля, опубликовавшего в 1901 г. пионерскую работу, в которой были последовательно изложены основные принципы построения всеобщей грамматики. Тот факт, что эта работа не оказала заметного воздействия на развитие лингвистической теории, Ельмслев объясняет, в первую очередь, тем, что она была написана на датском языке [Hjelmslev 1928: 110–111].

Предпочтение французскому языку, очевидно, способствовало и то, что первая крупная работа Ельмслева была написана во время его пребывания в Париже в 1926–1927 гг. Он посещал лекции А. Мейе и Ж. Вандриеса, проявлял живой интерес и к другим французским и швейцарским лингвистам-последователям Ф. де Соссюра, особенно к М. Граммону и А. Сеше. Э. Фишер-Йоргенсен писала, что «на всю жизнь Ельмслев сохранил любовь к французскому языку и французской культуре, приверженность идеям французской лингвистики» [Fischer-Jørgensen 1965: V].

Привлекает внимание широкая эрудиция Ельмслева – знакомство с западноевропейской, восточноевропейской, американской лингвистикой и, что особенно интересно, хорошее знание и частое цитирование русских лингвистов, представителей формального направления Ф.Ф. Фортунатова, В.К. Поржезинского, А.М. Пешковского, М.Н. Петерсона. Их работы не были переведены. Мы не обнаружили сведений о том, читал ли Ельмслев по-русски. Поэтому на этот счет можно строить разные догадки.

Стимулом для написания Ельмслевым своей работы стал тот факт, что в начале XX в. среди лингвистов наметилась тенденция к разработке общей теории языка, которая осуществлялась в разных направлениях: определение объекта лингвистики Ф. де Соссюром, совокупность приемов лингвистического анализа у Л. Блумфильда, форма (типы) языков у Э. Сепира, природа языка О. Есперсена.

Работа Ельмслева характеризуется, с одной стороны, преемственностью с предшествующим развитием лингвистики – универсальные грамматики XVII–XVIII вв., учение Ф. де Соссюра, концепция А. Сеше, работы О. Есперсена и Э. Сепира, а с другой, – ориентирована в будущее – создание общей теории языка, в которой язык трактуется как автономный объект. Непосредственная задача «Принципов всеобщей грамматики» – разработать «теорию морфологической системы языка» [Там же: 3]. Путь, на который Ельмслев стал уже в своей первой работе, – определение языка как формы.

Хотя название работы Ельмслева и напоминает о французской традиции всеобщих грамматик, венцом которых можно считать работу Сильвестра де Саси [Sacy 1799], ее цель иная – заложить основы науки о языковых категориях. В центре внимания идея, что язык есть «форма, которая находит выражение в последовательности категорий, составляющих его систему» [Hjelmslev 1928: 7].

Ельмслев критикует логико-психологический подход А. Сеше и О. Есперсена к изучению морфологических категорий. По его мнению, ближе всего приблизились к выделению грамматических категорий на чисто формальной основе А.М. Пешковский и М.Н. Петерсон. Наука о лингвистических категориях еще не разработана. При этом Ельмслев ссылается на слова А. Мейе: «Предстоит проделать большую работу, чтобы расклассифицировать языковые факты с точки зрения самой системы» [Meillet 1921: vii]. «Чтобы разработать всеобщую грамматику, надо стать на почву самого языка», – подчеркивает Ельмслев [Hjelmslev 1928: 39]. Методы, на которых должно основываться создание всеобщей грамматики, – эмпирический и индуктивный. Эта установка контрастирует с последующей дедуктивной основой принципов глоссематики. Ельмслев даже критикует дедуктивный подход А. Сеше в его работе «Принципы и методы теоретической лингвистики» (1908) [Sechehaye 1908], которую он хорошо знал и неоднократно цитировал.

По мнению Ельмслева, Сеше более детально, чем Соссюр, подходил к различию состояния языка и его эволюции. Ельмслев делает важное замечание: различие между синхронией и диахронией только в методе: «объект один, различаются только точки зрения на него» [Hjelmslev 1928: 47]. Подобно Сеше, Ельмслев стремился дополнить соссюровское представление синхронии и диахронии как простое пересечение двух координат. По его мнению, эти оси должны комбинироваться с тем, что они позволяют рассматривать на уровне объекта: первое деление лингвистики на синхронию и диахронию пересекается с другим делением – на теорию звуков, теорию форм, теорию слов и теорию синтагм. Теория звуков, сохраняющая наибольшее равновесие между двумя осями, в равной мере допускает изучение с точки зрения синхронии и диахронии. Формы, слова и синтагмы все больше отдаляются от оси диахронии и приближаются к оси синхронии. «Звуки и синтагмы являются крайними полюсами эволюции» [Там же: 49].

Ельмслев подчеркивает доминирующую роль системы в языке: «система – доминирующий принцип организации любого языка» [Там же]. Разные единицы языка обладают неодинаковыми системными свойствами: крайними полюсами являются звуки и синтагмы. В отличие от Сеше, предугадавшего еще в 1908 г. развитие фонологии: «можно представить фонологическую систему в алгебраическом виде» [Сеше 2003: 130], Ельмслев

лев, несмотря на знакомство с работой Сеше, считал, что «понятие значимости не распространяется на систему звуков» [Hjelmslev 1928: 49].

Уже в ранней работе Ельмслева заложен формальный, реляционный подход к языку, получивший законченное развитие в «Пролегоменах». Так, «в синтаксисе элементы отсутствуют, есть только система» [Там же: 52]. При этом Ельмслев ссылается на второе издание работы А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» [Пешковский 1920], в которой формальный подход проводится наиболее последовательно. Он цитирует следующее высказывание Пешковского: «формы слов изменяются и от изменения звуков языка, и от изменения значений, и от изменения словаря. Но есть и такие изменения в области форм, которые не зависят ни от того, ни от другого, ни от третьего, а происходят сами по себе, и это как раз важнейшие изменения» [Пешковский 1920: 31]. Известно, что в дальнейшем Пешковский отошел от формализма, стремясь синтезировать его с психологизмом в духе идей А.А. Потебни.

Ельмслев не проводит различия между морфологией и синтаксисом: «любая морфология – синтаксис. Любой синтаксис – морфология» [Hjelmslev 1928: 53]. Как в морфологии, так и в синтаксисе преобладают синтагматические отношения. При этом Ельмслев ссылается на работу Ш. Балли 1922 г. «Язык и мышление» [Bally 1922]. Это еще раз свидетельствует о том, что Ельмслев хорошо знал работы ведущих представителей Женевской школы, последователей Ф. де Соссюра, Ш. Балли и А. Сеше, многие идеи которых оказали значительное влияние на формирование его лингвистических взглядов.

Вслед за Соссюром, для которого грамматика языка есть система средств выражения данного состояния [Соссюр 1977: 167], Ельмслев считал, что грамматика может быть только синхронной. Так же как и Соссюр, он отрицал возможность исторической грамматики. Он присоединяется к точке зрения Ш. Балли, аргументировавшего этот подход: «эволюция грамматического факта объясняется синхронными оппозициями, которые он приобретает в различные состояния своей эволюции, и каждое из этих состояний представляет собой целое, которое проявляется само по себе и внутри себя» [Bally 1922: 117].

Ельмслев считал, что наступило время до конца осуществить изучение языка в синхронии. Он полагал, что большая часть этой работы уже проделана Московской школой (учениками Ф.Ф. Фортунатова В.К. Поржезинским, А.М. Пешковским и М.Н. Петерсоном) и группой женевских лингвистов – Ш. Балли и А. Сеше.

В любой грамматической системе фундаментальным является понятие категории. Первым вопрос о категориях поставил Аристотель, но его подход был логическим. Современная грамматика во многом основывается на античной традиции. Однако «лингвистические категории не могут быть просто кальками логических категорий» [Hjelmslev 1928: 80]. Он настаивает на положении, ставшем основополагающим в его концепции: категории должны устанавливаться на строго лингвистической почве. В связи с этим он критикует А. Сеше и О. Есперсена за обращение к другим наукам при установлении чисто лингвистических фактов.

Категории существуют независимо от материального аспекта языка и «имеют собственную, независимую от слов, историю и собственное независимое развитие» [Там же: 83]. В качестве примера Ельмслев приводит случаи заимствования категорий без заимствования средств их выражения, когда используются возможности, предоставляемые заимствующими языками. Примером могут служить примечательные сходства между грамматическими системами ряда балканских языков, особенно между румынским, албанским и болгарским, касающиеся замены категории инфинитива другими грамматическими средствами и параллельным развитием суффиксированного артикля.

Ельмслев полагал, что в грамматике следует идти от выражения к значению, смыслу, а не наоборот, как предполагает метод идентификации, предложенный Ш. Балли [Bally 1909]. Отсюда неразличение морфологии и синтаксиса, которое восходит к А. Марти, А. Доза и Ф. де Соссюру. «С лингвистической точки зрения у морфологии нет своего реального и самостоятельного объекта изучения; она не может составить отличной от синтаксиса дисциплины» [Соссюр 1977: 168].

Ельмслев выделяет три класса языковых единиц: 1) фонемы, 2) семантемы и морфемы, 3) слова. Предложение не включено потому, что оно с трудом поддается определению. Это в неменьшей степени относится и к слову. Но слово – необходимое лингвистическое понятие, в то время как предложение может быть заменено, без ущерба, понятием синтагмы или теорией словосочетаний. Ельмслев предлагает рассматривать теорию словосочетаний как теорию комбинации семантем посредством морфем. Иначе обстоит дело со словом. Будучи независимой единицей, оно может рассматриваться безотносительно к составляющим его элементам. Ельмслев возражает против включения Соссюром лексикологии в грамматику. В то же время он одобряет подход в этом плане Г. Штейнталя, А. Нурена и Ш. Балли. «Лексикология и семантика должны рассматривать слово как единицу безотносительно к ее элементам, в то время как предмет грамматики – семантемы и морфемы в их взаимных отношениях, абстрагируясь от слова как такового» [Hjelmslev 1928: 99].

Можно предположить, что на концепцию грамматики Ельмслева оказала влияние точка зрения А. Сеше. «Наша концепция грамматики по отношению к термину «слово» соответствует точке зрения Сеше, который различает ассоциативную грамматику, занимающуюся семантемами, и синтагматическую грамматику, занимающуюся морфемами» [Там же: 100–101].

Выделенным трем элементам Ельмслев придавал универсальный характер. «Любой язык включает элементы трех видов: фонемы, являющиеся звуковыми элементами; семантемы и морфемы, являющиеся грамматическими элементами; слова, являющиеся элементами лексикологическими и семантическими» [Там же].

Ельмслеву импонирует высказывание Соссюра: «Задачей общей синхронической лингвистики является установление принципов, лежащих в основе любой системы, взятой в данный момент времени... К синхронии относится все, что называют "общей грамматикой"»...» [Соссюр 1977: 133]. Синхронические исследования могут быть двух видов: 1) исследование состояний конкретных языков и 2) исследования, связанные с абстрактным состоянием – плоскость, на которую проецируются факты, установленные в исследованиях первого типа, другими словами, всеобщая грамматика. Применительно к этой науке Ельмслев предлагает использовать термин «панхрония». Заметим, что Соссюр подходил к вопросу панхронии с позиции общего и отдельного: «В лингвистике... есть правила, переживающие все события. Но это лишь общие принципы, не зависимые от конкретных фактов; в отношении же частных и осозаемых фактов никакой панхронической точки зрения быть не может» [Соссюр 1977: 128].

Вслед за А. Сеше [Sechehaye 1908: 109, 127] Ельмслев предлагал рассматривать панхронию не как необходимость, а как общую возможность: «Установление панхронических возможностей станет – мы в этом твердо убеждены – целью любой общей лингвистики» [Hjelmslev 1928: 104]. Он ставил перед лингвистикой глобальную программу максимум: «панхронические результаты могут быть получены только сопоставительным рассмотрением состояний всех известных языков, в которых встречается рассматриваемое явление» [Там же: 106–107]. Другими словами, речь идет о построении лингвистики универсалий. Хотя со времени выхода работы Ельмслева прошло 80 лет, лингвистика все так же далека от решения этой задачи. Нельзя не согласиться с Ельмслевом в том, что достижение на этом пути подлинно научных результатов требует непомерных усилий. Оно под силу только крупному международному научному коллективу.

Грамматика, – в концепции Ельмслева, – наука не идеохроническая, а панхроническая, идеохронические исследования – всего лишь способы панхронического исследования [Там же: 107]. Он говорит о четырех научных центрах, где наметились тенденции к построению всеобщей грамматики в его определении: с одной стороны, Женева (Ф. де Соссюр и его ученики А. Сеше и Ш. Балли) и Париж (А. Мейе и его школа), а с другой – Москва и Ленинград.

Ставя на первое место Женеву, Ельмслев имел в виду, в первую очередь, работу Сеше «Программа и методы теоретической лингвистики», оказавшую заметное влияние на становление его лингвистической концепции. Заслугу русских лингвистов Ельмслев

видит в том, что они решительно поставили вопрос о существовании чисто формальных категорий и выступили против отождествления грамматики с психологией и логикой. Наконец, они проводили четкую границу между синхронией и диахронией.

Ельмслев разделяет определение формы, разработанное А. Сеше [Sechehaye 1908: 110 и сл.]. «Вместе с ним мы различаем звуковой аспект, конкретный и условный... и грамматическую форму, абстрактную и алгебраическую...» [Hjelmslev 1928: 112]. Ельмслев приравнивает грамматические категории к форме. Одна и та же категория может выражаться разным способом в различных состояниях языка. Два языка могут иметь одну и ту же форму, хотя способы, посредством которых она выражается, полностью различны в том и другом языке. В качестве аргумента Ельмслев привлекает следующее высказывание Балли: «Одно и то же понятие может облекаться в совершенно различные грамматические формы» [Bally 1922: 125]. Но при этом Ельмслев предлагает поменять местами терминологию: «не одно и то же понятие выражается разной формой, а одна и та же форма имеет разное воплощение» [Hjelmslev 1928: 114]. С точки зрения соссюровской терминологии «форма входит в состав означающего, а не означаемого» [Там же: 116]. Форма является осязаемой в том смысле, что она представлена рядом подсознательных категорий, заключенных в словесном образе. «Форма – посредник между мышлением и речью» [Там же: 120]. Ельмслев исоднократно обращался к определению формы. «Под формой надо понимать не только форму самого знака, но также форму, налагаемую знаком на артикуляционный ряд, в который он входит» [Там же: 121].

Всеобщая грамматика как наука о категориях представляет собой изучение форм, проявляющихся тремя способами: семантемами, морфемами и функциями. Под грамматической функцией Ельмслев понимает: 1) способность сочетаться исключительно с определенными морфемами и 2) способность сочетаться с другими семантемами исключительно посредством определенных морфем. Термин «грамматическая функция» никогда не применяется по отношению к морфеме. Только семантемы могут иметь функцию. Поэтому морфемы не существуют в изолированном виде. Примером функциональной дифференциации является дифференциация рода, порядок слов. Последние служат основанием рассматривать синтаксис как теорию грамматических форм.

В своей ранней работе Ельмслев еще не отделяет полностью форму от содержания. «Для разработки грамматической науки мы полагаем необходимым, в принципе, предположить, что каждая категория в каждый момент своего существования обладает значимым содержанием» [Там же: 169]. У Ельмслева встречаются высказывания,озвученные подходам современной когнитивной лингвистики к выделению мыслительного содержания на основе языковых фактов: «не подлежит сомнению, что изучение языка может послужить, само по себе, основой для выделения психологических фактов» [Там же: 170]. В отличие от Г. Пауля, полагавшего, что грамматические категории восходят к психологическим [Paul 1920: 263], Ельмслев придерживался противоположной точки зрения. «Напротив, возможно построить психологическую теорию на грамматической основе» [Hjelmslev 1928: 170]. Но в другом месте Ельмслев заявляет: «грамматика – дисциплина, которая по определению безразлична к любой проблеме семантического порядка» [Там же: 202].

Цель первой работы Ельмслева – «установить на основе сопоставления конкретных систем категорий абстрактную систему категорий, которая может быть спроектирована на все идеосинхронические состояния» [Там же: 214]. Проблема ставится следующим образом: возможно ли проецировать «конкретные системы языков», то, что В.фон Гумбольдт называл «внутренней формой», а Г. фон дер Габеленц «духом языка» (сходные идеи высказывали Ж. Ван Гиннекен, А. Сеше, Г. Шухардт, Ф. Боас и Э. Сепир), на абстрактный уровень, образующий систему? Другими словами, существуют некоторые грамматические средства, общие для всех языков, отражающие универсальное тождество основных психологических процессов. Речь идет о принципиальном родстве всех языков, но «теория этого фундаментального родства еще не разработана» [Там же:

254]. Вообще, мысль о лингвистической универсальности проходит красной нитью через все научное творчество Ельмслева.

Термин «внутренняя форма», по мнению Ельмслева, имеет ряд недостатков, отсутствующих у термина «система». Так, название «внутренний» может создать впечатление, что оно означает имплицитную форму и речь не идет о формальных фактах.

Представляет интерес модель знака Л. Ельмслева. Языковой знак состоит из трех различных, но связанных между собой частей:

I означаемое

II форма

III фонема

Форма выступает в гумбольтовском смысле как способ организации, членения содержания, специфичного для каждого языка.

Ельмслев останавливается на понятии нормы, получившем развитие в его более поздних работах. Норма со ссылкой на работы И.А. Бодуэна де Куртенэ, которые Ельмслев хорошо знал, определяется «как идеал, которому должны следовать говорящие субъекты, составляющие определенную социальную группу» [Там же: 239]. Норма определяется в духе Женевской школы как социальное принуждение. «Норма, которая основывается на своего рода социальном контракте, является внешней по отношению к нерегулярным случаям употребления в речи. Индивид вынужден подчиняться норме, а допустимые отклонения всегда незначительны» [Там же: 240].

Понятие нормы получило развитие в статье Ельмслева «Язык и речь» [Ельмслев 1965], в которой в ряду схема – норма – узус – акт речи он определял норму «как материальную форму, определяемую в данной социальной реальности, но независимо от деталей манифестации» [с. 113].

В своем раннем научном творчестве Ельмслев еще не приводил различия между нормой и узусом: «если употреблять термин “грамматическая правильность” в качестве синонима узуса, это эмпирическое понятие, идентичное понятию нормы» [Hjelmslev 1928: 241]. Такая нерасчлененность, очевидно, обусловлена тем, что данные понятия рассматривались еще безотносительно к учению Соссюра о языке и речи.

Так же как и Ш. Балли, Л. Есперсен подчеркивает, что наиболее достоверные результаты в лингвистических исследованиях могут быть достигнуты на материале родного языка; факт, который часто недооценивают. А глубокое знание иностранных языков Ельмслев выдвигал как первостепенную основу панхронических исследований.

Универсальность грамматических категорий Ельмслев объяснял тем, что «в целом, языковые средства призваны оперировать в рамках, установленных природой человека, который их производит» [Там же: 251]. Он приводит имена известных лингвистов, которые настойчиво проводили мысль о возможности построения всеобщей грамматики. Так, Г. Шухардт настаивал на том, что генеалогическое родство является не единственным объединяющим. Существует также фундаментальное родство, основанное на природе человека, общих законах, регулирующих человеческую психологию. Это доказывают грамматические средства, полностью или частично присущие самим разным языкам. Такой же точки зрения придерживались Я. Ваккернагель, Х. Вивель и Ж. Вандриес. Так, Вандриес писал: «Однако каковы бы ни были различия в умственных навыках различных народов, существование некоторых основных черт нельзя отрицать». И далее: «Не будет ошибочным и утверждение, что существует только один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу» [Вандриес 1937: 112, 217].

Наиболее яростным противником всеобщей грамматики был Клод Леви-Брюль, что логически вытекает из его концепции: существуют фундаментальные различия между языками «примитивных» и цивилизованных народов. Если стать на его точку зрения, то может существовать грамматика примитивных языков и цивилизованных, следовательно, всеобщая грамматика невозможна.

Ельмслев полемизировал с Леви-Брюлем по вопросу о том, что языки отражают мышление, говорящих на них народов. «Аргумент, не представляется возможным допу-

стить, что язык отражает все особенности, даже фундаментальные, мышления говорящего субъекта» [Там же: 262].

Отвергал Ельмслев параллелизм логических и языковых категорий. «Все различия логического порядка не являются одновременно и различиями порядка лингвистического» [Там же: 263–264]. В дальнейшем примат лингвистического получил крайнее выражение в глоссематической теории.

Объект лингвистики Ельмслев определял с позиции общего и отдельного, универсальности и диверсификации. «Разнообразие языков и единство языка представляют собой две равноценные истины. Реальность состоит в том, что язык одновременно един и многосторонен. В этом заключается двойственность языка, которая может быть добавлена к тем, которые изучал Ф. де Соссюр» [Там же: 23 и сл.].

Ельмслев намечает и метод исследования этой двойственности: «единственный возможный метод состоит в установлении абстрактной категории, соответствующей каждой конкретной категории, не принимая заранее во внимание ее протяженность» [Там же: 271]. Так, можно выделить такую абстрактную категорию, как «определенность» и «неопределенность», хотя эта категория и отсутствует в значительном количестве конкретных языковых состояний. Существование категории даже в одном конкретном состоянии дает основание предположить, что она существует как возможность в психологической базе языка. «Абстрактная категория есть не что иное, как возможная категория» [Там же]. Как совершенно верно заметил Ж. Вандриес: «между языком и языками можно установить такое различие: язык – это совокупность психических и физиологических приемов, используемых человеком при говорении; языки же это – практическое применение этих приемов» [Вандриес 1937: 217].

В языковой способности содержатся предпосылки использования всех возможных языковых средств. Ельмслев ставит задачу изучать не только эти возможности, но и условия их реализации. «Основная цель панхронической грамматики состоит в пристальном изучении условий существования каждой из категорий в конкретных состояниях» [Там же: 275].

Ельмслев возражал против установок А. Мейе и его школы объяснять изменение языковых фактов социальными факторами, при этом недооценивались внутренние факторы. Он приводит случаи, когда сам Мейе был вынужден признать преобладание системных факторов над социальными. Так, согласно гипотезе Мейе, новые социальные условия способствовали разрушению прежней системы родов в польском языке. Между тем польский (и чешский) дифференцировали эту систему в еще большей степени.

Ельмслев считал, что результаты изучения языка в синхронии могут оказаться очень полезными для диахронических исследований. «Всеобщая грамматика, благодаря достигнутым результатам, может предложить перспективные направления реконструкции значений морфем и реконструкции грамматических систем, если не полностью, то, по крайней мере, частично» [Там же: 292].

Подтверждением правильности мыслей Л. Ельмслева может служить малоизвестная гипотеза А. Фрея [Frei 1940], в соответствии с которой предпосылкой возникновения неопределенных местоимений в разных языках явилась транспозиция вопросительных в процессе функционирования языка. При этом он основывался на данных синхронии, экстраполируя наблюдаемые факты на диахронию. Своё предположение он иллюстрировал примерами употребления вопросительных слов в значении неопределенных во многих индоевропейских языках.

В заключении своей книги Ельмслев пишет, что она содержит общие принципы, которые послужат для него руководством к действию. Эти принципы получили дальнейшее, хотя и своеобразное, развитие в его итоговом труде «Пролегомены к теории языка», вышедшем в 1943 г. на датском языке и переведенном на английский, французский и русский языки [Ельмслев 2006].

Многие положения и первой теоретической работы Ельмслева не утратили своего научно-историографического значения. Остается сожалеть, что она до сих пор не переведена на русский язык.

Историографическое значение этой работы прежде всего в том, что она позволяет установить преемственность с дальнейшим научным творчеством Ельмслева, установить логику развития его лингвистической концепции.

Научный интерес работы в том, что в ней намечены принципы «языкового универсализма». В отличие от предшествующих всеобщих грамматик, базировавшихся либо на логических категориях (Пор-Рояль, Бозэ, де Саси, Дж. Харрис и др.), либо на психологических (Кондильяк, Марти), Ельмслев решительно становится на почву языка. Он ввел в понятие языка такие свойства, как универсальное-конкретное, общее-частное, потенциальное-реальное. Все эти свойства можно свести в одно понятие: род-вид. С одной стороны, существуют конкретные языки, а с другой – гипотетический универсальный язык, включающий категории как реальные, так и возможные, всех языков. Если всеобщие грамматики XVII–XVIII веков создали предпосылки для становления новой научной парадигмы – сравнительно-исторического языкознания, то труд Ельмслева относится к тем, которые подготовили почву для развития лингвистики универсалий. Поэтому его первую работу с полным основанием можно было бы назвать «Принципы лингвистики универсалий». Слова Р. Якобсона о рассмотрении языка как целого, а лингвистики как «двусторонней науки, важной чертой которой является взаимоотношение части и целого» [Якобсон 1965: 395], вполне применимы к раннему и последующему научному творчеству Л. Ельмслева – выдающегося лингвиста XX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вандриес 1937 – Ж. Вандриес. Язык / Пер. с франц. М., 1937.
- Ельмслев 1965 – Л. Ельмслев. Язык и речь // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
- Ельмслев 2006 – Л. Ельмслев. Пролгомены к теории языка. М., 2006.
- Пешковский 1920 – А.М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1920.
- Соссюр 1977 – Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М., 1977.
- Якобсон 1965 – Р. Якобсон. Значение лингвистических универсалий для языкознания // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
- Bally 1909 – Ch. Bally. *Traité de stylistique française*. Heidelberg, 1909.
- Bally 1922 – Ch. Bally. La pensée et la langue // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1922. Т. XXIII.
- Fischer-Jørgensen 1965 – E. Fischer-Jørgensen. Obituary. Louis Hjelmslev // Acta linguistica Hafniae. V. 9. 1965. № 1.
- Frei 1940 – H. Frei. Interrogatif et indéfini. Р., 1940.
- Hjelmslev 1928 – L. Hjelmslev. *Principes de grammaire générale*. København, 1928.
- Meillet 1921 – A. Meillet. *Linguistique historique et linguistique générale*. Т. I. Р., 1921.
- Paul 1920 – H. Paul. *Prinzipien der Sprachgeschichte*. Halle, 1920.
- Sacy 1799 – S. De Sacy. *Principes de grammaire générale, mis à la portée des enfants et propres à servir d'introduction à l'étude de toutes les langues*. Р., 1799.
- Sechehaye 1908 – A. Sechehaye. *Programme et méthodes de la linguistique théorique. Psychologie du langage*. Р.; Г., 1908. (Русск. пер.: А. Сеше. Программа и методы теоретической лингвистики. Психология языка. М., 2003.)

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2009 г. Ф.И. ДУДЧУК

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ: ГРАНИЦЫ ОПИСАНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ

В статье обсуждаются две недавно вышедшие книги российских исследователей: сборник статей «Мишарский диалект татарского языка» и коллективная монография «Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке». Оба исследования – результаты полевой работы авторов. Примечательно, что, несмотря на ориентированность на вопросы грамматики двух конкретных тюркских языков, обе работы выходят далеко за пределы частно-языковых исследований и предлагают ответы на ряд фундаментальных вопросов о границе возможного и невозможного в естественном языке.

Формальная тюркология – бурно развивающаяся исследовательская область на пересечении теоретической лингвистики и типологии. Она объединяет работы, предлагающие синтаксический (в основном в рамках той или иной версии генеративной грамматики Н. Хомского) и/или семантический (в основном на базе формальной семантики Р. Монтегю) анализ тех или иных явлений в тюркских языках. С каждым годом растет как разнообразие исследуемых проблем, так и охват языков: если еще в 1970–1980-е гг. немногочисленные формально-тюркологические исследования были основаны только на материале турецкого языка (ср., например, влиятельные работы [Underhill 1972; George, Komfilt 1981; Komfilt 1985]), то на сегодняшний день в рамках этого направления существуют работы по татарскому [Sahan 2002], казахскому, турецкому, тувинскому [Harrison 2001; Aygen 2002] и др. Стоит, впрочем, отметить, что количество работ на турецком материале в настоящее время огромно (и по-видимому, много больше, чем на материале всех остальных тюркских) – см., например, избранную библиографию формальных исследований по турецкому на сайте Й.-В. Зварт¹, которая только в 1999 г. включала более 300 наименований и при этом вовсе не претендовала на полноту, а скорее считалась учебной.

В 2006 г. в издательстве ИМЛИ вышло формально-лингвистическое исследование одного тюркского языка, а именно – довольно экзотического для формальной лингвистики карачаево-балкарского. Речь идет о коллективной монографии «Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке». Как мы увидим из обсуждения ниже, проблематика книги выходит далеко за рамки частно-тюркологической: можно утверждать, что представленный авторами анализ данных имеет важное значение для общей теории естественного языка.

Другое издание, обсуждаемое ниже, – сборник статей «Мишарский диалект татарского языка», напечатанный казанским издательством «Магариф». Книга включает иссле-

¹ <http://www.let.rug.nl/~zwart/college/1999/turkbib.pdf>

дования по синтаксису и грамматической семантике мишарского диалекта татарского языка и представляет описание и объяснение разнообразных фактов татарской грамматики. Статьи этого сборника нельзя отнести к формально-туркологическим в том же смысле, что монографию «Структура события...». Одни статьи основываются на функциональных моделях объяснения, в других предлагается внетеоретическое описание и обобщение фактов татарской грамматики. Однако скрупулезность работы с материалом, фальсифицируемость обобщений и эксплицитность изложения позволяет отнести работы, представленные в сборнике, к «формальным» в широком смысле.

Примечательно также, что оба исследования, подготовленные на тюркском материале, представляют результаты полевой работы авторов. Том «Структура события...» основан на материалах двух балкарских, а «Мишарский диалект...» – двух татарских экспедиций отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

I

Мишарский диалект татарского языка: Очерки по синтаксису и семантике / Под ред. Е.А. Лютиковой, К.И. Казенина, В.Д. Соловьева, С.Г. Татевосова. Казань: Магариф, 2007. 383 с. – ISBN 978-5-7761-1663-6.

Сборник статей «Мишарский диалект...» можно без преувеличения назвать долгожданным. Полевая работа, предварявшая написание рецензируемой книги, была проведена в 1999–2000 годах, и, по моим наблюдениям, в литературе ссылки на рукописи некоторых ее статей стали появляться за несколько лет до появления издания.

Авторы и редакторы, по понятным причинам, с самого начала не ставят перед собой задачу полного описания грамматики ни татарского языка, ни его мишарского диалекта: в сборнике представлены работы, посвященные наиболее интересным аспектам татарского синтаксиса и грамматической семантики, имеющим важное теоретическое или типологическое значение.

Книга подразделяется на две части. Первая содержит работы по синтаксису (в основном, сложного предложения и именной группы), вторая – по грамматической семантике мишарского диалекта. Сборник включает 10 статей (по пять в каждой части), приложение с разнообразной справочной информацией (очерк фонетики и морфологии, словарь глагольного управления, образец мишарского текста), библиографию, предметный указатель и сведения об авторах.

Открывающая книгу статья А.Б. Шлуинского «Анафорические отношения в сложном предложении» содержит описание анафоры в обстоятельственных и актантных придаточных. Автор исследует синтаксические особенности сложного рефлексива *üz* *üzən* ‘сам себя’, простого рефлексива *üz* ‘себя’, анафорического местоимения *il* ‘он’ и нулевого анафорического местоимения. Автор рассматривает различные синтаксические конфигурации местоимения и его антецедента и приходит к обобщениям относительно дистрибуции четырех указанных анафорических средств. В частности, обнаруживается, что в мишарском диалекте сложный рефлексив может употребляться в зависимой нефинитной предикации (при номинализации или причастии) с антецедентом в главной. При другой стратегии оформления зависимой предикации такое связывание не допускается, ср. (1b) с инфинитивом и (1c) с финитным придаточным.

- (1) a. *iłnur_i* [üz üzene_i] aš-a-gan-γ-n] չپյտ-tγ.
Ильнур сам сам.GEN есть-ST-PFCT-3-OBL.ACC забывать-PST
'Ильнур_i забыл, что он_i поел'.
- b. **iłnur_i* [üz üze_i] aš-a-γ-ga] kil-de.
Ильнур сам сам есть-ST-POT1-INF приходить-PST
'Ильнур_i пришел поесть [=сам сам_i поесть]'.

c. **ramil*_i [üz üzen_i չատ չատl-չj-m] dip ät-te.

Рамиль сам сам.ACC песня петь-ST-1SG SUB говорить-PST

‘Рамиль_i сказал, что он [=сам_i] поет песню’.

В статье А.Б. Шлуинского и А.Г. Пазельской «Обстоятельственное предложение» обсуждаются особенности различных типов обстоятельственных предложений в мишарском диалекте: придаточные времена, уступки, условия, причины, цели, места, сравнения. Авторы начинают с описания формальных средств выражения соответствующих обстоятельственных значений. Важнейшую часть статьи представляет раздел о временных предложениях, в котором исследуются как предложения со значениями предшествования, одновременности и следования, так и особые деепричастия на -r, обнаружающие ряд нетривиальных особенностей (заметим, что в монографии «Структура события...» представлен раздел, предлагающий исследование конструкции, включающей аналогичное карачаево-балкарское деепричастие). Выясняется, в частности, что временная интерпретация придаточных, вводимых деепричастием на -r, полностью определяется его акциональными свойствами.

Статья П.В. Гращенкова «Изаетная конструкция: многофакторный анализ» представляет функциональное объяснение классической проблемы различия двух изаетных конструкций в тюркских языках – т.н. «второй» (без показателя генитива на зависимом) и «третьей» (с показателем генитива на зависимом). Автор обсуждает три независимых фактора, определяющих употребление одной из двух конструкций: тип референции именной группы, простоту синтаксического анализа при порождении/восприятии предложения и дискурсивную приоритетность. В предлагаемом анализе все три фактора ранжируются, что позволяет автору описать и объяснить дистрибуцию двух изаетных конструкций.

В статье А.Г. Пазельской «Проблема сочинения и подчинения» исследуются сложные предложения с союзом *čenki* ‘потому что’ и полипредикативные конструкции с частицей *da* и союзом *hät*, вводящими причинно-следственное отношение, в контексте союзного средства *dip*. На примере этих конструкций автор предпринимает попытку решения одной из важнейших синтаксических проблем отличия сочинения и подчинения. Обнаруживается, что ни одна из анализируемых конструкций не может рассматриваться ни как содержащее каноническую сочинительную связь, ни как содержащее каноническую подчинительную связь. Исследователь предлагает различать, по крайней мере, три уровня рассмотрения конструкции: морфологический (морфологические и лексические показатели конструкции), семантический (значение конструкции) и промежуточный синтаксический уровень, «поведение конструкции на котором может быть подобно ее поведению на семантическом или морфологическом уровнях, а может и демонстрировать некоторые отклонения от такой ожидаемой однородности».

О.В. Ханина в статье «Конструкции с грамматикализованным конвербом глагола речи» предлагает обсуждение интригующего явления, уже известного из других статей первой части сборника, – подчинительного слова *dip*. Исследователь, выделяя два различных типа конструкций с *dip*, делает ряд предположений о синтаксической природе *dip*, сформулированных в терминах теории грамматикализации. Автор апеллирует к двум историческим значениям глагола *di*, к которым восходит *dip*, – ‘говорить’ и ‘называть’. Некоторое разочарование вызывает тот факт, что увлекательные предположения о диахронии слова *dip* не подкреплены никакими синтаксическими тестами на синхронном материале, обычно применяемыми при исследовании сентенциальных актантов. Автор не приходит к определенному ответу на вопрос о том, к какому классу языковых единиц относится *dip* (к подчинительным союзам или к деепричастиям полнозначных глаголов), замечая в конце статьи, что *dip* «представляет собой еще одну иллюстрацию к широко известному тезису о континуальности языковых объектов».

Вторую часть открывают две объемные статьи А.А. Бонч-Осмоловской «Семантика актантных дериваций» и С.Г. Татевосова «Вид и акциональность».

В статье «Семантика актантных дериваций» исследуются свойства показателей, традиционно именуемых показателями страдательного, возвратного, взаимно-совместного и понудительного залогов. Выясняется, что за этими понятиями стоит широкий репертуар актантных дериваций, засвидетельствованный в языках мира; например, показатель страдательного залога, в действительности, может интерпретироваться в зависимости от свойств исходной основы как пассив, декаузатив, имперсонал, потенциальный пассив, медиальный пассив и т.д. Автор предлагает ряд простых и единообразных преобразований, производимых над аргументами глагола, позволяющих, с одной стороны, минимизировать полисемию соответствующих показателей, а с другой стороны – объяснить всё многообразие употреблений этих показателей.

В статье С.Г. Татевосова «Вид и акциональность» обсуждаются аргументы в пользу двухкомпонентной теории вида, акциональная композиция и ее особенности в татарском языке, предлагается акциональная классификация татарских глаголов, формулируется ряд обобщений о том, какие лексические свойства глагола предопределяют его вхождение в тот или иной акциональный класс. В целом, теоретические вопросы, затрагиваемые в работе, во многом совпадают с обсуждаемыми в третьей главе более поздней (по времени написания) монографии «Структура события...», см. подробное обсуждение ниже.

Завершают том три статьи, основанные не только на татарском материале, но и на данных других тюркских языков.

Н.Р. Добрушина в статье «Императив и оптатив» обсуждает проблематику форм побуждения к первому лицу. Исследуя материал многочисленных тюркских языков, автор приходит к выводу, что распространенная точка зрения, согласно которой эти формы следует рассматривать в одном ряду с формами желательного наклонения, является ошибочной. Автор предлагает рассматривать побудительные формы 1-го л. как самостоятельное наклонение – гортатив, противопоставленный формам 2-го л. (императиву) и формам 3-го л. (юссиву).

В другой статье Н.Р. Добрушиной «О семантике одной тюркской модальной категории» читатель находит обсуждение мишарской формы с суффиксом *gajъ*, которая в контексте показателя отрицания приобретает значение предостережения (*adaşur ki-tä-gajъ* ‘как бы не заблудиться’). Выясняется, что данная форма – единственный сохранившийся в мишарском диалекте рефлекс общетюркских форм на -**gaʃ* с оптативным значением. Исследователь прослеживает дистрибуцию этих форм в различных тюркских языках и описывает различные изменения их семантики, произошедшие в ходе диахронического развития.

Завершает том статья М.А. Даниэля «Периферийные значения категории числа в татарском и некоторых других тюркских языках». В этой работе обсуждаются разнообразные значения показателя множественного числа: оказывается, что «привычное» значение ‘более одного объекта, обозначенного именной основой’ реализуется далеко не во всех употреблениях показателя множественного числа и далеко не у всех существительных. Исследователь выясняет, что тюркские языки значительно отличаются от, например, славянских с точки зрения того, какие нестандартные значения допускают в них показатели именной множественности. На материале нескольких тюркских языков (кроме татарского, используется хакасский и чувашский материал) автор обсуждает отдельные значения таких показателей – сортовую, дистрибутивную, ассоциативную и др. множественность.

Следует отметить, что сборник статей «Мишарский диалект...» интересен тем, что представляет типологически ориентированный взгляд на различные аспекты татарского языка; его содержание во многих случаях выходит далеко за рамки языкового описания.

II

Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке / Авторы коллектива труда Е.А. Лютикова, С.Г. Татевосов, М.Ю. Иванов, А.Г. Пазельская, А.Б. Шлунский. М.: ИМЛИ РАН, 2006. 464 с. – ISBN 5-9208-0268-5.

Как уже указывалось во вступительной части обзора, основное внимание в коллективной монографии «Структура события...» уделяется не только и не столько карачаево-балкарским данным самим по себе, сколько их анализу в рамках определенной системы теоретических допущений. Основное предположение авторов состоит в том, что синтаксические свойства глагольной основы (в частности, актантная структура и различные ее преобразования) в значительной степени предопределяются компонентами лексического значения, описываемыми *структурой события*, которое обозначает данная глагольная основа. Задача исследователя, таким образом, состоит в формулировании релевантных компонентов значения и в формализации обнаруженных корреляций между синтаксисом и лексическими свойствами глаголов. При этом тот факт, что авторы монографии используют не только карачаево-балкарский материал, но также обращаются к фрагментам грамматики английского, балгалинского, болгарского, испанского, немецкого, русского, татарского, фиджийского, японского и др. языков, указывает на то, что результаты исследования претендуют на универсальность.

Том «Структура события...» состоит из предисловия, четырех глав, посвященных различным аспектам структуры события в карачаево-балкарском языке, а также из небольшого глагольного словаря, списка сокращений, библиографии и предметного указателя.

В предисловии, написанном С.Г. Татевосовым и А.Б. Шлуинским, формулируется краткое введение в проблематику взаимодействия лексической семантики и аргументной структуры глагола, предлагаются общие сведения о карачаево-балкарском языке, описывается метод исследования. Из предисловия читатель узнает, в частности, что результаты опроса носителей карачаево-балкарского языка накапливались в специальной базе данных. Для каждого из 2070 представленных в ней глаголов база содержит информацию о семантико-синтаксических свойствах четырех актантных дериваций (каузатива, пассива, реципрока и рефлексива), а также об аспектуальных свойствах этих глаголов в формате, разработанном С.Г. Татевосовым [Tatevosov 2002; Tatevosov 2005].

Первая глава «Общие представления об аргументной структуре», написанная Е.А. Лютиковой, представляет собой совершенно отдельное по жанру сочинение и заслуживает особого внимания. К сожалению, объем позволяет нам остановиться лишь на нескольких обсуждаемых в ней теоретических вопросах. В главе представлен широкий обзор существующих концепций лексикона и его взаимодействия с грамматикой в различных лингвистических теориях. Вначале вводятся традиционные для отечественной лингвистики понятия валентности, (семантического) актанта, семантической роли, диатезы и т.д., известные из работ Московской семантической школы, см. [Апресян 1974; Мельчук 1974] *inter alia*. Далее автор переходит к обсуждению различных подходов к проблеме **семантико-синтаксического интерфейса**, состоящей в том, как лексическая информация (например, о количестве и ролях глагольных аргументов) отображается в синтаксисе (какие структурные позиции должны занимать те или иные глагольные аргументы). Исследователи подробно останавливаются на подходе, использующем понятие иерархии семантических ролей – способу представления информации о том, в каком порядке глагольный предикат принимает аргументы с различными семантическими ролями². Такой подход называется опосредованным отображением лексической информации в синтаксис (*mediated mapping*), см. [Levin, Rappaport Hovav 1996: 38].

² Например, английский глагол *introduce* ‘представлять’ с интерпретацией $\lambda x. \lambda y. \lambda z. [z \text{ introduces } x \text{ to } y]$ принимает аргументы в порядке ТЕМА < ЦЕЛЬ < АГЕНС:

(i) $[[\text{introduce}]](\text{Sue})(\text{Ann})(\text{Pat}) =$
 $\lambda x. \lambda y. \lambda z. [z \text{ introduces } x \text{ to } y] (\text{Sue}) (\text{Ann}) (\text{Pat}) =$
 $\lambda y. \lambda z. [z \text{ introduces Sue to } y] (\text{Ann}) (\text{Pat}) = \text{ (вводится ТЕМА)}$
 $\lambda z. [z \text{ introduces Sue to Ann}] (\text{Pat}) = \text{ (вводится ЦЕЛЬ)}$
 $\text{[Pat introduces Sue to Ann]} \text{ (вводится АГЕНС)}$

Альтернативой подобным подходам, как справедливо отмечают авторы, является использование прямого отображения (*direct mapping*), см. [Levin, Rappaport Hovav 1996: 40]. В этом случае обычно принимается некоторый принцип, регулирующий отображение каждой конкретной семантической роли в исходной зависимости от других ролей в некоторую синтаксическую позицию. Наиболее известным вариантом прямого отображения является принцип единообразия приписывания тета-ролей (*Uniformity of Theta Assignment Hypothesis, UTAH*) в формулировке М. Бейкера [Baker 1985; 1997].

Замечательным образом, предпочтения исследователей относительно прямого/опосредованного отображения лексической информации в синтаксис зачастую коррелируют с тем, принимают они лексикалистскую гипотезу или нет. К сожалению, в книге эта корреляция не обсуждается. Чаще всего исследователи, предлагающие ту или иную иерархию, эксплицитно или имплицитно соглашаются и с идеей существования лексикалистского словаря – хранилища слов, где каждый вход снабжен многочисленными слотами лексической информации (ср., например, генеративный лексикон Дж. Пустейловского [Pustejovsky 1991; 1995]), а также множество правил, по которым в словаре можно вывести тот или иной дериват / словоформу (наиболее яркие примеры – ранние генеративные работы по фонологии, например [Halle 1973], а также основные работы по лексической фонологии и морфологии (LPM) П. Кипарского [Kiparsky 1983; 1985; 1988]).

Напротив, антилексикалисты в основном не прибегают к ролевым иерархиям или другим нетривиальным лексическим механизмам, отображающим информацию о ролевой/аргументной структуре в синтаксис. Так, например, многие антилексикалисты принимают положение о том, что семантические роли автоматически выводятся из структурной позиции аргумента, т.е. придерживаются так называемого конфигурационного подхода к семантическим ролям. Этот подход восходит к работам К. Хейла и С. Кейссера [Hale, Keyser 1993; 2002]. На этом же положении основывается последовательно антилексикалистская теория **синтаксиса первой фазы** Дж. Рэмченда, лежащая в основе дальнейшего анализа карачаево-балкарского материала, предложенного в рецензируемом томе. В первой главе излагаются основные положения этой теории.

Центральная гипотеза синтаксиса первой фазы состоит в том, что ситуация, представляемая глагольным предикатом и его аргументами, может быть разложена на подсобытия, которые вводятся различными синтаксическими вершинами. Так, каузирующя деятельность агента – подсобытие, вводимое вершиной *v*, каузируемый процесс вводится вершиной *V*, а результирующее состояние – вершиной *R*. Аргументация Рэмчнда основана на наблюдениях над двумя фундаментальными свойствами глагольных предикатов – агентивностью и предельностью, см. подробнее [Ramchand 2003; 2005]. Эти событийные вершины иерархизованы: наиболее вложенной является *R*, следующая по вложенности – *V*, а *v* – самая внешняя. На каждое подсобытие приходится по одному аргументу, причем аргументы вводятся в спецификаторах соответствующих событийных вершин. Тем самым роли аргументов задаются конфигурационно: аргумент в *Spec vP* является агентом, или, в терминологии Рэмчнда и авторов рецензируемой работы – Инициатором, аргумент в *Spec VP* – Претерпевающим, аргумент в *Spec RP* – Носителем результата. Таким образом, словарная информация для каждого глагола исчерпывается набором событийных вершин с указанием на их обязательность/факультативность. Для примера рассмотрим (2).

- (2) a. *John broke the vase.*
‘Джон разбил вазу’.
b. *The vase broke.*
‘Ваза разбилась’.

В (2a) реализуются вершины *v*, *V* и *R*, а в (2b) – только *V* и *R*. Это позволяет для глагольной основы *break* постулировать в словаре событийную структуру *[(v) V R]*, где скобки указывают на факультативность реализации вершины *v*. Следует отметить, что

Рэмченд отказывается от идеи о том, что одна семантическая роль может быть присуща только одному аргументу: так, в (2) и Претерпевающим и Носителем результата является один и тот же аргумент *vase*. В событийной структуре этот факт отражается в виде коиндексации соответствующих событийных вершин: $[(v) V_i R_i]$.

Описанный механизм позволяет моделировать различные структуры аргументов глагола с эксплицитной семантической мотивацией этих структур. Интерпретация трех конституирующих события вершин представлена в (3).

- (3) a. $[R] = \lambda P. \lambda x. \lambda e. [P(e) \wedge \text{State}(e) \wedge \text{Subject}(x)(e)]$
b. $[V] = \lambda P. \lambda x. \lambda e. \exists e_1 \exists e_2 [P(e_2) \wedge V'(e_1) \wedge \text{Process}(e_1) \wedge e_1 \rightarrow e_2 \wedge e = e_1 \oplus e_2 \wedge \text{Subject}(x)(e_1)]$
c. $[v] = \lambda P. \lambda x. \lambda e. \exists e_1 \exists e_2 [P(e_2) \wedge v'(e_1) \wedge \text{State}(e_1) \wedge e_1 \rightarrow e_2 \wedge e = e_1 \oplus e_2 \wedge \text{Subject}(x)(e_1)]$

В (3) *Process* и *State* – предикаты над событиями, обозначающие процесс и состояние соответственно, \rightarrow – отношение каузации между событиями, \oplus – мереологическая сумма (см. [Link 1983; Bach 1986]), а *Subject* – отношение между событийной вершиной и вводимым ей аргументом.

Недоумение вызывает, однако, тот факт, что на такую мощную операцию, как коиндексация вершин, не накладывается никаких ограничений или, по крайней мере, о них нигде не сообщается. Если бы событийные структуры не допускали коиндексацию вообще, а допускали бы только факультативность вершин, предсказывалось бы 19 типов событийной структуры. Как только допускается неограниченная коиндексация вершин, число потенциальных событийных структур возрастает до 42, что, очевидно, требует, как минимум, ответа на вопрос о том, все ли они представлены в языках мира. Кроме того, в ряде случаев вызывает сомнение применимость коиндексации. Например, английский глагол *wash* демонстрирует следующее поведение.

- (4) a. *John washed a baby*.
‘Джон помыл ребенка’.
b. *John washed*.
‘Джон помылся’ (рефлексив).

Очевидно, исходя из аспектуального поведения глагола *wash*, его основе будет присуща в словаре событийная структура с вершинами *v*, *V* и *R*.

- (5) *wash*: $[v V R]$

Пример (4a), где *a baby* является одновременно Претерпевающим и Носителем результата, свидетельствует о коиндексации вершин *V* и *R*, а событийная структура *wash* приобретает следующий вид:

- (6) *wash*: $[v V_i R_i]$

При этом в (4b) Инициатором, Претерпевающим и Носителем результата является *John*. Это заставляет коиндексировать в (6) и вершину *v*, что приводит к запрещению предложения (4a). Однако если вершина *v* останется не коиндексированной, не допускается пример (4b). Заметим, что, если объявить вершины *V* и *R* факультативными, утрачивается обобщение о том, что *Джон* в (4b) является не только агентом (Инициатором), но и пациентом (Претерпевающим и Носителем результата). Спасти положение мог бы механизм связывания переменной в позиции Претерпевающего/Носителя результата (ср. аналогичный механизм в теории тета-системы Т. Рейнхарт, известный как рефлексивизация [Reinhart 2002]). Однако соответствующий механизм в этой теории, насколько мне известно, не развит.

Авторы рецензируемого тома, тем не менее, делают ряд предположений о природе рефлексивизации. При обсуждении реципрокальных и рефлексивных дериваций отмечается следующее. Предположительно, ограничения на класс глаголов, образующих рефлексивы, могут быть сформулированы только в терминах идиосинкритических компонентов значения / семантических полей (например, «рефлексивы образуются от глаголов ухода за телом, изменения положения, эмоций и эмоционального говорения и т.д.»). Это является косвенным аргументом о словарном характере рефлексивизации, следовательно, для глаголов типа *wash* следует уже в словаре различать две отдельные событийные структуры.

Кроме изложения концепции Рэмченд и ее предшественников, в первой главе обсуждается разнообразие модификаций аргументной структуры (аргументных альтернаций и актантных дериваций) в языках мира.

В разделе «Повышающие и понижающие деривации. Типологический обзор» в общих чертах изложен предварительный анализ свойств каузативной конструкции в терминах прототипа (аналогичный подходу П. Хоппера и С. Томпсон к переходности [Hopper, Thompson 1980] и подходу Д. Даути к свойствам Прото-агенса/Прото-пациенса [Dowty 1991]).

Здесь же на примерах из татарского и балкарского языков вводится дилемма «контактный vs. дистантный каузатив», важная для последующих разделов книги. В зависимости от свойств исходного глагола образованный от него каузатив обладает дистантными или контактными свойствами. Обнаруживается ряд параметров, по которым различается семантика двух типов каузативов, – например, если контактные каузативы требуют единства места, времени события и его участников, то дистантные не накладывают такого ограничения.

Кульминацией первой главы является ее последний раздел «Актантно-значимые преобразования и структура события», где авторы приходят к синтезу теоретических положений и эмпирических наблюдений, представленных ранее. В этом разделе излагаются формально-семантические подходы к пассивизации и к статусу внешнего аргумента: обсуждается гипотеза А. Кратцер [Krämer 1996] о функциональной вершине *Voice*, вводящей в предложениях в активном залоге внешний аргумент. По мысли сторонников этой гипотезы, в этой же вершине в пассивных предложениях располагается пассивная морфология, которая интерпретируется как оператор, связывающий переменную, соответствующую агенсу. Гипотеза А. Кратцер основывается на свойствах английских номинализаций и причастий, а также на поведении английских идиом [Magantz 1984]. Дальнейшее развитие эта гипотеза получила в работе [Pylkkänen 2002], в которой исследуется каузативная морфема и ее синтаксические свойства. Анализ Пюлькянен и альтернативные ему подходы также обсуждаются в этом разделе.

Завершает главу изложение проблематики актантных альтернаций, а также отдельно обсуждаются возможные подходы к анализу декаузативной деривации. Авторы представляют оригинальный анализ русского декаузативного показателя *ся*: предполагается, что декаузативная морфология в русском языке также располагается в *Voice*³ и интерпретируется как идентичное отображение одноместного предиката над событиями:

$$(7) [-ся] = \lambda P. \lambda e. P(e)$$

Дополнительные наблюдения, однако, заставляют авторов отказаться от идеи интерпретации *ся*, представленной в (7), и прибегнуть к ранее известному каузативному анализу декаузатива [Chierchia 1989; Падучева 2001], предполагающему включение в интерпретацию показателя *ся* информации о каузирующем событии.

³ В более поздних подходах Кратцер и ее последователей вершина *Voice* переосмыслена как вершина *v*, так же и у авторов книги.

$$(8) [-ся] = \lambda P. \lambda e. \exists e_1 [P(e) \wedge e_1 \rightarrow e]$$

Аналогичный анализ впоследствии предлагается и для карачаево-балкарского пассивного показателя *-l*, позволяющего получать среди прочих дериваций декаузатив.

Во второй главе книги, написанной М.Ю. Ивановым, Е.А. Лютиковой и А.Б. Шлуинским, представлены данные об аргументной структуре и ее модификациях в карачаево-балкарском языке и предложен их анализ.

Вначале авторы предлагают классификацию непроизводных глаголов. Поскольку для используемого теоретического подхода видимы как семантические, так и синтаксические обобщения, используется двухмерная классификация. Так, в разделе 2.2 отдельно исследуются синтаксические и семантические свойства непереходных динамических, переходных динамических и стативных глаголов. Класс балкарских непереходных динамических глаголов подразделяется на подклассы пациентивных (*eri* ‘таять’), агентивных (*sar* ‘бежать’) и агентивно-пациентивных (*titire* ‘дрожать’). Класс балкарских непереходных динамических глаголов подразделяется на подклассы пациентивных (*eri* ‘таять’), агентивных (*sar* ‘бежать’) и агентивно-пациентивных (*titire* ‘дрожать’). Класс балкарских непереходных динамических глаголов подразделяется на подклассы пациентивных (*eri* ‘таять’), агентивных (*sar* ‘бежать’) и агентивно-пациентивных (*titire* ‘дрожать’). Стативы подразделяются на стативы-сстояния (*awri* ‘болеть’), стативы-отношения (*bil* ‘знать’). Для каждого класса, кроме стативов, приводятся свойства его элементов, сгруппированные в три рубрики: характеристики аргументной структуры (роли аргументов, сведения об их обязательности, селективные ограничения глагольной основы), сфера действия сентенциальных операторов (возникает ли неоднозначность при присоединении отрицания и реститутивное прочтение при присоединении наречия опять), деривационный потенциал (типы каузативов и пассивов, образуемых от основ данного класса).

Далее излагаются сведения о морфосинтаксических свойствах карачаево-балкарской каузативной конструкции и подробно рассматриваются семантико-синтаксические особенности каузативов, образованных от глаголов различных классов, выделенных ранее. Подвергается подробному обсуждению также упоминавшаяся выше деривация на *-l*, имеющая широкий репертуар значений (потенциальный пассив, медий, декаузатив, каузальный пассив) в зависимости от свойств исходной основы. Завершает изложение данных обсуждение свидетельств рекурсивных дериваций (двойного, тройного и т.д. каузатива и пассива) и обобщение наблюдавшихся семантико-синтаксических свойств карачаево-балкарских актантных дериваций с точки зрения их воздействия на событийную структуру исходной основы.

Основная драматургия второй главы разворачивается в последнем ее разделе «Анализ». Здесь авторы возвращаются к теории синтаксиса первой фазы и вносят в ее архитектуру изменения, необходимые для корректного анализа карачаево-балкарского материала.

Авторы отходят от последовательного антилексикализма Дж. Рэмченд, предлагая собственный взгляд на разграничение синтаксической и лексической спецификации событийных структур, связанных с глагольной основой, и принимают следующее допущение. Для предсказания наблюдавшихся в карачаево-балкарском языке контрастов в синтаксическом поведении глагольных основ необходимо, по мнению исследователей, различать событийные вершины, обладающие индивидуальной семантикой в зависимости от лексического входа и специфицированные в словаре, и событийные вершины, обладающие общей для всех основ интерпретацией, семантика которых определена раз и на всегда. Так, например, для основ *есть* и *качать* синтаксическая спецификация одинакова – [v V], однако, как свидетельствуют данные карачаево-балкарских актантных дериваций, для *есть* как инициирующая деятельность агента (v), так и процесс (V) являются лексически специфицированными, в то время как для *качать* лексически специфицирован только процесс (V), а в качестве инициирующего может выступать событие любого типа. Это означает, что словарная статья для глагольной основы содержит дополнительную информацию нового типа – интерпретацию лексически специфицированных

событийных вершин. Ср. (9), где в (9a) представлен лексический вход для английского глагола *run* ‘бежать’ à *la* [Ramchand 2003], а в (9b) – для карачаево-балкарского глагола *cap* ‘бежать’ в соответствии с развивающейся авторами книги теорией (подчеркиванием вершины обозначен факт ее лексической специфицированности).

(9) a. *run*:[v_i V_i]

b. *cap*:[v_i V_i]

$\llbracket V \rrbracket = \lambda x. \lambda e. [\text{Process}(e) \wedge cap_V(e) \wedge \text{Undergoer}(x)(e)]$

$\llbracket v \rrbracket = \lambda P. \lambda x. \lambda e. \exists e_1 [P(e_1) \wedge e \rightarrow e_1 \wedge \text{Process}(e) \wedge cap_v(e) \wedge \text{Initiator}(x)(e)]$

С указанным допущением (и с несколькими дополнительными, имеющими технический характер) авторы получают необходимые структуры первой фазы для каждого из выделенных ранее классов глаголов. В этой же главе предлагается анализ каузативной и пассивной морфем и представлен композициональный анализ каузативных и пассивных конструкций, образованных от глаголов различных классов. Авторы блестяще справляются с противопоставлением однособытийности/многособытийности (например, дистантных каузативов, обозначающих два подсобытия, vs. контактных каузативов, обозначающих одно подсобытие). Обнаруживается следующее обобщение: структура первой фазы описывает единое событие, если она содержит максимум одну вершину *v* или *s* (структурный аналог *v* для стативов). Завершается анализ рассмотрением декаузативной деривации в карачаево-балкарском языке (см. обсуждение выше).

В предложенной теории карачаево-балкарской аргументной структуры вызывает сомнение одно техническое допущение. По замечанию авторов, «для того, чтобы значение глагольной группы было композиционально выводимо, следует, очевидно, присвоить различную семантику нетерминальным (то есть имеющим в качестве комплемента другие событийные составляющие) и терминальным вершинам: терминальные вершины имеют тип $\langle e, \langle s, t \rangle \rangle$, в то время как нетерминальные – тип $\langle \langle s, t \rangle, \langle e, \langle s, t \rangle \rangle \rangle$.» Здесь возникает вопрос о теоретическом статусе понятий «(не)терминального узла»: действительно ли существуют две различные вершины $V_{\text{нетерминальная}}$ и $V_{\text{терминальная}}$? Или же интерпретации терминальных вершин каким-то образом выводятся из интерпретаций нетерминальных? С алгоритмической точки зрения, в синтаксисе первой фазы терминальный узел идентифицируется легко, поскольку интерпретация элементов структуры происходит снизу вверх (терминальной будет первая интерпретируемая событийная вершина). Однако в этом случае без ответа остается вопрос о том, каким механизмом осуществляется эта идентификация и откуда возникает интерпретация терминального узла, поскольку все известные интерпретационные механизмы рекурсивны: например, не существует и не может существовать правила аппликации, определенного отдельно для терминального аргумента/функции. Это означает, что остается наиболее очевидный выход: размножить лексически неспецифицированные событийные вершины в словаре и при каждом глаголе размножить интерпретации лексически специфицированных вершин. Последняя операция влечет еще большее отдаление от антилексикалистских позиций исходной версии синтаксиса первой фазы.

Существует, вероятно, альтернативный подход: можно допустить, что все вершины (в том числе и терминальные) имеют комплемент. Для нетерминальных вершин – это максимальная проекция более низкой по иерархии вложенности вершины, а для терминальных – категориально нейтральная основа, интерпретируемая как одноместный предикат над событиями. Категориальные и прочие свойства этой основы доопределются дальнейшей синтаксической деривацией. Это позволяет сохранить общий тип для интерпретации всех событийных узлов и вписать теорию в широкий контекст дистрибутивной морфологии, где принят описанный взгляд на категориальные свойства словарных единиц.

Третья глава книги, написанная Е.А. Лютиковой и С.Г. Татевосовым, посвящена проблемам описания и анализа акциональности в естественном языке вообще и в карачаево-балкарском в частности.

Глава начинается с обсуждения закрытого списка акциональных значений, являющихся примитивами в дальнейшем описании карачаево-балкарских данных: приводятся определения и свойства состояния, (единичного) процесса, входления в состояние, входления в процесс и мультиликативного процесса и обосновывается идея об элементарности акциональных значений. Далее авторы переходят к обсуждению двухкомпонентной теории вида [Smith 1991/1997] и дихотомии «акциональность vs. аспектуальность» – противопоставления акциональных и видовых значений. К первым относятся элементы, указанные выше, к последним – традиционные значения прогрессива, перфектива, перфекта, экспериенциалиса, хабитуалиса и др. Далее авторы переходят к описанию собственной акциональной классификации, основанной на понятии акциональной характеристики глагольной основы – пары вида $\langle Pf, Ipf \rangle$, где Pf – множество всех акциональных значений любой перфективной формы глагола в эпизодической интерпретации, а Ipf – множество всех акциональных значений любой прогрессивной формы в эпизодической интерпретации. В дальнейшем при изложении и анализе языковых данных используется Презенс в качестве прогрессивной формы и Претерит в качестве перфективной. Аргументируется также необходимость рассмотрения акциональных значений именно при эпизодической интерпретации, а не, скажем, в хабитуальной. Таким образом, акциональным классом – таксоном в предлагаемой авторами классификации – является множество глаголов с одинаковой акциональной характеристикой.

Следующий теоретический вопрос, обсуждаемый авторами, состоит в том, как свойства глагольных аргументов влияют на аспектуальную интерпретацию описываемого события. Исследователи подробно обсуждают проблему акциональной композиции в естественном языке и один из широко известных подходов к ее решению – теорию М. Крифки [Krifka 1989; 1992], основанную на полурешетках Г. Линка и мерсологических операциях над ними, см. [Link 1983; Bach 1986]. Вводится понятие инкрементальности и инкрементального отношения между глагольным предикатом и его аргументами, обсуждаются три основных типа инкрементальных аргументов: инкрементальная тема (также известная как накопитель эффекта из работы [Падучева 2005]), инкрементальный путь и инкрементальное свойство. После этого авторы переходят к обсуждению особенностей акциональной композиции в карачаево-балкарском языке. Выясняется, что при наличии инкрементального отношения между ситуацией и темой (например, *писать письмо*) свойства предиката определяются свойствами внутреннего аргумента. Квантованные аргументы допускают как предельное, так и непредельное прочтение клаузы (т.е. клауза сочетается как с обстоятельствами длительности типа *два часа*, так и с обстоятельствами срока завершения типа *за два часа*). При этом кумулятивные аргументы совместимы только с непредельной интерпретацией. При отсутствии инкрементального отношения свойства аргументов не влияют на предельность/непредельность. В предикациях с инкрементальным путем (*ехать в Москву, бежать 100 метров*) аспектуальная интерпретация зависит от способа квантования пути: при указании конечного пункта пути (*ехать в Москву*) возникает как предельная, так и непредельная интерпретация; при указании количественной характеристики пути (*бежать 100 метров*) допускается только предельная интерпретация. Наконец, при сочетании с квантованным инкрементальным свойством (*нагревать воду на 10 градусов*) возникает предельная интерпретация, а с кумулятивным/имплицитным свойством (*нагревать воду*) – как предельная, так и непредельная.

Далее обсуждается вопрос о том, какие последствия имеет акциональная композиция для акциональной характеристики глагола. Выясняется, что, наблюдая акциональные свойства глагола на примерах предикаций с кумулятивными внутренними аргументами исследователь может заблуждаться относительно истинных лексических свойств глагольной основы, поскольку он наблюдает их через призму сентенциальной семантики, частью которой и является акциональная композиция. Чтобы избежать эффектов акциональной композиции, при построении акциональной классификации авторы предлагают рассматривать предикации только с исчисляемыми аргументами в единственном

числе. После этого авторы предлагают разбиение карачаево-балкарских глаголов на акциональные классы в соответствии со всеми указанными допущениями.

После столь подробного обсуждения теоретических установок и аккуратной подготовки эмпирического материала авторы переходят к анализу материала. Основная гипотеза авторов состоит в том, что существует корреляция между событийной структурой глагола и его акциональной характеристикой, а их основная задача состоит в том, чтобы обнаружить эти корреляции. Оказывается, что наличие тех или иных вершин в событийной структуре глагола коррелируют с акциональными значениями, представленными в его акциональной характеристике. В ряде случаев эта корреляция является легко обнаружимой (например, вершина R и акциональное значение ‘вхождение в состояние’), в других случаях – требует специальных свидетельств и дополнительного теоретизирования. Авторы, тем не менее, успешно решают поставленную задачу, используя обобщения, сформулированные в интенсиональных терминах, и предлагая различать семантику событийных вершин в соответствии с этими обобщениями.

В последних двух разделах главы авторы предлагают анализ акциональной семантики каузативных и пассивных конструкций, различая случаи однособытийных и двусобытийных (многособытийных) дериватов.

В последней – четвертой – главе, написанной А.Г. Пазельской и А.Б. Шлуинским, представлено частное исследование конструкций со вспомогательным глаголом *tur* ‘стоять’. Следует отметить, что рассуждения, приведенные в этой главе, в значительной степени основываются на акциональных обобщениях, изложенных в третьей главе. Это объясняется спецификой указанных конструкций: как отмечают авторы, *tur* является акциональным модификатором.

Под акциональной модификацией понимается преобразование акциональной составляющей структуры события, то есть создание некоторого нового предиката, акциональные свойства которого определенным образом соотносятся с акциональными свойствами исходного, но в общем случае не тождественны им. Морфологическим средством акциональной модификации в карачаево-балкарском языке, как обнаруживают исследователи, является аналитическая бивербальная конструкция, состоящая из деепричастной формы исходного глагола на -*r* и глагола *tur* (конструкция на -*r tur*). При этом для акциональных свойств конструкции релевантна и аспектуальная форма вспомогательного глагола, и форма деепричастия смыслового (перфективная или имперфективная). Подробно рассматривается воздействие акциональной модификации на глаголы различных акциональных классов, а также обсуждаются семантические свойства конструкции на -*r tur* с каузативным и пассивным показателем на вспомогательном и на смысловом глаголе.

Выясняется, что акциональный класс исходного глагола непосредственно коррелирует со значением бивербальной конструкции. Авторы формулируют формальные ограничения на присоединение показателей актантных дериваций к разным частям конструкции. Как отмечают исследователи, обнаруженные обобщения на примере частной глагольной конструкции демонстрируют взаимосвязь между аспектуальной и синтаксической составляющими структуры события: изменения в аргументной структуре вызывают изменения в акциональных свойствах конструкции на -*r tur*.

Завершая обсуждение коллективной монографии «Структура события...», следует отметить две ее важнейшие особенности. Во-первых, в исследовании представлен материал карачаево-балкарского языка, сопровожденный целым рядом новых синтаксических и семантических обобщений, многие из которых ориентированы не только на обсуждаемые в книге конкретно-языковые данные, но и на естественный язык вообще. Во-вторых, авторам удалось соединить в этой книге, казалось бы, несоединимое: типологически ориентированный подход, использующий наиболее эксплицитные функциональные модели объяснения (как, например, использование прототипа в первой главе), и многообразную технику описания и объяснения, разработанную за последние десятилетия в генеративных синтаксических и формально-семантических исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1974 – Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Мельчук 1974 – И.А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-Текст». М., 1974.
- Падучева 2001 – Е.В. Падучева. Каузативные глаголы и декаузативы в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.
- Падучева 2004 – Е.В. Падучева. Накопитель эффекта и русская аспектология // ВЯ. 2004. № 5.
- Татевосов 2005 – С.Г. Татевосов. Акциональность: типология и теория // ВЯ. 2005. № 1.
- Aygen 2002 – G. Aygen. Subject case in Turkic subordinate clauses: Kazakh, Turkish and Tuvan // North-Eastern linguistic society. 2002. 32.
- Bach 1986 – E. Bach. The algebra of events // Linguistics and philosophy. 1986. 9.
- Baker 1985 – M.C. Baker. Incorporation: a theory of grammatical function changing. Ph. D. diss. MIT. 1985.
- Baker 1997 – M.C. Baker. Thematic roles and syntactic structure // L. Haegeman (ed.). Elements of grammar. Dordrecht, 1997.
- Chierchia 1989 – G. Chierchia. Semantics for unaccusatives and its syntactic consequences // A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou, M. Everaert (eds.). The unaccusativity puzzle: Explorations of the syntax-lexicon interface. Oxford studies in theoretical linguistics 5. Oxford, 1989.
- Dowty 1991 – D.R. Dowty. Thematic proto-roles and argument selection // Language. 1991. 67.
- George, Kornfilt 1981 – L.M. George, J. Kornfilt. Finiteness and boundedness in Turkish // F. Heny (ed.). Binding and filtering. Cambridge (MA), 1981.
- Hale, Keyser 1993 – K.L. Hale, S.J. Keyser. On argument structure and the lexical expression of syntactic relations // K. Hale, S.J. Keyser (eds.). The view from Building 20: Essays in honor of Sylvain Bromberger. Cambridge (MA), 1993.
- Hale, Keyser 2002 – K.L. Hale, S.J. Keyser. Prolegomenon to a theory of argument structure. Cambridge (MA), 2002.
- Halle 1973 – M. Halle. Prolegomena to a theory of word formation // Linguistic inquiry. 1973. 4.
- Harrison 2001 – K.D. Harrison. Topics in the phonology and morphology of Tuvan. Ph.D. diss. Yale University, 2001.
- Hopper, Thompson 1980 – P.J. Hopper, S.A. Thompson. Transitivity in grammar and discourse // Language. 1980. 56.
- Kiparsky 1983 – P. Kiparsky. Word formation and the lexicon // Proceedings of the 1982 Mid-America linguistics conference. 1983.
- Kiparsky 1985 – P. Kiparsky. Some consequences of lexical phonology // Phonology yearbook. 1985. 2.
- Kiparsky 1988 – P. Kiparsky. Phonological change // F. Newmeyer (ed.). Linguistics: the Cambridge survey. I. Cambridge, 1988.
- Kornfilt 1985 – J. Kornfilt. Case marking, agreement, and empty categories in Turkish. Ph.D. diss. Harvard University, 1985.
- Kratzer 1996 – A. Kratzer. Severing the external argument from its verb // J. Rooryck, L. Zaring (eds.). Phrase structure and the lexicon. Dordrecht, 1996.
- Krifka 1989 – M. Krifka. Nominal reference, temporal constitution and quantification in event semantics // R. Bartsch, J. van Benthem, P. van Emde Boas (eds.). Semantics and contextual expression. Dordrecht, 1989.
- Krifka 1992 – M. Krifka. Thematic relations as links between nominal reference and temporal constitution // I. Sag, A. Szabolcsi (eds.). Lexical matters. Stanford, 1992.
- Levin, Rappaport Hovav 1996 – B. Levin, M. Rappaport Hovav. From lexical semantics to argument realization. Ms., Northwestern University, 1996.
- Link 1983 – G. Link. The logical analysis of plurals and mass terms: a lattice theoretical approach // R. Bäuerle, C. Schwarze, A. von Stechow (eds.). Meaning, use, and the interpretation of language. Berlin, 1983.
- Marantz 1984 – A. Marantz. On the nature of grammatical relations. Cambridge (MA), 1984.
- Pustejovsky 1991 – J. Pustejovsky. The generative lexicon // Computational linguistics. 1991. 17.
- Pustejovsky 1995 – J. Pustejovsky. The generative lexicon. Cambridge (MA), 1995.
- Pylkkänen 2002 – M. Pylkkänen. Introducing arguments. Ph.D. diss. 2002.
- Ramchand 2003 – G.C. Ramchand. First phase syntax. Ms., University of Oxford, 2003.
- Ramchand 2005 – G.C. Ramchand. Verb meaning and the lexicon. Ms., University of Tromsø, 2005.
- Reinhart 2002 – T. Reinhart. The theta-system – an overview // Theoretical linguistics. 2002. 28.
- Sahan 2002 – F. Sahan. Nominal clauses in Kazan Tatar. Ph.D. diss. University of Wisconsin-Madison, 2002.
- Smith 1991/1997 – C.S. Smith. The parameter of aspect. Dordrecht, 1991/1997.
- Tatevosov 2002 – S. Tatevosov. The parameter of actionality // Linguistic typology. 2002. 6.
- Underhill 1972 – R. Underhill. Turkish participles // Linguistic inquiry. 1972. 3.

РЕЦЕНЗИИ

A. Holvoet. *Mood and modality in Baltic.* Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. 244 p.

Читатель, который обычно начинает просматривать книгу с оглавления, увидит, что, например, третья глава называется «The iiteal-lis», а следующая – «Evidentials», а значит, подумает такой читатель, в представлении автора, ирреалис (одно из наклонений) и эвиденциальность иерархически располагаются на одном уровне. У такого читателя не будет сомнений, что автор придерживается той точки зрения, что эвиденциальность не противопоставляется модальности, а является ее частью (ср. иногда встречающийся термин «эвиденциальная модальность»), а то, что «эвиденциальность» никак не фигурирует в названии книги, укрепит читателя в его мнении. Но далее сказано, что эвиденциальность не рассматривается как наклонение, и здесь начинается интрига, которая достигает своей кульминации в четвертой главе, где выясняется, что в балтийских языках показатели наклонения и эвиденциальности могут встречаться в одной словоформе, что однозначно требует их считать разными грамматическими категориями. Вообще, ощущение интриги сохраняется на протяжении всего времени прочтения книги, что, безусловно, является более чем положительной характеристикой последней.

В предисловии автор говорит о том, что необходимость написания данного труда вызвана тем, что грамматические явления балтийских языков¹ недостаточно доступны для общей лингвистики и для типологии, так как описаний их существует немного, а те, что имеются, как правило, не полны, ориентированы на традиционный диахронический подход и во

многом устарели с теоретической точки зрения.

Первая глава как раз и посвящена теоретическим предпосылкам исследования. В ней изучается новейшая литература о модальности и наклонениях в типологическом аспекте; картина модальности рассматривается в связи с категорией наклонения, с точки зрения степени грамматикализации. Типы модальности: динамическая, деонтическая, эпистемическая – разбираются настолько подробно и наглядно, что данная глава могла бы составить часть пособия по общей морфологии для продвинутых студентов лингвистических специальностей.

Во второй главе осуществляется непосредственный переход к предмету исследования. Здесь дан инвентарь наклонений литовского и латышского глагола, а также лексемы и конструкции, использующиеся для выражения модальных предикатов, т.е. различных типов эпистемической, деонтической и динамической возможности и необходимости в балтийских языках. Бегло представленные в данной главе категории в основном разбираются в последующих главах, специально посвященных каждой из них. Исключение составляют некоторые маргинальные модальные конструкции, речь о которых идет только здесь. К ним относятся конструкции с причастиями и отглагольными именами. Первые имеются в обоих балтийских языках; в литовском сохраняется специальная форма *participium necessitatis*, использующаяся в таких конструкциях, в латышском она утрачена, но обнаруживается в текстах до XVII в., в современном языке в данной функции употребляются пассивные причастия, которые могут быть образованы также и от непереходных глаголов. Второй тип конструкций – с отглагольными именами – имеет место только в латышском языке, семантика их может быть динамической или деонтической, но никогда – эпистемической.

Третья глава, как упоминалось, посвящена ирреалису. В первом разделе «Категория

¹ Берется материал только двух живых языков, т.к. качество сохранившихся прусских текстов не позволяет делать надежные выводы относительно грамматической семантики этого языка.

ирреалиса» обсуждается, как в лингвистической литературе понимается этот термин. Ирреалис предлагается не считать отдельным наклонением, а ассоциировать со всеми наклонениями, противопоставленными реалису/индикативу. Оппозиция между «ирреалисом» и «ирреальностью» понимается как противопоставление соответственно грамматического наклонения и семантической модальности. Приводится некоторый типологический фон выражения ирреальной модальности. В следующем разделе автор переходит к ирреалису в балтийских языках. Кандидатом на статус ирреалиса в балтийских языках является наклонение, которое в литературе по литовскому и латышскому языкам называется по-разному: «кондиционал», «оптатив» и «субъюнктив». В этих языках также есть инфинитив и императив; окончательный вывод о том, относится ли балтийский императив к зоне ирреальности, автор не делает.

Следующие параграфы посвящены ирреалису и фактивности, ирреалису и деонтической модальности, оптативному и гортативному употреблению ирреалиса. Заключает главу параграф об истории балтийского ирреалиса, в частности, приводится такая точка зрения, что балтийский ирреалис произошел из плюсквамперфекта, автор считает ее вполне обоснованной и приводит типологические параллели.

Четвертая глава («Эвиденциальность») начинается с утверждения о том, что в балтийских языках есть серии эвиденциальных конструкций, которые традиционные грамматики описывают как часть системы наклонений и, в случае литовского языка, также как часть залоговой системы. Отличительной чертой балтийских эвиденциальных форм является то, что в их выражении участвуют причастия, а не финитные формы глаголов. Поэтому эвиденциальность в балтийских языках является не словоизменительной категорией глагола, а «синтаксической категорией». С другой стороны, эвиденциальные формы, хоть и имеют формальные признаки причастий, не могут быть названы настоящими причастиями. Это свидетельствует о сдвиге эвиденциальности от синтаксиса к глагольной морфологии, что, возможно, сопутствует возрастающей грамматикализации данной категории.

В латышском языке в качестве эвиденциальных форм функционируют только активные причастия, в литовском – также и пассивные. В латышском языке, в принципе, есть конструкции с причастиями прошедшего времени, пассивными вместо активных, но они употребляются, если субъект не определен. Семантика обоих типов конструкций тем не менее одинакова: чистый цитатив. Ситуация с

литовской эвиденциальностью более сложная, дистрибуция конструкций с активными и пассивными причастиями не имеет отношения к залогу – они служат для различия всех возможных эвиденциальных значений: инферентива, мицратива и цитатива.

В некоторых латышских и литовских диалектах окончания причастий, функционирующие как эвиденциальные показатели, могут прибавляться к основе с показателем ирреалиса. В таких формах присутствуют показатели как наклонения, так и эвиденциальности, что противоречит принципу, по которому показатели одной грамматической категории не могут встречаться в одной словоформе. В латышском языке показатели эвиденциальности могут прибавляться к показателю дебитива, но это, по мнению автора, другой случай, так как дебитив сам по себе не может считаться наклонением (об этом пойдет речь в восьмой главе).

Предлагается следующая схема возникновения эвиденциальности в балтийских языках:

- 1) специфическая разновидность перфекта с утраченным вспомогательным глаголом взяла на себя эвиденциальную функцию;
- 2) инференциальная семантика приобрела собственный формальный показатель, ее первоначальная связь с перфектом перестала ощущаться;
- 3) после отделения форм эвиденциальности от перфекта новые конструкции, со значением настоящего времени, включающие формы настоящего времени, возникли наряду с конструкциями с причастиями прошедшего времени.

Последняя стадия этого процесса произошла только в литовском языке.

В пятой главе «Модальность, эвиденциальность и интерпретирующее употребление» последовательно разбираются случаи употребления показателей одной категории в значении другой: деонтической и эпистемической модальности в значении эвиденциальности, императива в значении гортатива и др. Приводятся русские параллели. Хотелось бы сделать небольшое замечание носителя языка: на с. 115 в сноске приводится русское предложение *Подожди, пусть отдохну* как возможное в языке, однако представляется, что реально ему соответствует: *Подожди, дай отдохнуть*.

Две следующие главы посвящены модальным глаголам: глава шестая – модальным глаголам в грамматике, глава седьмая – лексическому аспекту.

«Ответ на вопрос, есть ли в балтийских языках четко очерченный класс модальных глаголов, должен быть отрицательным», заключает автор. Конструкции с модальными глаголами, в общем, не характерны для балтийских язы-

ков, а те, что имеются, в основном, заимствованы из контактных языков.

Особенное место, как представляется, занимает глава восьмая «Латышский дебитив». В латышском языке есть специальная спрягаемая форма, называемая дебитивом. Дебитив является аналитической формой, состоящей из вспомогательного глагола ‘быть’, который изменяется по временам и наклонениям, но не по лицам, и специальной неспрягаемой формы, состоящей, в свою очередь, из префикса *jā-* и 3-го л. презенса индикатива. Субъект в дебитивной конструкции стоит в дативе, прямой объект стоит в номинативе, исключение составляют возвратные местоимения 1-го и 2-го л., которые стоят в аккузативе. Дебитив может выражать все три типа необходимости: эпистемическую, деонтическую и динамическую.

Эта форма традиционно описывается как наклонение, но, по мнению автора, это вряд ли верно; приводится несколько аргументов. Но возникает интересующий вопрос: если дебитив не наклонение, то что это? Наиболее приемлемым решением автору представляется интерпретировать дебитив как особый залог.

В главе девятой исследуется архаичная конструкция, выражающая необходимость, присущая в обоих языках: ‘быть’ + инфинитив. Это конструкция изначально имела посессивное значение. Прослеживаются параллели в разных языках, в том числе и в русском. В этой связи хотелось бы сделать еще одно за-

мечание носителя языка. На с. 203 в сноске читаем: *мне нечего делать* наряду с более современным *у меня нечего делать*. Последнее все же представляется вряд ли возможным (в том же значении).

В заключительной десятой главе речь идет о наклонении в придаточных предложениях. В этом балтийские языки ведут себя по-разному. В литовском языке деонтическое придаточное требует употребление форм иреалиса при отсутствии специфического деонтического комплементайзера, в латышском же наоборот: специфический деонтический комплементайзер позволяет производить выбор между реалисмом и ирреалисмом независимо от придаточного предложения.

Данные балтийских языков демонстрируют взаимодействие между главным предикатом, значением комплементайзера и наклонением. Чем больше переменных, тем более тонкие различия можно сделать между типами придаточных. Латышский язык в этом смысле устроен сложнее, чем литовский, и еще многое остается открыть в этом языке в будущем. Так заканчивается книга, но конец больше похож на начало – начало новой интриги и новой книги известного балтиста и типолога, которую проницательный читатель уже с нетерпением ждет.

Т.Б. Агранат

A. Stefanowitsch, St.Th. Gries (eds.). *Corpus-based approaches to metaphor and metonymy*. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006. 319 p.

Книга «Корпусные исследования метафоры и метонимии» представляет собой сборник статей, в которых с точки зрения корпусного подхода рассматривается широкий спектр вопросов, лежащих в основном в области интересов когнитивной лингвистики: образование и функционирование конкретных метафорических моделей, выявление областей источников метафор, историческое развитие метафор, метафора и дискурс.

Сборник состоит из 12 статей, указателя авторов, предметного указателя и указателя метафорических областей и сценариев, рассматриваемых в данном сборнике (например,стыд, любовь, событие, деятельность и т.д.).

Редакторы данного издания, Анатоль Стефанович (профессор Бременского университета, Германия) и Стефан Грис (доцент Университета Калифорнии, Санта-Барбара), – специалисты по компьютерной и корпусной лингвистике, главные редакторы журнала

«Корпусная лингвистика и лингвистическая теория», посвященного применению корпусов в лингвистических исследованиях. Основные направления исследований А. Стефановича – грамматика конструкций, теория метафоры, фразеология. С. Грис занимается вопросами морфонологии, синтаксиса (*collostructional analysis*), кроме того в рамках когнитивной лингвистики работает над проблемами полисемии и квазисинонимии, овладения языком. Авторы статей – лингвисты из университетов Великобритании, Италии, США, Финляндии, Чехии.

Во вводной статье к сборнику «Корпусно-ориентированные подходы к метафоре и метонимии» А. Стефанович дает обзор современных исследований (в том числе и статей из сборника), в которых теоретические идеи Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1987; 1993; Johnson 1987], касающиеся метафоры и метонимии, подтверждаются и дополняются корпусными исследованиями; он

описывает методологию и указывает основные результаты использования электронных корпусов для изучения метафоры и метонимии.

Необходимость и актуальность применения корпусных исследований для изучения метафоры и метонимии объясняется тем, что интуиция и интроспекция, применявшиеся исследователями «докорпусного периода», и «качественный» подход, заключающийся в глубоком исследовании незначительного по объему текста или ограниченного набора примеров (зачастую придуманных самим исследователем), не могут, во-первых, обеспечить отсутствие влияния исследователя на объект и, во-вторых, гарантировать достаточного охвата и всестороннего рассмотрения изучаемого явления. Эти проблемы разрешаются путем дополнительного привлечения «количественного» подхода, т.е. использования существенно большего объема материала и разнообразных объективных данных, относительно рассматриваемых метафор в корпусах текстов – например, количество вхождений, плотность (т.е. количество употреблений на 1 000 слов), тяготение к той или иной композиционной части текста, к определенному жанру и стилю и др.

Несмотря на высокую эффективность, исследование метафоры и метонимии в корпусах сопряжено с определенными трудностями, основной из которых А. Стефанович считает проблему обнаружения метафоры и метонимии: если грамматические показатели и формы, синтаксические конструкции и лексемы можно легко найти в корпусе, в котором есть морфологическая и частеречная разметка, то для метафоры и метонимии это осложнено, так как выражение концептов в языке не всегда сопряжено с определенными формальными коррелятами. Он выделяет следующие возможные стратегии поиска, которые и применялись авторами статей сборника:

- ручной поиск;
- поиск по словам из области-источника метафоры (*source domain*);
- поиск по словам из области-цели метафоры (*target domain*);
- поиск по предложениям, в которых содержатся слова как из области-источника, так и из области-цели метафоры;
- поиск, основанный на «маркерах» метафор – кавычках, выражениях типа *figuratively speaking* ‘в переносном смысле’, *so to speak* ‘так сказать’, *literally* ‘буквально’ и т.д.;
- извлечение метафор из корпусов, размещенных в соответствии с метафорическими областями;
- извлечение метафор из корпусов, размещенных в соответствии с совмещением концептов.

По мнению А. Стефановича, два последних приема представляются наиболее эффективными, однако он отмечает, что реально функционирующих корпусов достаточного объема с необходимой разметкой в открытом доступе пока не существует.

В статье «Метафоричность измеряется» П. Хэнкс обращается к вопросу о связи прямого и метафорического значения, отношение между которыми часто понимается как взаимоисключающее (слово не может одновременно быть употреблено в прямом и переносном значении). Однако автор показывает, что внутри дилеммы «буквальное vs. метафорическое значение» отношения сложнее, и что одни выражения являются более метафоричными, чем другие (например, *oasis спокойствия в большом городе*, безусловно, метафоричен, но, как считает П. Хэнкс, не в такой степени, как *oasis общения в пустыне одиночества*), и, следовательно, степень метафоричности может быть определена и градуирована. Другими словами, к метафоре применяется теория прототипов [Rosch 1983], в результате чего граница между метафорой и не-метафорой становится более расплывчатой.

По мнению автора, степень метафоричности зависит от сходства характеристик двух концептов, т.е. так называемого метафорического резонанса (*metaphorical resonance*): чем больше у них общих свойств, на основе которых происходит уподобление одного концепта другому, тем легче оно осуществляется и, следовательно, тем меньше степень метафоричности переносного употребления слова. Резонанс усиливается при привлечении третьих концептов, даже не выраженных в тексте эксплицитно (так, городу приписываются характеристики пустыни, хотя само слово не употребляется). В качестве иллюстрации автор рассматривает переносные употребления английского слова *oasis* ‘оазис’ и метафорический квантификатор *a sea of* (‘море X-ов’). В результате автор предлагает для квантификатора следующую иерархию по степени метафоричности: ‘море’ + «вещество» (‘море снега’); ‘море’ + «физические объекты» (‘море людей’); ‘море’ + «цвет» (‘море золотого’); ‘море’ + «абстрактные объекты» (‘море несчастья’); ‘море’ + «события» (‘море деятельности’)¹.

¹ Таким образом, по П. Хэнксу получается, что выражение ‘море людей’ менее метафорично, чем ‘море идей’. Эта точка зрения отличается от представленной в работах [Ли Су-Хён, Рахилина 2005] и [Ли Су-Хён 2005], где показано, что сочетаемость с одушевленными именами является последним этапом грамматикализации подобных метафорических квантификаторов в русском языке.

Статья Е. Семино «Корпусное исследование метафор речепроизводства» посвящена метафорическим выражениям, относящимся к вербальной деятельности в британском варианте английского языка. Объектом исследования явилась оценка говорящим чужой речевой деятельности при ее передаче в косвенной речи (*Narrator's representation of speech acts*), ср. аналогичное выражение оценки в русском языке: *правительство обвинило или он набросился на критиков*.

Автором анализируются две хорошо известные метафоры: СПОР – ЭТО ВОЙНА (ARGUMENT IS WAR) [Lakoff, Johnson 1980] и КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (CONDUIT) [Reddy 1979; Grady 1998]. Для них был сформирован единый сценарий, по которому вербальная коммуникация описывается в терминах физических, конкретных действий. В качестве основных областей-источников были выявлены следующие концепты: ПЕРЕДАЧА (TRANSFER) – ср. русск. *дать совет*, ВИДИМОСТЬ (VISIBILITY) – ср. *появились новые аргументы*, СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ (MAKE) – ср. *выдвигать обвинение*, ФИЗИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ (PHYSICAL CONFLICT) – ср. *нападать с критикой на правительство*, ДВИЖЕНИЕ (MOVEMENT) – ср. *возникли сомнения*, ФИЗИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (PHYSICAL PRESSURE) – ср. *надавить на подсудимого*, ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА (PHYSICAL SUPPORT) – ср. *поддержать мнение*. Сценарий, по которому производится концептуализация коммуникации, может быть описан следующим образом:

- участники коммуникации различно располагаются или двигаются по направлению или в сторону от других участников, речевых актов и целей разговора (ср. русск. *удалиться от темы*);
- участники коммуникации могут вступать в физический контакт или конфликт (ср. *забросать вопросами*);
- тексты, идеи становятся видными адресанту сообщения (ср. *тексты появляются, их выделяют*);
- речевые акты и тексты можно сконструировать и доставить от адресата к адресанту (*отдать приказ*).

Автор считает, что каноническая формулировка Дж. Лакоффа СПОР – ЭТО ВОЙНА не объясняет все реально встречающиеся метафорические выражения такого рода, в частности, почему в этих выражениях значение не сводится к (буквально) спору или (метафорически) войне. Кроме того, в ней отсутствует связь с личным опытом человека, т.к. война не является опытом для среднестатистического британца, и ситуация спора более близка к дра-

ке или игре. Предлагается новая формулировка: ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ОБЩЕНИИ – ЭТО ФИЗИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ (ANTAGONISTIC COMMUNICATION IS PHYSICAL CONFLICT).

В статье А. Стефановича «Слова и их метафоры: корпусное исследование» рассматриваются метафоры, связанные с такими базовыми эмоциями, как грусть, счастье, злость, отвращение, и сравниваются результаты, полученные при использовании «традиционного» метода интроспекции и корпусного исследования с неоспоримым преимуществом второго. Для известных центральных метафор каждого концепта автор приводит количественные данные, подтверждающие их приоритетность, а также выявляет ключевые метафоры, не обнаруженные ранее (например, АТМОСФЕРА (AURA) и БОЛЬ (PAIN) для концепта ГРУСТЬ и ВЫСШИЙ (SUPERIOR) и ОСНОВАНИЕ (FOUNDATION) для концепта СТРАХ).

Автор указывает на то, что частотность в корпусе позволяет, с одной стороны, установить, какие метафоры являются конвенциональными в данной культуре и, с другой стороны, выявить наиболее значимые области-источники для концептов эмоций в данном языке. В качестве примера приводятся метафоры и области-источники для синонимичных (радость и восторг – *happiness* и *joy*) и антонимичных (счастье и грусть – *happiness* и *sadness*) эмоций.

В статье «Грамматика языковых метафор» Э. Дэйнан анализирует различия между прямым и метафорическим значением центральных лексем из областей-источников ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ и ОГОНЬ, связанные с принадлежностью к разным частям речи и тяготению к разным синтаксическим конструкциям и граммемам. В английском языке существительные из области-источника часто в метафорическом значении меняют часть речи и становятся глаголами, ср. *squirrel* ‘белка’ vs. ‘откладывать про запас’. Такого рода факты подтверждаются количественным анализом данных корпуса: так, в классе растений были рассмотрены лексемы *blossom* ‘цветок, цветы’ и *root* ‘корень, давать корни’, и для них были посчитаны употребления существительных и глаголов в буквальном и метафорическом значении. Выяснилось, что в буквальном значении глаголов единицы, а в метафорическом их существенно больше (ср. русск. *укорениться*). Поскольку у имен и у глаголов разные роли в ситуации, очевидно, что область-источник проецируется в них по-разному – а это не учитывается классической теорией Дж. Лакоффа. Автор считает, что подобные факты лучше интерпретируются с точки зрения понятия

«блending» [Fauconier, Turner 2002], которое предполагает, что на результирующее значение метафоры в одинаковой степени влияет и область-источник, и область-цель.

Показано, что метафорические значения часто соотносятся и с определенной грамматической формой (ср. [Sinclair 2004]): в качестве иллюстрации приводится анализ выбора между единственным и множественным числом у слов *rock* ‘камень’ и *flame* ‘пламя’ и их связь с метафорическим значением.

В статье М. Хилперта «Глаз да глаз за данными: метонимии и их структуры» освещаются результаты корпусного исследования метонимии лексемы *eye* ‘глаз’. В работе анализируются 22 конструкции и строится типология метонимических отношений; в основной части автор исследует микроконтекст метонимических выражений, в которых встречается лексема *eye*, т.е. коллокации (collocations), сочетания двух лексем, и коллигации (colligations), сочетания определенных классов слов. Результаты исследования соотносятся с базовыми принципами Грамматики конструкций Ч. Филлмора [Fillmore 1988; Goldberg 1996] и Когнитивной грамматикой Р. Лангакера [Langacker 2002].

Автор преследует две основные цели: анализ природы всех метонимических значений, связанных с конкретным словом (сущ. ‘глаз’), и изучение взаимосвязи и взаимообусловленности формы и значения метонимических употреблений. По своей структуре метонимические употребления могут быть жесткими (fixed patterns) или полужесткими (semi-fixed patterns). Примером жесткой конструкции может служить выражение *turn a blind eye* ‘не обращать внимания’. Полужесткой является конструкция QUANTIFIER + *heart* (*set all hearts on fire* ‘мгновенно заставить полюбить’), так как в роли квантификатора может выступать не только лексема *all*, но и другие члены этого класса: *some, many, a few* и т.д.

В результате М. Хилперт выявляет 13 метонимических употреблений лексемы *eye*, прежде всего ‘внимание’, ‘наблюдение’, ‘зрение’, ‘восприятие’, ‘зритель’ и т.д. Утверждается, что между метонимиями одной лексемы есть связь, т.е. одна метонимия порождает другую, и образуется цепочка переходов, ведущая от одного значения к другому. Например, значение ‘наблюдение’ образуется через первичную метонимию ГЛАЗ ВМЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ (EYE FOR WATCHING), которая порождает метонимию НАБЛЮДЕНИЕ ВМЕСТО ВНИМАНИЯ (WATCHING FOR ATTENTION), в свою очередь образующую второе значение, ‘внимание’ (attention). Существенно, что первичная метонимия оказывается одина-

ковой для всех выявленных цепочек метонимий.

Статья К. Маркерт и М. Ниссим «Метонимии имен собственных: корпусной анализ», в отличие от остальных статей сборника, описывающих результаты корпусного исследования конкретных метафор и метонимий, посвящена методам аннотирования метонимии в корпусах, учитывающим такие языковые характеристики, как регулярность и продуктивность метонимии. В качестве подтверждения того, что правильная разметка метонимии возможна, приводятся две схемы аннотации, составленные соответственно для двух классов метонимий – топонимов и названий организаций – и полученные результаты: правильно размеченный корпус, состоящий из 3 000 вхождений прямых значений топонимов и 1 000 примеров названий организаций и образованных от них метонимичных значений.

Статья К. Аллан «О дубинах и каше в голове: анализ взаимодействия между культурой и познанием на примере метафор глупости» представляет собой диахроническое исследование метафорической связи между концептами ГЛУПОСТЬ и ПЛОТНОСТЬ. К. Аллан приводит области-источники метафор, с помощью которых концептуализируется понятие ‘глупость’ – 75 % из них приходится на три области: дерево, земля и пища (ср. русск. *опилки/каша в голове, голова садовая, дубина*). Интересно, что метафоры развиваются не от общего понятия ‘плотность’, а от более мелких концептов, входящих в него, т.е. сначала концепт ‘плотность’ осмысливается в понятиях физического мира – для него выбирается материальное воплощение, которое и используется в дальнейшем для осмыслиния ‘глупости’.

Подобные метафоры не рассматривались Дж. Лакофром, так как они не поддаются объяснению исключительно с когнитивной точки зрения и в большей степени обусловлены культурными особенностями, через которые К. Аллан и объясняет причину и путь их возникновения. Диахронический анализ позволяет определить, в какое время появилась метафора, каким изменениям она подвергалась, а также позволяет выявлять не только успешное, но и неудачное развитие метафоры (metaphorical failures), т.е. точки, в которых можно было бы ожидать развитие метафоры, аналогичной имеющейся в системе, но не подтвержденной языковыми фактами. Например, с понятием ‘глупость’ часто коррелируют лексемы, входящие в семантическое поле дерево, т.к. они относятся к образу чего-то тяжелого, неуклюжего, сквозь которое трудно проникнуть – в деревянную голову/разум/ум сложно проникнуть идеям, мыслям. Кажется, что камень в языко-

вом сознании должен обладать схожими характеристиками, но подобные метафоры от этого концепта не образуются. Автор предлагает два возможных объяснения: а) ко времени образования метафор типа ГЛУПОСТЬ – ЭТО ПЛОТНОСТЬ понятие «камень» уже имело другие коннотации – постоянство, жестокость, безразличие; б) сквозь дерево при приложении усилий все же можно «пройти» (ср. русск. *преводолеть глупость*), а сквозь камень – нет.

Статья П. Койвисто-Аланко и Х. Тиссари «Рациональное мышление и эмоции в метафорах» посвящена изучению метафор английских лексем *mind* ‘ум’, *reason* ‘разум’, *wit* ‘остротуние’, с одной стороны, и *love* ‘любовь’ и *fear* ‘страх’ – с другой, в синхронных и диахронных корпусах английского языка. В отличие от большинства современных работ по концептуальным метафорам, нацеленных на простую фиксацию метафор, данное исследование является более узким, но глубоким и состоит в систематическом анализе диахронных изменений метафор центральных лексем для рассматриваемых концептов. Рассматривались только те метафоры, которые являются общими для концептов ‘разум’ и ‘эмоции’, с целью определить, представляют ли они собой гомогенный класс и проследить, обладают ли они одинаковыми свойствами в ранненовоанглийском языке и в современном английском языке.

В работе выделяется базовая метафора (ontological metaphor) абстрактных концептов как физических сущностей (ср. русск. *его страх воплотился в...*), в рамках которой можно различать подклассы ИНСТРУМЕНТА (INSTRUMENT/TOOL/WEAPON) – ср. русск. *оттачивать ум*, ПОМЕХИ (OBSTACLE) – ср. *пойти по другой дороге из страха встретить знакомых*, ЦЕННОГО ПРЕДМЕТА (VALUABLE COMMODITY) – ср. *измерить любовь*. Для понятия ‘разум’ рассматривается концепт ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА (HUMAN BODY) как область-источник и метафоры СИЛЫ (FORCE) и ТЕЛО – КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭМОЦИЙ (CONTAINER FOR EMOTIONS).

Интересным результатом диахронического анализа явилось выделение двух типов трансформаций метафорических значений. Во-первых, происходит изменение свойств метафоры, которое свидетельствует о произошедшем семантическом сдвиге. Во-вторых, когнитивные метафоры отражают культурные изменения (например, в ранненовоанглийском страх перед богом воспринимался как ценность и имел положительную оценку).

В статье Дж. Х. Мартина «Корпусный анализ контекстных эффектов при восприятии метафоры» приводится исследование того, каким образом разные типы контекста влияют

на упрощение или усложнение понимания метафоры. Данная работа опирается как на результаты психолингвистических исследований контекстных эффектов [Gernsbacher et al. 2001], так и на работы, касающиеся языковых свойств метафор в естественных текстах. Автором проводится анализ того, как происходит восприятие текста, содержащего метафоры ЧИСЛОВАЯ ЦЕННОСТЬ – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (NUMERICAL VALUE – LOCATION), КОММЕРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – КОНТЕЙНЕР (COMMERTIAL ACTIVITY – CONTAINER), КОММЕРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – СЛЕДОВАНИЕ ПО ПУТИ (COMMERTIAL ACTIVITY – PATH FOLLOWING), КОММЕРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ВОЙНА (COMMERTIAL ACTIVITY – WAR). Изменялось время задержки восприятия текста, содержащего лексемы из области-источника, использованные в прямом значении рядом с метафорическими употреблениями. На материале корпусов проверяется гипотеза, согласно которой если когнитивная метафора использовалась в дискурсе, есть большая вероятность того, что слова из области-источника снова будут использованы в метафорическом смысле, но низкая вероятность того, что они будут использованы в прямом значении.

Статья В. Коллер «Крайне важно: использование электронных корпусов для изучения метафор в языке бизнес-СМИ» описывает социально-культурные и идеологические аспекты использования метафоры с применением квантитативного подхода и данных электронных корпусов. Автор говорит, что социально-культурная интерпретация физических и социальных явлений, подвергающихся метафоризации, влияет и на сами метафоры. Разные сферы в культурах имеют неодинаковую значимость, следовательно, в разной степени подвергаются метафоризации. С другой стороны, метафоры, более сложные, чем базовые, существенно зависят от идеологии, так как с их помощью создается «новая реальность» в соответствии со взглядами говорящего. В частности, автор говорит о том, что бизнес-СМИ крайне ориентированы на читателя, т.е. журналисты стремятся использовать язык читателей – деловых мужчин среднего возраста. Поэтому наиболее частотной оказывается метафора БИЗНЕС – ВОЙНА, которая идеологична в том смысле, что описывает одну из областей действительности (маркетинг) в выгодном свете – в терминах агрессии, привычных целевой аудитории.

В заключительной статье сборника «Метафоры, лейтмотивы и сравнения в различных жанрах: методы корпусно-ориентированного исследования дискурса» А. Партигтон приме-

няет корпуса для исследования общих характеристик и соотношений между метафорами и сравнениями. Во второй части статьи он выделяет основные метафоры в подкорпусе текстов бизнес-СМИ, не свойственные другим жанрам: БИЗНЕС – ЭТО ГОНКА (BUSINESS IS A RACE), ЗАХВАТ ВЛАСТИ В БИЗНЕСЕ – ЭТО ОХОТА (BUSINESS TAKE-OVER IS A HUNT), КОМПАНИИ – ЭТО ЛЮДИ, МЕХАНИЗМЫ или ЖИВОТНЫЕ (COMPANIES ARE PERSONS, MACHINES or ANIMALS). В третьей части А. Партигтон приводит обзор современных итальянских работ, посвященных политической метафоре (ср. исследование русской политической метафоры [Баранов 1994]).

Таким образом, использование электронных корпусов текстов для изучения метафоры и метонимии является важным шагом для подобного рода исследований, так как позволяет существенно углубить и расширить их. В настоящее время корпуса могут быть использованы для выявления метафор и метонимий, содержащихся в определенном типе текстов или характерных для некоторого концепта или семантического поля; для определения и анализа повторяющихся метафорических моделей, свидетельствующих о системности данной области языка; для выявления диахронических изменений, которым подвергаются метафоры и метонимии; для описания формальных свойств метафор и метонимий (принадлежность к той или иной части речи, морфологические и синтаксические сдвиги). Кроме этого, корпусные исследования дополняют успешно использующийся качественный подход количественным: а именно, в них получены сведения о частотности и продуктивности метафор и метонимий, о их численных характеристиках в разных типах дискурса. Благодаря большим объемам текстов возможна проверка, дополнение и уточнение ранее выдвинутых теорий. Другими словами, корпусные исследования представляют собой многофункциональный инструмент, открывающий широкие перспективы в когнитивной лингвистике и, в частности, в теории метафоры. Отметим, что технические характеристики Национального корпуса русского языка (разные виды разметки, большой объем корпуса) позволяют проводить подобные исследования и на материале русского языка.

Итак, сборник «Корпусные исследования метафоры и метонимии» является результатом работы в новой перспективной области. Несмотря на существенные ограничения в представленных исследованиях (использование данных только английского языка при наличии качественных корпусов других языков,

анализ уже выявленных и описанных ранее метафор) данная работа, безусловно, представляет интерес для широкого круга читателей. В первую очередь она будет интересна когнитивным лингвистам, исследователям дискурса, корпусным исследователям, специалистам по семантике, а также лексикографам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранов 1994 – *A. Баранов. Словарь русских политических метафор. М., 1994.*
- Ли Су-Хён, Рахилина 2004 – *Ли Су-Хён, Е.В. Рахилина. Количественные квантификаторы в русском и корейском: моря и капли // Н.Д. Арутюнова (ред.). Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка. М., 2004.*
- Ли Су-Хён 2005 – *Ли Су-Хён. Когнитивный анализ русских конструкций с именными квантификаторами: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.*
- Fauconier, Turner 2002 – *G. Fauconier, M. Turner. The way we think. Conceptual blending and the mind's hidden complexities. New York, 2002.*
- Fillmore 1988 – *Ch. Fillmore. The mechanisms of construction grammar // Proceedings of the fourteenth annual meeting of the Berkeley linguistics Society. 1988.*
- Goldberg 1996 – *A.E. Goldberg. Construction grammar // K. Brown, J. Miller (eds.). Concise encyclopedia of syntactic theories. Oxford, 1996.*
- Gernsbacher et al. 2001 – *M.A. Gernsbacher, B. Keysar, R. Robertson, N. Werner. The role of suppression and enhancement in understanding metaphors // Journal of memory and language. 45. 2001.*
- Grady 1998 – *J. Grady. The 'Conduit' metaphor revisited: A reassessment of metaphor: correlation vs. resemblance // R.W. Gibbs, G.J. Steen (eds.). Metaphor in cognitive linguistics. Amsterdam, 1998.*
- Hanks 2004 – *P. Hanks. The syntagmatics of metaphor and idiom // International journal of lexicography. 17. 2004.*
- Johnson 1987 – *M. Johnson. The body in the mind. Chicago; London, 1987.*
- Lakoff 1987 – *G. Lakoff. Women, fire, and dangerous things. Chicago, 1987.*
- Lakoff 1993 – *G. Lakoff. The contemporary theory of metaphor // A. Ortony (ed.). Metaphor and thought. Second edition. Cambridge, 1993.*
- Lakoff, Johnson 1980 – *G. Lakoff, M. Johnson. Metaphors we live by. Chicago; London, 1980.*

- Langacker 2002 – R.W. Langacker. Concept, image and symbol. Second edition. Berlin; New York, 2002.
- Reddy 1979 – M.J. Reddy. The conduit metaphor: a case of frame conflict in our language about language // A. Ortony (ed.). Metaphor and thought. Second edition. Cambridge, 1979.
- Rosch 1983 – E. Rosch. Prototype classification and logical classification: The two systems //
- E. Scholnick (ed.) New trends in cognitive representation: Challenges to piaget's theory. Hillsdale (N.J.), 1983.
- Sinclair 2004 – J. Sinclair. Trust the text: Language, corpus and discourse. London, 2004.

В.А. Круглякова, О.Ю. Шеманаева

Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12. Вологда: Изд-во Вологодского гос. пед. ун-та, 1983–2007; **Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР (республики Мордовия).** Т. 1–8. Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 1978–2006; **Словарь смоленских говоров.** Вып. 1–11. Смоленск: СГПИ (СГПУ), 1974–2005.

Развитие славянской (в том числе и русской) диалектологии и региональной лексикографии в послевоенное время во многом определялось монументальными проектами «Общеславянского лингвистического атласа» и национальных атласов практически всех славянских языков. Для русского языка эти проекты оказались особенно плодотворными, ибо (в отличие от многих других стран) советские диалектологи сосредоточились не только на лингвографических исследованиях, конечной целью которых было составление лингвистического атласа русских народных говоров и его специализированных и региональных «ответвлений» типа только что вышедшего «Лексического атласа русских народных говоров» [ЛАРНГ 2004] или оригинального «Лексического атласа Московской области» А.Ф. Войтенко [Войтенко 1991], но и на собственно словарной работе.

Концепция лингвистических атласов предполагала фронтальное обследование народных говоров всех регионов России. И уже в конце 40-х–начале 50-х годов в некоторых университетах и педагогических институтах России студенты и аспиранты под руководством опытных диалектологов начали планомерные записи народной лексики. Так, например, в Ленинградском государственном университете по инициативе Б.А. Ларина начала создаваться одна из крупнейших диалектных картотек в нашей стране – двухмиллионная ныне картотека «Псковского областного словаря с историческими данными» полного типа (ПОС). Позднее к этой работе подключились и русисты Псковского педагогического института. Показательно, что в состав картотеки включены и материалы, собранные А.П. Евгеньевой именно для «Атласа русских народных говоров» (около 20 000 карточек). Вообще следует подчеркнуть, что лексикографические программы разных регионов России стали мощным стимулирующим фактором сотрудничества наших

вузов и Академии наук на почве русской диалектологии. Сотрудничество, которое продолжается несмотря на все политические изменения и катаклизмы нашего времени. Большую роль в координации и интенсификации этой работы сыграл «Проект словаря русских народных говоров» Ф.П. Филина (1961).

Благодаря неутомимой работе многих продвижников русская народная речь запечатлена теперь в более чем ста диалектных словарях, территориально охвативших не только все основные регионы России, но и русскоязычные диалектные зоны других государств (например, Белоруссии или Одесской области Украины). Не все лексикографические проекты пока завершены, но даже чрезвычайно трудосмоки словарные «сериалы» в последнее время значительно ускорили темпы своего продвижения вперед. К «двойному сорокалетию» главного редактора «Словаря русских народных говоров» Ф.П. Сорокалетова выпущен 40-й том этого тезауруса; 18-го выпуска дождались читатели ПОСа, монументальный АОС не только обогатился после перерыва несколькими выпусками, но его составители издали и замечательное приложение к нему – «Обратный словарь архангельских говоров» [АОС-Обр.]. И конечно, каждый завершенный русский диалектный словарь становится и важной вехой отечественной диалектографии, и большим праздником для любого знатока и любителя русской речи и культуры. «Словарь говоров Подмосковья» [Иванова 1969; Войтенко 1995], СПГ, СРГСУ, СРГСУ-Доп, НОС, ЯОС, СРГК, СРГНП, ... и другие завершенные словари стали несомненными источниками для работы языковедов, фольклористов, этнографов, историков, социологов, писателей и журналистов. Ведь при всем разнообразии принципов составления и разномасштабности всех наших диалектных словарей они являются многоформатным зеркалом жизни русского народа от первых летописных источников до постпере-

строечных мутаций нашей многострадальной деревни.

Именно таким «зеркальным треугольником» стали недавно (2005–2007 гг.) вышедшие в свет три сокровищницы русской диалектографии – «Словарь вологодских говоров» (СВГ), «Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР» (или актуализированное позднее название – «Словарь русских говоров на территории республики Мордовия» – СРГМ) и «Словарь смоленских говоров» (ССГ). Сокровищницами их можно назвать без преувеличения не только потому, что их лексика, в каждом из словарей насчитывающая не менее 30 тысяч русских диалектизмов, уложена в 10–12 выпусков, но прежде всего потому, что практически каждому слову здесь дано точное и адекватное толкование, грамматическая, акцентологическая и стилистическая характеристика, географическая проекция и яркие, свежие контекстные иллюстрации. Благодаря постоянной координации усилий с коллегами из Московского (особенно рабочих групп «Архангельского областного словаря», словаря говоров дер. Деулина 1989 и др.) и Петербургского диалектологических центров (групп СРНГ, ПОС, «Словаря Брянских говоров» (СБГ) и др.), а также указанным выше «исходным» диалектографическим проектам, структуры словарных статей в рецензируемых словарях весьма близки друг к другу, в чем легко убедиться, прочитав «Введения» к каждому из них. Структура словарей, построенных по алфавитному порядку, включает вокабульный раздел, учитывающий специфику слов практически всех частей речи и их вариантность. Заголовочное слово сопровождается указанием на грамматическую принадлежность и словоизменяемость (при ее наличии). За грамматической характеристикой во многих случаях следует стилистическая квалификация – в основном экспрессивно-оценочного типа. Затем следуют дефиниции – либо развернутого полуэнциклопедического типа, либо при возможности являющиеся литературными синонимами диалектизмов. В необходимых случаях читателю предлагаются культурологические комментарии. В конце словарной статьи (или дефиниции одного из значений при полисемии) можно найти и ссылку на соответствующие диалектные синонимы к описываемой лексике. Такая «классическая» композиция словарной статьи позволяет комплексно описать русскую лексику и фразеологию Вологодчины, Смоленщины и республики Мордовии.

Приведем примеры типичных словарных статей (по соображению лимита места – наиболее компактных) для номинативной лекси-

ки, полностью сохраняя шрифтовую, акцентологическую и др. идентичность:

ХОЛОДНИК, а, м. *Бочка*, предназначенная для хранения холодной воды. В *холоднике* хранили студёну воду. По пять видёв входило. Арх. Вельск., Мелед. [СВГ, 11: 200].

ХОЛОДНИК, а, м. *Майка*. Вон *холодник* висит нь верёфки. Парень у меня фсё летъ ф *холодники* ходит (Гов, СШ). Ср. *хевра* [СРГМ, 8: 140].

ХОЛОДНИК, а, м. 1. То же, что *холодовка*. У пячии хъладник есь, дли сажи. ЯРЦ. Каменка. У печи чирис хъланник идёт дым. СМОЛ. Тягловщина; ДУХ., КРАСН., МОН., ПОЧ.

2. **Окрошка, холодный борщ**. Хъладник дужа укусный – с лукъм, яйцом, смитаный. ВЕЛ. Моклок. К абеду хъладник летъм харош – с яйцом, бураки слаткии. ДЕМ. Жеруны; повсем.

3. **Холодильник**. Хъланник купили. Жыть луччи стали. ДУХ. Верешковичи. У нас хъланник бърахлить. ГЛИНК. Добромино; СМОЛ.; ХИСЛ., Х.-Ж., ЯРЦ. [ССГ, 11: 66–67].

Неоценимы в такого рода словарных статьях и многие этнографические комментарии, либо эксплицированные авторами в примечаниях и глоссах, либо ставшие пластичным центром приводимых записей речи диалектоносителей. Вот, например, рецепты народной кухни, которые могут обогатить любой современный пищевой рацион, тем более, что он и дешевый, и вкусный: «*Бабка бываша с мъкарон. Мъкарон завариш, вадой прамыш, абжариш, яечка заллеши. Пъставиши у духоуку – делыща бапка*» [ССГ, 1: 96]; «*А ишё пикли мы ботки. Ботки-та у миня скусней, из гарохъвъй муки пякла. Наложут боткаф, дъ с маслъм – вот где яда!*» [СРГМ, 1: 46]; «*Сочень-то разоскёшь, по краям рубчиком загнёшь, пюре накладёшь и в печь – вот и шаньга тебе*» [СВГ, 12: 69]. В последнем примере свободное словосочетание *сочень-то разоскёшь* привлекает не только своей кулинарной «рецептурой», но и стремлением говорящего этимологически «расшифровать» слово *сочень* посредством *figura etymologica*. Вообще следует подчеркнуть во всех трех словарях обилие архаичной и региональной лексики, например: волог. *крестец* ‘светец’, морд. *кубула* ‘кладбище’ [СРГМ, 3: 95], смол. *ректа* ‘место, где освящают воду’ [ССГ, 9: 130] и др. Примеры фразеологических архаизмов и регионализмов см. ниже.

Этнографизм всех трех рецензируемых словарей – одна из самых сильных их сторон, поскольку именно эта особенность делает их ценнейшим культурологическим источником. Не

случайно в первом выпуске одного из них – «Словаря вологодских говоров» [СВГ, 1: 138–142] в качестве приложения даются простые, но весьма четкие рисунки некоторых важных предметов русской деревенской материальной культуры: русской печи, ткацкого станка, колодца, прялки, рассадника. Точные описания такого рода артефактов и процессов, характерных для трудовой деятельности русской традиционной деревни, читатель найдет во всех выпусках словарей. Чрезвычайно богата и лексикографически насыщена лексика, связанная с ритуалами, различными обрядовыми действиями, праздниками, мифологией, демонологией и т.д. Вот, например, фрагменты столь важной для быта прежней деревни народной духовной культуры, как игры, запечатленные в наименованиях: волог. *водить коня* (*мельницу*) [СВГ, 1: 75], *горюн* [СВГ, 1: 125], *диволадушка* [СВГ, 2: 26], *зубарики* [СВГ, 2: 178], *чиба* [СВГ, 12: 42], *чурюпаки* [СБГ, 12: 55], *играть в шарики* [СВГ, 12: 73] и др.; морд. *кулам* [СРГМ, 3: 99], *любососед* [СРГМ, 3: 138], *тарасан* [СРГМ, 8: 23], *хлопалки* [СРГМ, 8: 133], *шныр* [СРГМ, 8: 225], *подыграть под яйца* [СРГМ, 8: 245] и др.; смол. *адарка* [ССГ, 1: 64], *бикса* [ССГ, 1: 179], *взять (поддать) быка* [ССГ, 1: 304], *горелики, горельши* [ССГ, 3: 56], *гукали, гукалки* [ССГ, 3: 89], *царики* [ССГ, 11: 76], *щелбанец* [ССГ, 11: 165], *прятушки* [ССГ, 11: 269], *тузик* [ССГ, 10: 219] и др. Не правда ли – уже во внутренней форме самих этих названий просвечиваются и оригинальные образы, и – в какой-то мере – правила соответствующих игр.

Но конечно же, составители всех рецензируемых словарей дают и детализированное описание правил почти каждой из них. Это делается либо в дефиниции соответствующего игрового термина, либо – в пластичных контекстных иллюстрациях к ним. Так, вологодская игра *горюн* характеризуется составителями с предельной точностью: «Игра молодежи во время посиделок. Парень и девушка уединяются в каком-нибудь углу за шторкой. Пошептавшись, парень выходит и вызывает к девушке другого парня, на которого укажет девушка. Через некоторое время выходит девушка и приглашает к парню ту из присутствующих, которую он выбрал. Игра дает возможность свидеться с любимым человеком, познакомиться с тем, с кем хочется» [СБГ, 1: 125]. А описание правил одной из разновидности игры в жмурки, записанной в русских говорах Мордовии, – *слепая сковорода*, – дается не менее подробно в иллюстративной части: «Раньше играли ф *слепую скъевъроду*: завяжут тес глаза-ти, ты бегай и ишчи пъ избе-ти. Ково пымаиш, тот начнёт вадить, ёму завязывают гла-

за» [СМГ, 7: 61]. И первый, и второй тип характеристики материальной и духовной культуры русской народной деревни нередко выступают в словарных статьях трех рецензируемых тезаурусов в симбиозе, дополняя друг друга и придавая дефинициям составителей особую жизненность; иллюстративно-цитатный материал тем самым выполняет не только собственно лексикографическую функцию экспликации значения слова, но и функцию культурологическую.

При всем внимании к этнографическим деталям и старому народному быту составители не упускают возможности включить в словари и реалии современного быта и советского строя. Нередко это весьма беспощадные характеристики последнего, прорвавшиеся сквозь рогатки строгой цензуры недавнего времени. Вот несколько из них: «На двенадцать семей закулачили, в колхоз не брали, обобрали всё» [СВГ, 2: 125]; «Ф калхоз-тъ мы ни пашли, нас аблажили твёрдым заданием» [СРГМ, 8: 26]; «Двор-тъ у нас на чеснъм пианерском стант» [СРГМ, 8: 172]. А вот кратенькая, казалось бы, вполне безобидная, но чрезвычайно емкая фраза, напоминающая читателям о тотальном дефиците советского времени, особо ощущимом для жителей деревенской глубинки: «Учира у мъгазини мърмишель дъвали» [ССГ, 6: 80]. Именно «давали», ибо даже купленная на скучную крестьянскую пенсию «мармишель» казалась манной небесной: «Учира мърмишель варила, дужа укусный». В этих двух предложениях, иллюстрирующих слово *мармишель* ‘вермишель’, гораздо больше правды о прошлом, чем во многих объемистых исторических и политологических штудиях. И хотя такого рода контекстов, по вполне понятным причинам, во всех трех словарях и относительно немного, они будут наверняка востребованы всеми, кого продолжает волновать история советского периода. Некоторые из таких диалектографических свидетельств уже внесены в корпусы специальных словарей – например, «Толкового словаря языка Сovedии» [Мокисенко, Никитина 2005].

Номинативную сферу лексики, отраженную рецензируемыми словарями, следовательно, можно объективно назвать крупномасштабной и реалистической. Но не меньшее значение и, пожалуй, еще большую эстетическую значимость имеет экспрессивно-оценочная лексика и фразеология, запечатленная на страницах этих словарей. Только что вышедший оригинальный словарь М.А. Алексеенко и О.И. Литвинниковой «Человек в производных именах русской народной речи» [Алексеенко, Литвинникова 2007], во многом перепи-нувший материал из двух интересующих нас

словарей (вологодского и смоленского), демонстрирует богатство оценочных номинаций человека. Не менее богата такая лексика и в «Словаре русских говоров Республики Мордовия», вообще концентрированно ориентированного на такого рода языковые единицы. Вот лишь наугад выбранные негативные характеристики:

акуля ‘нерасторопная, неумелая женщина’ [СРГ, 1: 20], *валтузя* ‘медлительный человек’ [СРГ, 1: 59], *головочёс* ‘франт, щеголь’ [СРГ, 1: 119], *латрыга* ‘пьяница’ [СРГ, 3: 117], *люса* ‘ тот, кто плутует, мошенничает в карточной игре’ [СРГ, 3: 138], *стрикулуст* ‘легкомысленный, бесшабашный человек’ [СРГ, 7: 154], *трупёрда* ‘ленивая женщина’ [СРГ, 8: 61], *шёболов*, *шебол* ‘неряшливый, нечистоплотный мужчина’ [СРГ, 8: 203–204], *ярыжка* ‘непоседливая девочка’ [СРГ, 8: 248]... Ряды такого рода слов поистине бесконечны. Они поражают не только многоцветием семантических оттенков и коннотаций, но и неисчерпаемостью словообразовательных моделей, по которым создаются. И заслуга составителей рецензируемых словарей в том, что все эти оттенки канализированы словарными средствами и уже потому могут теперь вкушаться всеми ценителями народного слова.

Ориентация на этнографически маркированную и экспрессивно-оценочную лексику, характерную для данной региональной речи, проходит красной нитью через все три словаря. В какой-то мере это связано с избранным общим лексикографическим принципом каждого из них: это словари дифференциальные, т.е. включающие лишь регионально маркированную лексику избранных областей, а также ту часть слов и фразеологизмов, которая, при формальном совпадении с зафиксированными в толковых словарях русского языка единицами, обнаруживает семантические расхождения. Известно, сколько дискуссий в 60-е годы вызвала проблема выбора двух основоположных принципов отечественной диалектографии – дифференциального (Ф.П. Филин и его последователи) и полного (Б.А. Ларин с его школой и некоторые другие диалектологи, например О.Г. Гецова). Время показало, что «чисто» дифференциальных, как и «чисто» полных диалектных словарей, в сущности и нет. Во-первых, даже дифференциальные словари предельно очерченных территорий – такие, например, как замечательные словари говоров Селигера (Селигер) или Рязанской Мещеры [Ванюшечкин 1983; 2002] включают немало элементов общеязыковой плоти описываемых диалектизмов. Во-вторых, самые полные словари – такие, как ПОС, не полны абсолютно, несмотря на миллионные картотеки, ибо жи-

вая речь находится в постоянном движении и полностью запечатлеть ее невозможно. Можно, однако, в каждом конкретном словаре стремиться к одному из двух названных принципов как к идеалу, не боясь отступать в необходимых случаях от принципа как догмы.

Именно так, в сущности, поступают составители всех трех рецензируемых словарей. Избрав жанр дифференциального словаря, в нужных случаях, повинувшись внутреннему чувству опытных лексикографов, составители и редакторы не боятся включать в описываемую лексику и фразеологию единицы, прямо перекликающиеся с общенациональной русской лексикой. Так, в словарной статье **БЕЛЫЙ**, где для смоленской лексемы выделено пять дефиниционных позиций (158–159), первая – ‘белолицый’ несомненно является дифференциальной; вторая – ‘светлого цвета (серого, светло-голубого)’ полудифференциальной; третья – ‘в названиях растений’ практически соотносима с отмеченной в Большом академическом словаре (ср. в последнем составные термины *белая верба*, *белый мох*, *белая слива* и др.); четвертая – ‘в названиях различных предметов, явлений’ свою семантическую дифференциальность проявляет лишь в составе устойчивых словосочетаний различного рода (например, *белый волк*, *белая мясоедь*, *белая земля*), но по сути является общей доминантной семантикой самого слова; пятая – ‘название города, входившего в состав Смоленской губернии (Белый)’ асемантична, а в ономастическом спектре находит прямую перекличку с общеизвестными топонимами типа *Белгород*, *Белград*, *Беларусь* и т.п.

Нужно еще раз подчеркнуть, что относительность разграничения дифференциального и полного в региональной лексикографии не подрывает основу для соответствующей общей ориентации и что во всех трех словарях в целом дифференциальный принцип последовательно выдержан. Более того, «отступления» от этого принципа стали даже, пожалуй, положительным моментом, обогатившим составляемые словари. Особенно это касается фразеологических корпусов смоленского, вологодского и «мордовского» словарей. При их «фразеокорпусном» сопоставлении оказывается, что именно квота включения общеязыковой лексики по принципу «полноты» сыграла весьма положительную роль. Так, бросается в глаза значительный количественный перевес народной фразеологии в «Словаре русских говоров на территории Мордовии» по сравнению со смоленским и вологодским словарями. Во многом, как кажется, такой перевес, значительно обогативший словарник, обусловлен именно фиксацией общеязыковой лексики. Та-

ковы, например, соматизмы *голова, нога, рука, ухо* и т.п., которые, как известно, обрастают и в литературном языке, и в народной речи многочисленной фразеологией. В «Словаре вологодских говоров» [СВГ, 1: 118] под стержневым компонентом **ГОЛОВА** находим лишь 3 фразеологизма: *голова не уверчена* ‘о незамужней женщине’, *во всю голову (головушку, рот)* ‘громко, во всеуслышание’ и *вышиня голова* ‘то же, что 1. **большак** (т.е. ‘старший в доме, глава семьи, муж’). В «Словаре смоленских говоров» [ССГ, 3: 44] вокабульная лексема **ГОЛОВА** дефинируется в 1-м значении предельно просто – «Голова», которое иллюстрируется исключительно фразеологизмами: *головой тронуться (натронуться, побунтоваться, потревожиться)* ‘сойти с ума, лишиться рассудка’, *головой крутить* ‘думать, беспокоиться’, *покопать в голове* ‘подумать’, *голова копылом* ‘о глупом человеке’, *бить (побить) голову* ‘надоедать расспросами’, *разбить (отбить) голову* ‘побить, наказать’, ‘надоесть разговорами’, *голову занести* ‘убить’, *клумить голову* ‘приставать, надоедать’, *ломать голову (головушку)* ‘танцевать’, *на всю голову (плакать, кричать)* ‘очень громко’ и т.п.). Еще богаче ассортимент фразеологизмов в «Словаре русских говоров на территории Мордовии» [СРГМ, 1: 118–119], особенно если учитывать тщательно систематизированные отсылочные указания на другие лексемы: *ала-ла в голову лезет* ‘что-л. нелепое, тяжелое появляется в сознании’, *брать в голову* ‘обращать внимание’, *взять в голову* ‘понять, извлечь урок’, *в мёртвую голову* ‘беспробудно, очень крепко (спать)’, *власть в голову* ‘прийти в голову, дойти до сознания’, *вскостить в голову* ‘засесть в голову, укрепиться в сознании’, *голова перемётывается у кого* ‘кто-л. испытывает головокружение’, ‘кто-л. не знает, как поступить, не может принять определенного решения’, *голова скатывается* ‘о сильной головной боли’, *голова турманом у кого* ‘кто-л. теряет способность соображать от множества забот’, *голову завязать* ‘оказаться в тяжелом, бедственном положении’, *голову туманить/затуманить кому* ‘вводить в заблуждение, морочить голову’, *как мушикарным по голове* ‘о неожиданном, ошеломляющем известии’, не в голову кому ‘не догадаться, не сообразить’, *остричь с головы до пяток кого* ‘строго наказать’, *поверх головы* ‘о способе ношения платка, концы которого завязываются на голове сзади’, *стакан воды на голове пронесёт* ‘о степенной, плавной походке’, *сысуй в голове у кого* ‘кто-л. недостаточно умен’, *чёрт голову своротит* ‘об отсутствии порядка где-л.’, *яйцо на голове пронесёт* ‘о степенной, плавной походке’.

Легко увидеть, что такой количественный перепад в трех словарях закономерен, приведя любой другой соматический ряд фразеологизмов – *нога, рука, ухо* и т.п. Это показывает, что при элиминации общерусской лексики на основе дифференциального подхода компромиссы в сторону полноты описания отдельных лексем не только возможны, но и закономерны, – причем в разной степени даже для словарей близкого типа. При количественном переносе фразеологизмов с соматическими компонентами принцип дифференциального словаря в компонентной лексической части остается тем не менее выдержан, ибо либо такие компоненты, как репрезентанты общелитературной русской лексики, вообще не дефинируются, либо дефинируются «автоматически», поскольку их лишь используют как «стержневой» инструментарий соответствующей фразеологии. Имплицитно, однако, слова эти, конечно же, сохраняют общизвестную семантику, весьма четко просвечивающую в большинстве внутренней формы описываемых фразеологизмов. И здесь – слава Богу – практические решения опытных лексикографов преобретают большую доказующую силу, чем общие теоретические постулаты.

Фразология в диалектных словарях – в том числе и в рецензируемых – заслуживает особого лексикографического рассмотрения. И здесь при общности подхода обнаруживаются также различия, вызванные и составом информантов, и предрасположенностью диалектологов к фразологии как сугубо экспрессивной части словарного состава, и специализированностью описания, и чисто технической возможностью составителей. Как представляется, фразологический корпус наиболее активно, системно и целенаправленно разработан в «Словаре русских говоров на территории республики Мордовия». Во всех выпусках читатель обнаружит целые россыпи ярких народных выражений самой различной структуры, семантики и образности. Так, устойчивые народные сравнения в этом словаре представлены с исключительной полнотой:

(*повязаться, собраться* и т.п.) *как акуля* ‘о некрасиво, неряшливо, неумело одетой, повязанной женщине’ [СРГМ, 1: 20; 6: 98]; *как бабка отворожила* ‘о чем-л. (напр., посещениях кого-л., вредных привычках и т.п.) неожиданно прекратившемся’ [СРГМ, 1: 23], *носиться как басарга* ‘о непоседливом, юрком, вертлявом человеке (обычно о ребенке)’ [СРГМ, 1: 30], *благушей кричать* ‘громко плакать, плачать навзрыд, всхлипывая’ [СРГМ, 1: 40], *как борона боронить* [СРГМ, 1: 44], *как бык мирской* [СРГМ, 1: 56], *драть дёркой что* [СРГМ, 2: 18], *дигилём расти* ‘о неправильном, иска-

женном выговаривании, произнесении слов' [СРГМ, 2: 22], (вымахать) как дигель 'об чрезмерно худом и высоком молодом человеке' [СРГМ, 2: 22], идти как дрын надутый 'о важном, спесивом, чванливом человеке' [СРГМ, 2: 41], шататься как кадяиха 'о женщине, которая любит бродить (обычно без дела, без цели)' [СРГМ, 3: 11], как горячий камень 'очень трудно, тяжело кому-л.' [СРГМ, 3: 18; 6: 121], сидеть как в кандее 'о человеке, пребывающем в замкнутом пространстве, чувствуя себя несвободным (напр., в больнице)' [СРГМ, 3: 19], идти как копёшка 'об излишне много на-девшей на себя одежды женщине' [СРГМ, 4: 58], надоесть [кому] хуже лихорадки 'о ком-л., чем-либо (напр., человеке, птице, пище и т.п.), крайне надоевшем, опротивевшем кому-л.' [СРГМ, 4: 66], как лягуша 'о нигде не работающем человеке' [СРГМ, 4: 87], (лежать) как лягуша 'о ленивом человеке' [СРГМ, 3: 139], расплакаться как мордовская невеста 'о плачущей часто и без причины девушке или женщине' [СРГМ, 7: 34], как обнять кому что 'о впору, точно подходящей кому-л. по размеру одежде' [СРГМ, 5: 21], как самыги 'о непослушных, проказливых детях, шалунах' [СРГМ, 7: 17]...

Лишь неизбежный лимит рецензионного места не позволяет здесь привести предлагаемых составителями словаря для многих из приводимых сравнительных оборотов комментариев различного рода, дающих оценку их оригинальной образной основы и делающих более точными дефиниции. Столь же ярки и отраженные словарем народные выражения других структурных типов, например: андрон сел на кого 'у кого-л. плохое настроение' [СРГМ, 1: 21], ставить берёзу 'делать стойку на руках в воде, высунув из воды ноги' [СРГМ, 7: 131], без винта в стену влезет 'о ловком, предприимчивом человеке' [СРГМ, 1: 79], сорваться с дуба 'потерять выдержку, самообладание' [СРГМ, 7: 108], с ебулызинкой 'о глуповатом человеке' [СРГМ, 2: 45], есть из сорока печей 'питаться за чужой счет, часто бывая в гостях у разных людей' [СРГМ, 7: 109], не завязывать хвоста 'ходить из дома в дом без дела' [СРГМ, 2: 70], заняться чужбинкой 'изменить мужу, жене' [СРГМ, 2: 87] и др.

Не менее яркие образчики народной фразеологии находим и в словарях вологодских и смоленских говоров. Они хорошо отражают региональную специфику описываемых единиц. Устойчивые сравнения в этих словарях не только выделяются в особую позицию, но и нередко инкрустируются в иллюстративный материал, из которого читатель и рецензент может почерпнуть немало:

Волог.: сидеть как барка 'о важно, вальяжно сидящей женщине' [СВГ, 1: 22], идти дроздом 'о растениях, дающих много побегов, кустящихся' [СВГ, 2: 57], ходить жихарем 'о мужчине, живущем с какой-л. женщиной вне законного брака' [СВГ, 2: 90], сидеть дома как кокушки 'о женщине, постоянно сидящей дома, домоседке' [СВГ, 3: 81], ходить как куль в отрепьях 'о бедно, плохо одетом человеке' [СВГ, 4: 18], нести как на (в) воде 'о спешащем, торопящемся человеке' [СВГ, 5: 105], как нелизанный телёнок 'о непричесанном, расстрапанном человеке' [СВГ, 5: 95], жёлтый как яицница 'о чем-л. (напр., видах пиши) желтого цвета' [СВГ, 8: 72], сидеть как на воробах 'о человеке, чувствующем себя неловко, неудобно в какой-л. ситуации' [СВГ, 10: 5–6], (вымя) как скалина 'о чем-л. (напр., коровьем вымени) затвердевшем, загрубевшем' [СВГ, 10: 14], хлеб стулом 'о зачерствевшем, затвердевшем хлебе' [СВГ, 10: 147] и др.;

Смол.: как ардюк 'об очень здоровом человеке' [ССГ, 1: 82], как вад кого водит 'о человеке, который заблудился в лесу или болоте' [ССГ, 2: 12], трубить як жёрав 'о резко, монотонно повторяющем что-л. человеке' [ССГ, 4: 19], нести что как лабуда 'о болтающем чепуху человеке' [ССГ, 6: 6], чёрен как грачок 'об испачкавшемся в грязи, неопрятном ребенке' [ССГ, 6: 73], бегать туда-сюда как матроха 'о беспокойно, беспорядочно и суетливо бегающей женщине' [ССГ, 6: 84], как дитёнак 'о глуповатом человеке, простофиле' [ССГ, 7: 79], ободрать кого на голубую белку 'ограбить, разорить кого-л. до нитки' [ССГ, 7: 132], бегать как халоумный 'о быстро, бессмысленно и хаотично бегающем человеке' [ССГ, 11: 44], змёрзнуть як цуценя 'об очень замерзшем, пророгшем от сильного холода человеке' [ССГ, 11: 93], вода /чистая как ясенец 'об очень чистой, прозрачной воде в каком-л. водоеме' [ССГ, 11: 179] и др.

Столь же оригинальны и регионально маркированы и фразеологизмы других структурно-семантических моделей:

Волог.: алилюшки разводить 'разговаривать о чем-л. несеръезном, незначительном, болтать вздор, пустяки' [СВГ, 1: 15], бара-бошку нести 'разговаривать о чем-л. несеръезном, незначительном, болтать вздор, пустяки' [СВГ, 1: 21], давать/дать вытряску кому 'ударами причинять боль кому-л., избивать кого-л.' [СВГ, 2: 8], насолеться в дрезину 'напиться пьяным' [СВГ, 2: 55], Жёлви тебе на язык! 'требование замолчать, перестать говорить' [СВГ, 2: 81], кошачьи злыдни чего 'о крайне малом количестве чего-л.' [СВГ, 3: 115], ни кола ни рямотки у кого 'то же, что ни кола ни двора' [СВГ, 3: 81], коромысло в спине заросло

у кого 'о ленивом человеке' [СВГ, 2: 145], лозгом взято 'о беспорядке в чем-л.' [СВГ, 4: 44], ни водяного нет 'нет совсем, ничего нет' [СВГ, 5: 105], невымятый язык 'о ленивом человеке' [СВГ, 5: 89], оставить пуговицу 'сделать кого-л. беременной' [СВГ, 6: 79], травы не одерёт 'о тихом, скромном человеке' [СВГ, 6: 30], отойти под черепку 'сгнить, испортиться' [СВГ, 6: 95] и др.

Смол.: ходить по щщей братии 'просить милостыню, побираться' [ССГ, 11: 64], шалёные капли 'водка' [ССГ, 11: 124], ходить по костях 'быть свободной, просторной (об одежде)' [ССГ, 11: 64–65], ходить по старцам 'просить милостыню, побираться' [ССГ, 11: 64], дать (задать) файеру кому 'наказать, дать нагоняй' [ССГ, 11: 38], ходить на хабарах 'праздно проводить время' [ССГ, 11: 64], цот в цот 'точь-в-точь, очень точно' [ССГ, 11: 91], цотка в цотку 'точь-в-точь, очень точно' [ССГ, 11: 91] и др.

Все эти словари можно назвать сокровищницей русской народной речи потому, что диалектологи, собирающие народную лексику и вложившие ее в емкие шкатулки лексикографических выпусков, исключительно бережно отнеслись к каждому характеризуемому слову. Составители и редакторы стали гравильщиками словесных самоцветов. И поэтому нельзя в заключении не назвать хотя бы части тружеников нашей региональной лексикографии.

«Словарь смоленских говоров», начатый в 1956 г. под руководством С.А. Фессалоницкого, с 1957 года длительное время продолжался под руководством А.И. Ивановой, затем – и Л.З. Бояриновой, а Е.Н. Борисова совместно с Л.З. Бояриновой и А.И. Ивановой были редакторами третьего выпуска смоленского словаря. О.И. Бычкова, Л.В. Граве, Е.Я. Довгань, В.С. Карташевко, И.А. Королёва, В.Е. Марусанова, Н.Н. Новикова, Т.А. Павлюченкова, Е.Н. Тарасова, В.А. Щебникова – составители разных выпусков...

«Словарь русских говоров на территории Мордовии» начался в 1962 г. Ответственные редакторы разных выпусков – Т.В. Михалева, Р.В. Семенкова, Л.К. Чикина. Составители – Э.С. Большакова, А.И. Витов, Ф.В. Караулова, Н.П. Кудряшова, Л.В. Маркина, Т.В. Михалева, Е.В. Назарова, Ф.Г. Расстегаева, Р.В. Семенкова, Л.К. Чикина.

«Словарь вологодских говоров», сбор диалектной лексики для которого был начат в 1963 году, завершается 12-м выпуском [СВГ, 12], справедливо посвященным 80-летию Татьяны Георгиевны Паникаровской – инициатору его создания, бессменному редактору и составителю словарных статей для всех его вы-

пусков. Словарь этот стал памятником ушедшей, увы, из жизни Подвижнице живого слова Вологодчины. И он по праву украшен на шмунтитуле вдохновенным портретом Т.Г. Паникаровской. На шмунтитуле же последней страницы обложки словаря читатель видит лица всех составительниц словаря: Е.П. Андреевой, Р.Ф. Богачевой, Е.Н. Варниковой, С.Б. Виноградовой, Г.А. Дружининой, Л.Ю. Зориной, Е.Н. Ивановой, С.Н. Ипатовой, Л.М. Козневой, Н.В. Комлевой, Л.П. Ларионовой, О.И. Новоселовой, Т.Г. Овсянниковой, Т.В. Парменовой, Е.Н. Шабровой, Л.Г. Яцкевич, внесших свою лепту в составление словаря.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеенко, Литвинникова 2007 –
М.А. Алексеенко, О.И. Литвинникова. Человек в производных именах русской народной речи. Словарь. М., 2007.
- АОС 1–12 – Архангельский областной словарь. Вып. 1–12 / Под ред. О.Г. Гецовой. М., 1980–2004.
- АОС-Обр. – Обратный словарь архангельских говоров / Под ред. О.Г. Гецовой. М., 2006.
- Ванюшечкин 1983 – В.Т. Ванюшечкин. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. Т. 1: А–Н. Воронеж, 1983.
- Ванюшечкин 2002 – В.Т. Ванюшечкин. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры. Т. 2: О–Я. Материалы по русской диалектологии. Саратов, 2002.
- Войтенко 1991 – А.Ф. Войтенко. Лексический атлас Московской области. М., 1991.
- Войтенко 1995 – А.Ф. Войтенко. Словарь говоров Подмосковья. Вып. 1: А–Ж. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995.
- Деулинский словарь 1969 – Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И.А. Оссовецкого. М., 1969.
- Иванова 1969 – А.Ф. Иванова. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.
- ЛАРНГ 2004 – Лексический атлас русских народных говоров. СПб., 2004.
- Мокиенко, Никитина 2005 – В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина. Толковый словарь языка Совдепии: ок. 10 000 слов и выражений. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005.
- НОС 1–13 – Новгородский областной словарь / Сост. В.П. Строгова, А.В. Клевцова, Л.Я. Петрова и др.; Отв. ред. В.П. Строгова. Вып. 1–13. Новгород, 1991–1999.

- СВГ – Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12 / Науч. ред. Т.Г. Паникаровская. Вологда, 1983–2007.
- ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–18. Л.; СПб., 1967–2007.
- СБГ – Словарь брянских говоров. Вып. 1–5. Л., 1976–1988.
- Селигер – Материалы по русской диалектологии. Словарь / Сост. С.Н. Варина, Н.В. Богданова, З.А. Петрова / Под ред. А.С. Герда. Вып. 1: А–Г. СПб., 2003; Вып. 2: Д–И. СПб., 2004.
- СПГ – Словарь пермских говоров. Вып. 1: А–Н. Пермь, 2000; Вып. 2: О–Я. Пермь, 2002.
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А.С. Герд. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.
- СРГМ – Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР (республики Мордовия). Т. 1–8. Саранск, 1978–2006.
- СРГНП – Словарь русских говоров Низовой Печоры. Т. 1: Аблемай – ощупя / Под ред. Л.А. Ивашко. СПб., 2003.
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 1–7. Свердловск, 1964–1991.
- СРГСУ-Доп. – Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения. Екатеринбург, 1996.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова. Вып. 1–40. Л.; СПб., 1965–2006–.
- ССГ – Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11 / Отв. ред. Л.З. Бояринова, А.И. Иванова. Смоленск, 1974–2005.
- ЯОС – Ярославский областной словарь. Вып. 1–8. Ярославль, 1981–1989.

В.М. Мокиенко

Г.И. Берестнев. Слово, язык и за их пределами. Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им. Иммануила Канта, 2007. XXX + 358 с.

Осмысливая ход развития современной лингвистики, исследователи все более сходятся в мысли о том, что им еще предстоит оценить по достоинству все последствия ее парадигмальных изменений и что сами эти изменения еще далеко не в полной мере продемонстрировали свою эвристическую силу. Однако и теперь совершенно очевидно: лингвистика, сохраняя за собой достигнутые ранее позиции, все более уверенно выходит на новые дисциплинарные рубежи, осваивая аксиоматику, категории, системные теоретические наработки, проблемные сферы, методики смежных с ней гуманитарных дисциплин и тем самым уверенно расширяя собственные границы [Кубрякова 1996]. Во имя реализации этой задачи когнитивная лингвистика вступает в широкие междисциплинарные связи со всеми науками, изучающими «внутреннего человека», и это неизбежно. Как заметил В.З. Демьянков, «когнитивисты обречены на междисциплинарность, это предопределено самой их историей. Только общими усилиями психологии, лингвистики, антропологии, философии, компьютерологии (computer sciense) можно ответить на вопросы о природе разума, об осмыслении опыта, об организации концептуальных систем» [Демьянков 1995: 307]. При этом, однако, не вызывает сомнения и тот факт, что когнитивная лингви-

стика все еще находится в поиске новых «междисциплинарных комбинаций», способных влить в нее новую силу, обогатив новыми плодотворными категориями и теоретическими установками. Она все еще находится в развитии, и помочь ей в расширении круга смежных дисциплин, проблемных областей, рабочих категорий, теоретической базы – обязанность исследователей.

Рецензируемую монографию характеризует в самом общем плане стремление к реализации именно этих принципов когнитивизма. Ее автор вводит когнитивную лингвистику в новые междисциплинарные отношения, связывая ее с широким кругом научных дисциплин. Этим, с одной стороны, утверждается объективность принятой к исследованию проблемы, а с другой – обеспечивается проверенность категориального аппарата, обоснованность теоретических установок и развиваемых положений, наконец, убедительность полученных результатов.

Монографию предваряет довольно обширное введение, в котором дается подробный комментарий к постановке проблемы, оговариваются предмет исследования и особенности метода, дается аксиоматика, формулируется теоретическая база и указываются направления ее развития. В частности,

обращаясь к выдвинутой Л. Витгенштейном как ключевой категории *Невысказываемого*¹ (в работе оно называется также *Несказанным* и *Невыразимым*), автор сформулировал новую для когнитивной лингвистики проблему «трансцендентных содержаний, находящихся вне языка и языкового мышления» (с. viii)². Отметив актуальность этой проблемы для русских символистов, автор далее указал ее несомненную близость теориям бессознательного, разработанным З. Фрейдом и К.Г. Юнгом. Развивая этот тезис, автор связал Невысказываемое с Бессознательным и тем самым утвердил чрезвычайно важное в теоретическом отношении положение об отсутствии «непреодолимых границ между сознанием и бессознательным, областью языкового мышления и трансцендентной областью Невыразимого» (с. xi). Таким путем он, по сути, обосновал возможность изучения Невысказываемого на основе данных языка.

Характеризуя далее Невысказываемое как предмет научного рассмотрения, автор определил его основные характеристики, которые, по мнению автора, и составляют причину сложности вербального описания трансцендентных содержаний, неоднократно отмечаемой в источниках, посвященных этой теме (с. xviii–xxi). Этими характеристиками Невысказываемого обусловливается и метод его постижения – реконструкция по отдельным составляющим в языке или культуре (с. xxiv–xxv). Сформулированные здесь же базовые теоретические положения всего дальнейшего исследования (с. xxv–xxx) существенно развиваются современные философские представления о языке и мышлении и, несомненно, будут приняты в качестве опоры во многих дальнейших изысканиях, касающихся данной области.

Монография делится на две части в соответствии с идеологией всего исследования. Первая, имеющая название «...Потом стало слово», посвящена вопросам языкового освоения действительности человеком и презентации в языке особых содержаний, которые автор относит к трансцендентным. Так, в главе «От смысла – к имени» рассматриваются механизмы концептуализации мира и когнитивные механизмы актов номинации. Здесь показы-

вается, что семантический континуум при когнитивном освоении сначала членится человеческим сознанием на дискретные величины, собственно, представляющие собой концепты и категории, а затем сознание закрепляет эти величины для себя в знаках. При этом автор обосновывает примарность концептуальных образований по отношению к языку и демонстрирует случаи «пробелов» в концептуализации действительности (с. 10–11). Более подробно эти механизмы рассматриваются им в отношении двух обстоятельств принципиального характера. Первое касается познавательных функций личного имени, которые эксплицируются при метаязыковом моделировании «ситуации именования» – употреблении слова *именно* в русском языке (по-видимому, то же самое можно сказать и о функционировании аналогичных слов в других языках). В частности, автор показывает, что *именно* способствует более четкому определению содержательных границ высказываемой мысли, отдельности ее от других близких ментальных единиц. Второе обстоятельство касается концептуализации представлений о пространстве. Здесь автору удалось выявить несколько познавательных алгоритмов осмыслиения человеком линейного, плоскостного и объемного пространств, которые он сформулировал как законы (с. 50).

Отдельный интерес в монографии составляет глава «Метафора и метонимия: игры со смыслами, игры с именами». Автор выбрал, как представляется, весьма продуктивный подход к этим двум фундаментальным явлениям языка и сознания, в котором, наряду с когнитивными функциями, принимается во внимание их номинативный потенциал. В частности, учитывая концепцию промежуточного положения языка по отношению к языковому субъекту и действительности³, он определил языковую метафору как перенос наименования с одного представления на другое при условии их сходства, а метонимию – как перенос наименования с одного представления на другое при условии их смежности. На этой основе была произведена строгая классификация метафор, отражающая существенное различие переносов в языковой и собственно когнитивной сферах (вопреки радикальной точке зрения Дж. Лакоффа [Lakoff 1993]). Это также позволило увидеть и истолковать уже в материаль-

¹ Фактически подводя итог своим изысканиям, изложенным в «Логико-философском трактате», Л. Витгенштейн писал: «В самом деле, существует невысказываемое. Оно показывает себя, это – мистическое» [Витгенштейн 1994: 72].

² В связи с этой проблемой следует отметить работы [Маковский 2000; 2007].

³ Например, П. Джонсон-Лэйрд писал об этом, фактически утверждая в лингвистике философию И. Канта: «Люди не воспринимают мир непосредственно, они лишь обладают некоторыми внутренними репрезентациями этого мира» [Johnson-Laird 1980: 98].

ной культуре такой важный феномен, как предметная метафора (с. 62–68). Рассмотрев подобные метафоры с точки зрения языковых механизмов, автор пришел к весьма важному выводу о том, что они функционально близки метафорам когнитивным и что вообще метафора как таковая лежит за пределами языка и представляет собой фундаментальный принцип заместительной репрезентации содержаний (с. 67). Точно так же языковая метонимия «есть лишь частное выражение глобальной когнитивной способности человека, которая, несомненно, должна проявиться и в иных сферах его сознательной деятельности» (с. 82). И действительно, автор показал, что в культуре широко распространены предметные метонимии (с. 82) и что заместительный метонимический принцип мышления играл важную роль в первобытной магии (с. 82–84) [Самигуллина 2008].

Таким образом, помимо всего прочего, отдельным важным итогом этой главы можно считать убедительное теоретическое обоснование связи языка и культуры. Эта связь обусловлена, с одной стороны, глубинным единством знания человека о мире, а с другой – множеством семиотических кодов, которыми это знание репрезентируется. Язык с этой точки зрения определяется лишь как один из подобных кодов, на что указывают и другие исследователи. Ср.: «Некоторые лингвисты (например, генеративисты) считают, что языковая система образует отдельный модуль, внеположенный общим когнитивным механизмам. Однако чаще языковая деятельность рассматривается как один из модусов “когниции”, составляющей вершину айсберга, в основании которого лежат когнитивные способности, не являющиеся чисто лингвистическими, но дающие предпосылки для последних» [Демьянков 1995: 306]. Но это означает, что в роли такого же кода для человека выступает и предметная сфера культуры, которая творится им не только и не столько с практической целью, сколько с целью познавательной.

В главе «Когнитивные основания семантических противопоставлений» исследуется уже другой вопрос – репрезентированность глубинных содержаний языковой ментальности человека в языке. К числу таковых автор относит семантические оппозиции, которые, по его мнению, представляют собой реализацию в человеческой ментальности глобального принципа единства симметрии и асимметрии. Наиболее интересны в этом плане приведенные свидетельства когнитивной универсальности семантических оппозиций и положения, доказывающие связь оппозиции *свет/тьма* с мифологическим сознанием и религиозным опытом человека (с. 97–114). В этой связи автор выдви-

гает чрезвычайно интересный, но все-таки требующий дальнейшей проработки тезис о том, что свет как психическое переживание лицом физических свойств действительности является способом познавательного освоения содержаний, выходящих далеко за пределы его непосредственного практического опыта (с. 107). Таков же и тезис относительно возможности преодоления подобных оппозиций в сознании человека и достижения «неальтернативного» способа мышления. Имеющиеся свидетельства как будто бы показывают, что это возможно, и семантический парадокс действительно способствует этому (с. 112–114).

Доказательства же актуальности принципа единства симметрии и асимметрии для языкового сознания человека и более глубинных его познавательных уровней автор находит в поэтической сфере (параграф «Поэтика чета и нечета»). Рассматривая ритм как форму проявления этого принципа и следуя в этом плане за древнекитайскими философами, С. Эйзенштейном, А. Белым, Р. Якобсоном, В.Н. Топоровым, Вяч.Вс. Ивановым, он последовательно проводит тезис о том, что поэзия – это, по сути, сложная игра ритмов, которая реализуется на разных уровнях языка, и поэтическое произведение есть творческое воплощение этой игры. С этой точки зрения оценивается и поэт, который «создавая поэтическое произведение, выступает на стороне сил Порядка и сам творит Порядок, в основе которого лежит игра парностей, подобия различий, выше которых только Единое» (с. 142).

В главе «Текст и попытки трансценденции за его пределы» автор показывает, что достаточно частым для художественных текстов является внутреннее обращение авторов к особым идеям, имеющим больший масштаб по сравнению с собственно языковыми концептами и потому трансцендентным языку и языковому сознанию. В одних случаях такие идеи оказываются достаточно близкими концептуальной системе языка, как в детально рассмотренных автором притчах Ф. Кафки. В других случаях писатель наполняет текст разного рода парадоксами, которые разрушают языковое сознание читателя. Отмечая близость этой стратегии психологическим техникам дзэн-буддизма, автор демонстрирует ее актуальность для постмодернистских текстов Д.А. Пригова. В случаях третьего рода писатель передает необходимые трансцендентные идеи посредством особых образных моделей, воссоздаваемых структурой самого текста, – как показано в монографии, подобным образом устроен роман В. Набокова «Лолита».

Таким образом, вся первая часть монографии посвящена доказательству того, что Не-

выразимое отбрасывает свои «отблески» на язык, присутствует в слове и тексте, и это естественно, поскольку язык своими истоками уходит в Невыразимое.

Во второй части, имеющей название «Зов Несказанного», решаются уже иные задачи – в разных аспектах исследуются символы как знаки содержательных единиц Несказанного. Это придает развиваемым здесь положениям характер семиотических, но когнитивно-языковая их основа при этом не теряется. Было бы весьма полезным, однако, в этой части книги привлечь для сравнения случаи так называемого о прощении индоевропейских корней и слов типа: и.-е. **k̑ep-* «собака» < и.-е. **kei-* «гореть» + и.-е. **uep-* «схватить, взять» (согласно древним представлениям, собака украла у богов огонь и отдала его людям); и.-е. **eḱwos-* «лошадь; конь» < и.-е. **ek-/ak-* «змея» (ср. др.-инд. *ahi* «змея») + и.-е. **eus-/ue-* «гореть», букв. «огненная змея» (в древности крылатый огненный конь отождествлялся с крылатой змей; ср. типологически: др.-русск. *орь* «конь», но бретонск. *aer* «змея»; кроме того, конь отождествлялся с собакой: ср. др.-англ. *wicg* «конь», но русск. диал. *выжлец* «собака»; русск. *конь*, но и.-е. **k̑ep-* «собака»; хет. *paros* «конь», но исп. *perro* «собака»).

Год в древности изображался как свернутая змея, кусающая свой хвост: одна половина змии была светлая (лето), а другая – темная (зима): ср. др.-англ. *sumar* «лето», но и.-е. **su-/seu-* «гореть, блестеть, светить» + курдск. *tar* «змия» и англ. *winter* «зима» (гот. *wintrus* «год») < др.-англ. *wān* «темный, тусклый» + тох. *terwe* «змея».

Первая глава этой части называется «Функциональная специфика символа». Здесь комментируются самые общие характеристики знаков подобного рода. Автор показывает также, что символ – непременный элемент самых разных, иеродоставенных и типологически далеких друг от друга культур. И многочисленные примеры, которые приводятся в этой связи, действительно дают основание полагать, что «универсальность символа обнаруживает закономерную потребность человека в означивании имеющихся у него содержаний, придании им субстанциональности, материальной данности, которыми обеспечивается строгость мышления» (с. 190). Рассмотрев в самой широкой культурной перспективе репрезентативный и когнитивный потенциал символических форм, автор пришел к закономерному выводу: «символы представляют собой знаки иной содержательной действительности, и именно этим обусловливается их репрезентативная и познавательная сила» (с. 196).

В параграфе «Символическая деятельность и символическое мышление», автор, опираясь на познавательный закон объективации, развивает тезис о двух способах мышления – аналоговом и заместительном – и утверждает предметную символизацию как принцип мышления заместительного (с. 199). В этой же перспективе автор рассматривает и культурную деятельность человека в целом. Встав на позиции Э. Кассирера, он увидел в этой деятельности совокупность кодов, описывающих единое знание человека о мире (с. 201). Ср.: «Язык, миф, знание суть различные средства, все они отражают свет, испускаемый одним и тем же светилом, или... они суть различные идиомы, выражающие одно и то же содержание» [Кун 2000: 628].

Глава «Культурные символы с семиотической точки зрения» имеет большей частью «технический» характер – в ней отрабатываются некоторые рабочие моменты, существенные для дальнейшего исследования. Основной итог этой главы таков: «Содержание символа само раскрывает себя в его форме» (с. 208).

Глава «Сотворение символа» представляет в монографии отдельный интерес в силу нескольких моментов. Прежде всего, в ней с языковых позиций определяется единый для описания семантики языковых и символических форм метаязык – в основе его лежит широко известное «исчисление» содержаний по отдельным семантическим признакам (с. 217–221). Кроме того, в этой главе вскрываются механизмы образования символов – и опять-таки с позиций языка: таковыми, в частности, являются метафора, метонимия (синекдоха), культурно-ассоциативное замещение, замещение, основанное на паронимазийном сближении соответствующих наименований (с. 221–229). При этом все выдвигаемые автором положения, явно имеющие новаторский характер, богато иллюстрированы примерами, что делает их еще более убедительными. Наконец, здесь автор обращается к рассмотрению символического синтаксиса и приходит к важным выводам о том, что «символические «тексты», лежащие в предметной сфере, представляют собой структуры, функционально имеющие номинативный характер» (с. 231) и что ««иная содержательная реальность» открывается человеку в символах как данность, не нуждающаяся в синтаксисе» (с. 232).

Последняя глава монографии «Современная экзегетика» посвящена анализу трех принципиально далеких друг от друга символических объектов: ряда известных азбучных систем и собственно кириллицы, христианских храмов, повести Н.И. Карамзина «Остров Борнгольм». Исследовательские результаты,

представленные в этой главе, разнообразны и нетривиальны, а некоторые из них претендуют на открытие. Так, автору удалось доказать, что кириллица является сложным символом: «ее устройство воссоздает архетипический образ универсума, включающего в себя космос и хаос, принцип порядка и предсказуемости предстает в ней в единстве с принципом случайности...» (с. 253). Кроме того, своими частями кириллица непосредственно моделирует представление о единстве «небесной» сферы, мира христианства и греховного мира славянского язычества. Знаковый характер, отвечающий христианской идеологии, имеет в ней и символически представленные границы между мирами (с. 261).

При анализе символической семантики христианских храмов автор как будто бы не выходит за рамки известных наработок в этой области, по существу, ограничиваясь детальными и во многих отношениях новыми комментариями известных положений. Однако в этом он ориентируется на теорию архетипов коллектического бессознательного и тем самым заставляет эти комментарии звучать по-новому.

Чрезвычайно интересен полный исторических экскурсов параграф «Символические мотивы и образы в повести Н.М. Карамзина "Остров Борнгольм"». Своим сущностным предметом он имеет одну из самых таинственных областей европейской культуры XVIII века – идеологию розенкрейцерства. Рассмотрев организационные реалии в среде российских масонов этой эпохи, автор пришел к выводу о том, что Н.М. Карамзин в действительности не покрывал с ними, лишь утвердившись в своем знаменитом путешествии в розенкрейцерских идеях. Их он и выражил в повести «Остров Борнгольм» посредством символов, которые, по мнению автора, «вскрывают не только некоторые дополнительные детали "розенкрейцерской инициации", но и отношение самого Карамзина к идеям, представленным в повести в целом» (с. 317). В частности, автор защищает тезис о близости представленной в повести идеологии орфико-пиthagорейской и платоновской философии «плененной души» человека (с. 314-315). Можно было бы добавить к этому, что в этом плане повесть близка и подобной идеологии гностиков, знания которых, возможно, и хранили розенкрейцеры.

Оценивая данную монографию в целом весьма высоко, прежде всего, в силу уникального воплощения в ней принципа междисциплинарности, редкой широты рассматриваемого материала, принципиально новой точки зрения на многие языковые и культурные явления, научной продуктивности нельзя не

отметить в ней и некоторые случаи «малой надежности». В частности, некоторые (к счастью, очень немногие) выдвигаемые автором положения имеют характер аксиом, которые можно либо принять, либо отвергнуть, но которые в настоящее время трудно обосновать фактически. Например, таково положение, в котором реки определяются как предметные осуществления идеи пограничности между «своим» и «чужим» пространствами у славян и других народов, в связи с чем битвы часто проходили именно на реках (с. 268). То же самое можно сказать о Валлендорфских Венерах, являющихся предметным воплощением идеи женственности, или о древних орнаментах. Можно ли утверждать, что это исключительно предметные способы презентации концептов? Ведь мы не знаем наверняка, что для этих и других подобных предметов или других аналогичных визуальных структур не было также соответствующего наименования. И вообще, существуют ли предметные знаки вне языка? Имели же имена в языке древние боги, которые также представлялись в предметной сфере – эту идею проводит и сам автор.

В более четком оформлении хотелось бы увидеть положения относительно двух способов мышления – аналогового и заместительного (с. 196). При анализе семиотических свойств славянских азбук автору следовало бы учсть и самые недавние наработки в этой области Б.А. Успенского [Успенский 2005].

На фоне общей теоретической и фактической обоснованности излагаемых в монографии концепций все-таки нельзя не отметить вероятностный характер положений, касающихся деталей биографии и философии Н.И. Карамзина. Впрочем, об этом автор и сам пишет на с. 317-318.

Все это, однако, частности, которые отнюдь не заслоняют собой главного. Представленный научному сообществу труд, безусловно, должен быть отмечен как заметное научное явление в современной науке о языке и человеческом сознании. Он неминуемо привлечет к себе внимание лингвистов-когнитологов, лингвокультурологов и вообще исследователей, работающих в самых разных областях гуманитарного знания. В этом труде автор не только стимулировал постановку множества новых фундаментальных теоретических вопросов, но и предложил свои ответы на них, тем самым существенно раздвинув парадигмальные рамки современной лингвистики. А хорошее внешнее оформление данного труда, имеющиеся иллюстрации и указатели способствуют этому в еще большей мере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Витгенштейн 1994 – *Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. I. М., 1994.*

Демьянков 1995 – *В.З. Демьянков. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.*

Кубрякова 1996 – *Е.С. Кубрякова. Когнитивная наука / когнитивные науки // Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.*

Кун 2000 – *Х. Кун. Философия культуры Эрнста Кассирера // Э. Кассирер. Избранное: Индивид и космос. М.; СПб., 2000.*

Маковский 2000 – *М.М. Маковский. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.*

Маковский 2008 – *М.М. Маковский. К онтогенезу языковых процессов // Язык как материя смысла: Сб. статей к 90-летию акад. Н.Ю. Шведовой. М., 2008.*

Самигуллина 2008 – *А.С. Самигуллина. Метафора в когнитивно-семиотическом освещении. Уфа, 2008.*

Успенский 2005 – *Б.А. Успенский. О происхождении глаголицы // ВЯ. 2005. № 1.*

Johnson-Laird 1980 – *P.N. Johnson-Laird. Mental models in cognitive science // Cognitive science. 1980. № 4.*

Lakoff 1993 – *G. Lakoff. The contemporary theory of metaphor // A. Ortony (ed.). Metaphor and thought. Cambridge, 1993.*

М.М. Маковский